

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Дмитрий Рябов
начальник отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

11/2021

Содержание

ПРОЗА

- Галина КАЛИНКИНА. Квантовый день.** Повесть. 3
Андрей ПОДИСТОВ. Заговор обезьян. Повесть. 35
Модест МИНСКИЙ. Гриша. Рассказ. 117

ПОЭЗИЯ

- Мария ФРОЛОВСКАЯ. Поздние яблоки.** Стихи. 31
Владимир АЛЕЙНИКОВ. К облакам облака. Стихи. 114
Сентиментальные прогулки. Константин ГРИШИН,
Вера ДОРДИ, Лидия ШАРКУНОВА. Стихи. 122

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Преодолеть зияющие пустоты.**
Беседа с Капитолиной Кокшенёвой. 126

Н а р о д н ы е м е м у а р ы

- Александр САВЧЕНКО. Под знаком соёмбо.**
Воспоминания советского специалиста. Окончание. 133
Владимир ТРОШИН. Семейные хроники. 158

КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Ася ПЕКУРОВСКАЯ. Порядок снов.**
*О романе Глеба Шульпякова «Красная планета»,
и не только о нем.* 179

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

- Владимир ЧИРКОВ. Дмитрий Лысяков: новизна — в традиции.**
Искусствоведческие письма. 187

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Галина КАЛИНКИНА

КВАНТОВЫЙ ДЕНЬ

П о в е с т ь

События реальные, имена персонажей вымышленные

все поженились совершили подвиг
написали спасли починили сохранили вырастили совершили
и не умерли
в один бесконечный квантовый день

Федор Сваровский

Рыжие моментально пунцовеют. У рыжих кожа изнутри подсвечена, как у чомпу. Розовое такое яблоко. И как только я сказал: «Лом у меня сложился!» — так тут же увидел запунцовевшее лицо лейтенанта Дынькина.

— Обратитесь по форме, сержант!

— Товарищ лейтенант, лом согнулся.

И тут грянул дикий гогот.

— Ну ты дал, Горыныч!

— Гена, отдышись.

Все просто покатывались, только на смех силы и оставались.

— Корочкин, за инструмент ответите перед зампотехом.

Всем надоело по очереди долбить бетон. Потому что на двенадцать человек нашлось всего четыре лома. Потому что настроение было паршивым: до окончания светового дня, а в ущелье мгновенно темнеет, оставалось часа полтора. Мирный чабан, пасущий в лощине стадо овец и с любопытством поглядывающий на доты в скале, ночью поменяет пастуший посох на «калаш» и постучится к нам с той стороны бетонной стенки. Все были взвинчены, чередуясь, спешили продолбить больше отверстий по периметру. И моя оплошность вдруг рассмешила, сняв напряжение.

— Да что, я виноват, что ли?

— У тебя, Корочкин, всегда другие виноваты.

О, я уже вызубрил эту фразу.

— Да он и вправду не виноват, товарищ лейтенант, инструмент бракованный попался. Небось, на Малой Арнаутской клепали.

— Без поверенных обойдемся. Долбите, Цыбкин, долбите.



— Товарищ лейтенант, а вы слышали что-нибудь про усталость металла?

— Отставить, Цыбкин. Лекции вам сейчас «духи» прочтут.

Ломы загрохотали вразнобой. Я принял лом у Цыбы, пока тот сел перекурить. Под вечер прилетела «вертушка», погрузила всех нас — двенадцать бойцов; первым в вертолет занырнул лейтенант Дынькин — тринадцатый, отставший от основной колонны после утреннего боя. Пока летели, дважды были обстреляны: сперва на взлете шмальнули «пастухи», а потом уже посерьезней, ухало слева и справа по борту. Но я дремал, придерживая на плече голову спавшего Цыбы, и снилась мне «учебка».

Учебные корпуса стояли посреди соснового леса у поселка Мышинские Слезки. Учили в сержантской школе полгода, потом экзамены и выпуск на службу. Все выпускники мечтали попасть поближе к дому, но бюрократическая машина, раскрутив свой суровый механизм, как игровую рулетку, всякий раз рязанца засылала на Кольму, якута — под Рязань, биробиджанца — в Карелию, а карела — в Еврейскую автономную область. В ожидании выпуска три дня пересменка, словно на каникулах или в отпуске, перекачивали мяч по этажам «спальников» — пустых казарм, «давили на массу» — спали до одури, курили до отрыжки — в общем, совместно «гоняли бадду». На разгрузке панцирных кроватей для пополнения мы сдружились с одним щуплым пареньком — Юликом Цыбкиным. Раньше видели друг друга, но не сближались. А когда приехала смена — «зеленые», мамкины сосунки, нас, пятьдесят «черпаков» из отучившихся на курсе двухсот, повели на экзамен. Гоняли пять дней: марш-бросок без снаряжения, марш-бросок с полной выкладкой, засада в противогазе, сборка-разборка автоматов на время, зачет на стрельбище и последним этапом, не поверите, кино. Правда, туда пришло всего двадцать из пятидесяти. Как мы, выпотрошенные, обрадовались — кинозал пахнет гражданской. Нам крутили фильм за фильмом; первым — «Охоту на лис», а дальше всё ленты военных лет. Я запомнил еще «В девять часов вечера после войны», следующие три, или сколько их там было, не вспомнить теперь: одна картина наложилась на другую. Потому что в темном зале нам не давали спать. Бодрые ухари-старлеи с фонариками в руках ходили вдоль рядов и светили в лица прикорнувшим. Если б знал, куда упаду после, я бы не пыжился, дурак, я бы заснул или притворился спящим, когда свирепый фонарик старлея, как на допросе, впивался в лицо: «Не спать, боец! Не спать! Проснись, боец, проснись!» После «киношки» из двадцати осталось семеро. Вот тех семерых и пригнали две недели спустя на погранзаставу в Туркмении.

Кому, чего доказывал, уставившись окаменевшими веками в экран? Хотелось ведь младенчиком свернуться в кресле.

Но меня невежливо трясли за плечо.

— Не спать! Проснись, Гена, проснись!

Я вскочил и ударился головой о верхнюю полку. На меня смотрели смешливые лица Цыбы и проводницы.

— Ну вот, всю ночь ходил, спать не давал. То покурить, то проехать боялся. Я ему говорю, дальше депо не проедешь.

— Ну, Горыныч, ты дал. Я на перрон — нету. Я в вагон — нету. А товарищ генерал паровозных войск...

— Ну уж...

— А товарищ проводница говорит, не дружка ли ищите? Девушка, а что вы сегодня вечером делаете?

— Какая же я тебе девушка, я уже трижды вдова... Вот ведь... балагур.

— Даже не разбудили! Соседи попались чудные — молокане какие-то. Я им и сала, и анекдоты. Не идет на контакт.

— А почему молокане-то?

— Так сало есть не стали...

Распрощавшись с проводницей, пошли мы с Цыбой по пустому перрону, обнявшись и пряча дурацкие улыбки друг от друга. Самую малость смутились, ведь почти два года не виделись. После дембеля письмами обменялись. Но писать я не мастак. Потом три лета подряд Цыба к нам в деревню на рыбалку приезжал. А после запропал. Созваниваемся редко: звонить — в районный центр ехать надо или канючить в правлении. Но бывает такая дружба у мужиков, что и встречаться часто, и болтать попусту, без умолку необязательно. Просто все знаешь друг о друге на расстоянии. Просто среди ночи встанешь, зимой, в пургу, если надо другу, на попутках автостопом доберешься и скажешь: что стряслось, брат?

— Что, служба снилась?

— Учебка.

— А мне все тот бой под Калайи-Нау. Одно и то же который год. Девоч предупреждаю, что ору по ночам. А ты как спишь?

— Я после армии спать могу хошь сидя, хошь стоя, хошь под потолком.

— Как там у вас в Кривулине?

— Яблоч — пропасть. Грибов — лисички, маслята пропускаем, одни боровики берем. Жерех прёт, буффало.

— А девчонки что? Помнишь, та рыженькая, как Дынькин?..

— Танька-продавщица, что ли? У, она — бедовая, уже и замуж выйти успела, и развестись. Мужа по пьяни чуть не прирезала. В колонии теперь.

— Таня?

— Не, мужик.

— Евонный?

— Ейный. Пьяная драка с ножевыми. Но ее тоже садить хотели. Да из-за детей оставили. Вторым тяжелая.

— А этот... одноклассник твой?

— Федор? Задавился.

— Повесился?!

— Не, трактором. С обеда пришел на ток, стал трактор заводить рукояткой. А тот на скорости оказался. Так его и опрокинуло.



— Бухой?

— Не, почему? Трезвый. Так, за обедом пропустил, может, пару стопочек.

— А сосед? Рубаха-парень. Первач приносил.

— «Москву» ему продал.

— Москву?!

— Мотор двадцатисильный. А потом утопил его.

— Кого? Мотор?

— Нет, соседа. Ну не до смерти. Жена его взмолилась: вытаци. Попросились они на тот берег. А сами поддатые оба. Тут он ко мне пристал, продал, мол, мотор плохой, а сам вон на «Вихре» бегаешь. Да берданку на меня навел. Я ему говорю, убери ствол, утоплю. Он говорит: не утопишь, стрельну щас. Ну я бударку на месте развернул и за ствол дернул. Он и вылетел за борт.

— И что же теперь между вами? Сосед все же...

— А ничё. Дело по осени было. Он уже почти год не пьет. Встретит меня — по имени-отчеству окликает.

— Ну, дела. А мать как? С матерью все нормально?

— Мать нормально. Со мной у нее плохо. Жених задумала.

— О! Да ты никак в бегах? Ну, ты чего? Идем.

— Больно красивые дворцы тут.

— Это вокзалы, Гена. Тут их три — потому площадь трех вокзалов в народе зовется. Так договаривай, а то в метро спускаться. Перекурим?

— Не, бросил. Это я так проводнице сказал, что курить. Не спалось. Маманя невесту нашла, не кривулинскую, а из Жердевки. Та разведенка, девка взбалмошная, командирша. На кой ляд мне фельдмаршал в семье? Короче, брат, ты звал давно. Ну, я и решился. Конец лета.

— Неужто? А чё... найдем и жилье, и работенку. Пока у меня поживешь. Пристроим. Я те давно говорил, Гена, перебирайся в город. В столице только и жить, тут все и происходит. Матери сказал? А то, гляжу, налегке, сидор один.

— Это сала и повидлу она прислала — тебе гостинец.

— Мерси.

— С матерью планами не делился. Не то на ассамблею полдеревни сбежалось бы: Генька в Ма-аскву-у собралси — на житье. Не, смолчал. Мать даже никому и не шепнула, что я на выходные в город еду. Не то щас знаешь куда бы мы с тобой двинули?

— За сыром, за колбасой...

— Во-во. А так я с матерью договорился, что, мол, на денек, туда и обратно, Юлика повидать, выставку достижений посетить. Отпустила с одним уговором. Нужно лекарство купить. Почками мается.

— Какое?

— Там записано у меня. Ну я думаю так: лекарство сегодня купим и завтра с поездом отправим. А билет сдам. И обратно не вернусь. Чё мне делать там? Работа грязная, жратвы не особо, культурка страдает, в библиотеке даже Ерофеева нет, один Ардаматский да подшивки газет.

А у вас тут на телефоне сиди, заказы принимай или кроссворды разгадывай. В пиджаке или в халате. Спецодежда — признак культуры общества. Сам-то ты как, Юлик?

— Кручусь. Работа клевая. Бабла приподнять можно. Правда, кругом очереди. За пивом — стой, за сигаретами — стой. Талоны дают, а прикупить дельное — выкуси: все из-под полы. Дефицит — знамя нашего времени, Гена. Народу зарплату на полгода задерживают. С бывшей год, как развелся. Мы, правда, официально недооформили. Кстати, молчит чего-то давно мадам Цыбкина.

— Во как. Обещал познакомить, а сам...

— А... дело прошлое. У меня сейчас знаешь какой кадр? Стюардесса! Правда, временно работает в обувном, в женском отделе. Там то сапоги чешские выкинут, то туфли австрийские, разные шмутки бывают. Люська берет по себестоимости, а потом с наценкой толкает.

— Мещанство, Юлик.

— Мещанство, Ген. Потому пока размышляю. Проходной вариант или надежный. Вот, кстати, какой там человек легок на помине: хороший или плохой?

Юлик читал сообщение в диковинной коробочке, шевеля пухлыми губами. Переводил с иностранного, что ли? Снял коробочку с ремня, отстегнув клипсу. Почему-то подумалось: пухлогубые, добрые сильно девчонкам нравятся. Юлик, несмотря на щуплость, никогда не страдал от нехватки женского внимания. А я вот в холостяках.

— Что за прибор?

— Пейджер — эксклюзив! Там оператору говорят, а мне тут как телеграмма прилетает. За пейджерами жизнь. В двадцать первом веке все только по таким машинкам и будем говорить. Ну что, сегодня выходной. Кое-какие дела сделать — и я полностью в твоём распоряжении.

— Сперва куда?.. В аптеку?

— Э-э... ты чего. В аптеке лекарства не купишь. Там только градусники, горчичники и резиновое изделие номер два. Но ты не дрейфь. Заедем к Зине, достанем тебе лекарство. Так что начнем с Большого театра.

— А может, с Красной площади? Нашим поклониться.

Вынырнув из метро, мы бродили по брусчатке, смену караула отследили у Мавзолея, куранты послушали, покружили с экскурсией вокруг Василия Блаженного и Лобного места. В ГУМ заходить не стали, мы что, бабы, что ли. И двинулись в сторону Александровского сада, грота и Вечного огня. Я был один раз в столице проездом. Красную площадь пробежал и обратно на вокзал. А хотелось жить тут; москвичи, поди, каждый день на Красную площадь ездят. Пейджер у Юлика разрывался. Юлик сначала улыбался жужжащей спичечной коробке, шевелил бровями, играл желваками. Потом все больше хмурился и вообще перестал на «жука» обращать внимание.

У могилы Неизвестного солдата постояли вдвоем, помолчали. А что говорить? Я знаю поименно всех, кого он вспоминал. И точно знаю, что



не обошел Лучика, сапера Лучьева, зёму моего. Лучик у нас на заставе слыл самым удачливым из саперов: сколько разминировал, скольким жизнь спас! Интуиция у человека была — звериная. Охотник и рыбак. Ему верили с полуслова. А погиб Лучьев по-дурному, от *своего* минометного обстрела. Когда в расположение его тело привезли и оставили ожидать погрузки на брезентовых носилках, откуда ни возьмись на бетонном заборе объявилась сова. Крупная. Лупоглазая. Сидела на выпирающей арматуре, пока тело Лучьева не погрузили для отправки в Союз. Доглядала. Как сова исчезла, никто не заметил, но ни до, ни после в тех местах совы не видели. Господи, пусть люди не гибнут, а умирают. Сами по себе, по старости, стоя у мира, стоя у рая. Предстоя.

После учебки и прикомандирования на границу переводили нас еще раза три в разные места. Пока однажды мы не попали под Калайи-Нау — в «горячую точку». На второй день уже опробовали «молодняк» в бою. Домой писали, что служим в Советской армии, не в погранвойсках, и в Туркмении, а не в Афгане. Однажды с погранзаставы не привезли продукты. Третий день видимости никакой, «вертушка» не может приземлиться. Тогда боевые машины оставили в расположении, а на трех транспортах «десант» в девять бойцов отправился на нашу сторону, в Туркмению, за провизией. Ехали по сопкам, сплошь покрытым расцветшими тюльпанами. Разливанное красное море, следующий склон сопки — фиолетовый, потом желтый; красота такая, что и грубое сердце дрогнет. В одном месте, в нарушение устава, головная машина остановилась. За ней и вторая, и третья по тормозам. Вышли. Нарвали тюльпанов охапками, без удержу. Машины украсили, в стволы понасовали. Как русские танки в Берлине. И снова «по коням». А ближе к «большой земле» у подножия одной из сопки откуда ни возьмись — старуха-туркменка, а к ногам ее мальчонка прижимается. Машины шли между собою на расстоянии метров в пятьдесят-шестьдесят, пылили. Когда последняя, наша с Цыбой, машина проезжала мимо тех двоих у дороги, захотелось остановиться. Старуха стояла по колени в тюльпанах: красных, фиолетовых, желтых. Из всех трех машин, не сговариваясь, возложили цветы к ногам женщины, может, не дождавшейся с той, другой войны, отгремевшей и тоже страшной, мужа, сына, брата. По темному лицу старухи текли слезы. А мне казалось, Родина-мать плачет.

Молчание за нашими с Цыбой спинами перебили веселые голоса. Так радостно всегда видеть свадьбу, девочку-невесту в белом. Порадовался за молодоженов, хотя немного раздражала болтовня жениха, и к монументу спиной, и анекдоты травит, что-то там про кабанчика, который не виноват. Зачем пришел? Для галочки? А когда я под брюками его брачного костюма увидел красненькие кеды, меня будто волной взрывной качнуло. Я к жениху — ну только спросить, есть еще что святое или ничего не осталось?

— Горыныч, не исполняй.

Юлик дорогу преградил. Жениха увела девочка-невеста, а тот все оглядывался, и хорохорился, и петушился в мою сторону издалека. Юлик

объяснил, что кроссовки «Пума» нынче в моде, их не достать даже у Люськи в обувном, разве только в «Березке» за валюту.

— Горыныч, остынь. Идем к Зине в Большой.

Прошлись пешочком до Театральной. Я было застыл перед квадригой Аполлона, но Юлик дернул за рукав: двигай, турист. В театр зашли через служебный вход с Петровки. Юлика беспрепятственно пропустили, как будто он тут завсегда. Мы продвигались узкими коридорами, где поднимались на пол-этажа, где на этаж спускались, и в итоге оказались сбоку от оркестровой ямы. Перед нами вполоборота сидели музыканты, одетые без парада, очень просто, ну примерно, как у нас завклубом или бухгалтерша в конторе. Я усталился на красный бархат лож, потом взгляд перебежал по рядам под потолок, на колосники, и театр показался мне не таким уж и большим. Цыба тем временем через трубача вызвал кого-то из середины оркестра. Зиной оказался щуплый, ростом с Юлика, чернявый паренек.

— Зиновий.

Парень переложил дудку в левую руку и поздоровался. Ручка его напомнила мне девичью кисть, ну вот как у теть-Пашиной племянницы Анютки. Подрастай, Анютка, скорей, васильковые твои глаза многим парням не дадут покоя.

Юлик объяснил Зине, что надо достать лекарство. Когда заглянули в материну записку, почему-то оба захихикали и понимающе заулыбались. И тут певец и на дудке гудец с уважением, кажется, взглянул на меня, хотя только что скептически косился на мои сандалеты и олимпийку.

— Трихопол?!

— Трихопол.

— Ну, братцы, не знаю...

— Ты можешь все, Зина.

— Гуд. Ол райт. Вечером после спектакля пересечемся. Думаю, достану. А где такую штуку клевою добыл?

— Это пейджер. Люськин отец, он профессор-анестезиолог, между прочим, подогнал любимой дщери, и мне перепало заодно.

— Я видел такое у одного итальянца. А у нас, говорят, только мильтонам выдали.

— Уже не только. За пейджерами будущее. В двадцать первом веке все только по пейджерам и будут переписываться.

— Ну, ладно, кокильяры, пойду. Главный хватится. До вечера, Цыба.

— Постой, а туда сходить можно?

— Куда?

— В царскую ложу.

— А... турист? Гость столицы? Ну, сходите. Там техничка сейчас убирается. Скажите, что от Зины.

Сперва мы вошли в комнату без окон, всю в красном бархате и золоте, с креслами на гнутых ножках, с сервировочными столиками. Из нее попали в самую ложу. Честно говоря, дух захватило. Думал: жаль, не смогу мамке рассказать, где побывал. А тут ведь цари русские восседали, и последний самодержец империи отсюда зал оглядывал, ну совсем как я



теперь. Ну вот зачем он так, на станции Дно? Должно, не знал, на каком дне с детьми своими закончит.

По дороге к метро Юлик рассказал, что Зина его одноклассник и лучший гобоист Москвы и Ленобласти. Почему такая странная география известности и кто такой гобоист, я спрашивать не стал, но точно понял, что с дзюдо не связано. Мне хотелось еще в парк Горького или на выставку достижений, но Юлику нужно кормить Карла Сигизмундовича, они со Стелкой — младшей сестрой — чередуются: день она кормит, день Юлик. И всего-то неделю нужно продержаться, пока какие-то Рюриковы в отъезде.

Квартира Рюриковых находилась на «Аэропорте», но не во Внукове или в Быкове, а возле станции метро «Аэропорт». К улице Часовой Юлик вел напрямки: через школьный двор, гаражи, задворки продмага «Мясо». В магазине «Рыба» отстояли очередь за ледяной, но ледяная перед нами кончилась, зато выкинули навагу. Взяли наваги четыре килограмма: по два в руки — больше не давали. Обогнули рыбный. За ним мы, весело болтающие на ходу, вдруг осеклись, увидев между деревянными ящиками и пустой картонной тарой двух жмуриков. Все уже случилось, уже некуда было бежать, торопиться, предотвращать, звать на помощь. Тут время свернулось, створожилось. Медленно бродили трое милиционеров и один в штатском между двумя телами, запакованными в черные мешки. Вяло отгоняли любопытных.

— Проходим, товарищи, проходим.

Рядом с одним жмуриком из-под мешка растеклась черная лужа. В стороне собралась толпа местных: кто в тапочках, кто в майке, кто с ведром. Но и в ней не заметно движения. Легкий говорок, как шелест листвы в соседних тополях: а я иду с помойки... а тут, тихо так, пукалки, пук-пук... и двое к земле... ну как поскользнулись...

Вдруг приметил белое лицо Цыбы. Он припустил к тополям, к стволу прислонился — отдышаться в сторонке. Я к нему.

— Мутит?

— Единственный в мире запах, который не выветривается из памяти, — запах крови.

— Плохо, браток?

— Обошлось.

— И часто у вас тут такое?

— Бывает.

Во дворе дома с арками из красного кирпича, детской площадкой без песка и со ржавыми качелями на оборванных петлях мы свернули к шестому подъезду. Парадное широкое, с лепниной, а кошками все одно пахнет. Кошачий запах уж точно не выветривается веками. Где-то читал, запах нашей цивилизации — это амбре парадных: помои, ссанье, кошачий помет и душок пережаренного лука.

Юлик открыл своим ключом, встал на пороге, не проходя. Я за ним. Из комнат послышалось шарканье. В коридор в растоптанных шлепанцах вышел пингвин.

— Кто это, Юлик?

— Домашний питомец Рюриковых. Купили хомячка, а вырос королевский пингвин. Пойдем, Карлуша, пойдем.

— Здравств... Здоровый какой!

— Метр в холке, а то и поболее. И раскормили его... Тут людям жрать нечего. Пойдем, Карлуша, пойдем.

Юлик, стоя в шаге от Карла Сигизмундовича, осторожно, вытянутой рукой погладил птицу по лоснящейся голове. Птица внимательно осмотрела Юлика, меня, авоську с торчащими рыбьими хвостами и, вытянув шею, собралась будто бы сделать бросок. Юлик, ловко вильнув, ретировался на кухню. Я растерялся, оставшись наедине с пингвином. Но Карл Сигизмундович проворно развернулся и поспешил за обладателем рыбы: мои пустые руки его не интересовали. В кухне Юлик вывалил навагу в эмалированное ведро — все четыре килограмма разом. И снова вовремя отскочил, иначе длинный клюв достал бы до мокрых рук, пахнущих рыбой. Пока Карл Сигизмундович поглощал рыбеху, мы с Юликом двумя швабрами вымыли полы в ванной и коридоре. Труд наш не был вознагражден. Насытившись, птица важно прошествовала мимо нас и, скинув на ходу шлепанцы, плюхнулась в полную воды ванну. Юлик, чертыхаясь, снова принялся за приборку.

— Сегодня что?

— Воскресенье.

— Ах да, выходной. Значит, возвращаются Рюриковы из Пицунды во вторник вечером.

— Слушай, а куда он... это... большие дела, ну, королевские свои, делает?

— У тебя был шанс увидеть. Он не всегда после кормежки заплывы устраивает. Обычно я его на поводке вывожу. Но гулять лучше в темное время. Он так метко целится. На два метра пуляет. Соседи орут, что сунсы палисадник засрала.

— А как сегодня? Пойдем?

— Не, сегодня очередь Стелки гулять. Они с новым хахалем организациями дружат, хата-то пустая. Эти Рюриковы, кстати, ее знакомые, вот пусть она и гуляет. Больше ни за что на такое дело не подпишусь.

— А за что взялся?

— Абхазский коньяк.

— Пол-литра?

— Две баклажки по полтора.

— Дело.

Мы аккуратно заперли дверь, свет погасили только в коридоре. А из ванны доносился радостный плеск и довольное урчание вперемежку с пощелкиванием, как у дятла.

Обратно возвращались длинным путем, чтобы обойти задворки рыбного. Всю дорогу до метро у Юлика снова жужжал пейджер. Он останавливался, читал латиницу, кривил губы и не особо хотел делиться со мной.



— Люська?

— Она.

— Что пишет?

— Что звонила Стелка, орала. Обещал сеструхе одно дело и совершенно забыл. Надо сгонять на блошинный рынок.

— На блошинный так на блошинный. Айда.

— Только пару звонков. Люське надиктую. И Светка чего-то третий день молчит. Выслушиваю каждый вечер, какая я дрянь. Бросил год назад. Новую телку завел. А сама?.. Обещает бросить пить. Родителям простить не может, что не пустили замуж за югослава. У них по соседству югославы гостиницу «Космос» строили. А как тот строитель уехал, тут я её подвернулся. В баре «Битца» познакомились, при конном комплексе. И не лень человеку через весь город таскаться? Ну тогда бары только открывать стали... Короче, за меня она просто так вышла, назло. И зря мы почти три года промучились. Сейчас уже привык к ее звонкам. А тут уже два вечера пропустила, представляешь? Ну, утром сам набрал, прежде чем на вокзал ехать, тебя встречать — молчок. Вроде и рад, а вроде и грызет что-то. Она — дура доверчивая. Черт-те кого в дом пускает. Сама челноком за шмотками мотается то в Польшу, то в Югославию. Все того, своего ищет. А недавно бандюганы квартиру у нее обнесли. Все, что привезла из-за бугра и на Черкизоне еще не толкнула, — прибрали.

У телефонной будки нагло перегнал один длинноволосый. Ну невежливо так с живыми людьми, в морге бы перегонял. Я было возмутился их городскими порядками. Но Юлик за плечо взял:

— Отвянь, Горыныч.

Да и парень слезно попросил пару душек: с девушкой не может встретиться. Ну, дали, мне всегда жалко влюбленных: они раненые. Парень девушке не дозвонился, снова побежал искать у кино. Потом Юлик связался с оператором, продиктовал сообщение для Люськи и опять набрал свою бывшую.

Вышел из будки с расстроенным лицом — не дозвонился, а Цыбкин вообще-то против того, чтобы люди жили с расстроенными лицами: это, говорит, портит облик планеты.

— Тишина?

— Тишина, Гена. Гляди, чё парень забыл.

— Сова?

— Совенок. Лупоглазый. Ты макраме плести умеешь?

— Вязать умею.

— Крючком?

— Не. На спицах. Носки шерстяные зимой связал.

— Дело. Парень, видать, своей подарить хотел. Ему сегодня не везет, как и мне. Выходной — а я парюсь. Светка, небось, по знакомым рыщет. Денег собирает: одни бандиты обчистили, другим бандитам должна. Дура — она и есть дура. Ладно, погнали на «блошку», потом к сеструхе на Пушкинскую.

На Тишинке мы искали кожаный портфель. Причем нам нужен был самый старый, затрапезный и непременно на двух замках. Сперва мне казалось, что на развале царит хаос. Но после часа хождения я стал подмечать свой порядок в рядах. Тут не было прилавков только с тарелками или только со старинными кофемолками. Нет, у каждого продавца можно отыскать все что угодно: от моногля до самовара Паричко братьев Шахдат и К°. Но все же сами ряды заметно различаются: у антикваров лица надменные, цены высокие, у дилетантов и цены ниже, и разговор проще. На барахолке весело, живо, но я быстро устал от толчеи и деловитости ростовщика-города.

Юлик шутил: карманы брюды и глаза не продавай. Я не азартный, но несколько вещей все же присмотрел для матери и еще кое для кого — с фиалковыми глазами. Думал, вот обживусь в столице, подзаработаю, обязательно сюда вернусь — приборохлиться. Юлик сразу предупредил, антиквары — народ ушлый, подлецы и шулера, попрятали все стоящее, а выставляют на продажу один хлам. Иностранцев ждут. Лучше искать новичков, тогда вещь можно сторговать за бесценок. Наконец Цыба напал на добычу. Он трудно выторговывал рыжий портфель с золотыми пряжками и царапиной на замке. Обижался, говорил, что его хотят надуть, отходил от импровизированного прилавка — расстеленных на земле газет, возвращался.

Потом заговорил с продавцом загадками, эзоповым языком, бархатым баритоном. Тот явно понимал покупателя, блестел очками, шепотом обещал показать штучную вещь, шикарное изделие, вытащил из-под прилавка черный чемоданчик из кожзама и цокал языком: жаль отдавать, жаль. Цыба просил его не дурачить, снова деланно обижался, грозился уйти безвозвратно.

— Я, конечно, могу уйти к конкурентам, но берегу вашу биографию. На что мне ваш черный катафалк?

— А может, у вас еще жива теща?

— Так вы мне будете продавать или будете отвечать вопросом на вопрос?

— А кто вам не продает?

— Нет-нет, не сторгуемся. Мы не сходимся.

— Молодой человек, а чего нам сходитьсь? Я давно уже неудачно женат. Давайте свои пятнадцать рублей и можете быть счастливым.

— За такие деньги можно шикарно поужинать в ресторане «Ям», а вы мне дохлый портфель суете.

— Я вам ничего не всучаю. И вовсе портфель не дохлый, он вполне еще гривуазный.

— Зачем же так цинически выражаться? Скиньте пятерку!

— Да что вы такое говорите?! Нет, что за покупатель пошел, я вас спрашиваю?

— А чего меня спрашивать? Будто я на допросе в ОБХСС. Скиньте цену и разойдемся.



— Молодой человек, мне нравится, как вы торгуетесь. Сойдемся на одиннадцать рублей, только скажите, зачем вам такой потраченный портфель? Вы хотите с ним сойти за министра, так я вас успокою: на министра вы все равно не походите.

— Одиннадцать рублей меня устроят. Тем более деньги не мои. Казенные.

— Так что же вы за казенные деньги морочите мне голову?

— Имею слабость.

С толкучки мы ушли оба радостные: Цыба довольный портфелем, я — свободой и тишиной; на рынке у них как у нас на птичнике. Юлик предложил перекусить в чебуречной, знал одну приличную, без котят в пирожках. Чебуреки и вправду оказались вкусными, клеенка чистой, и соль с перцем не перемешаны в солонках. Тут и по пятьдесят грамм давали. Но мы с Юликом не любители принимать на ходу и стоя. И снова мы ухнули в прохладу метро от плавающего под августовским солнцем асфальта. На Пушкинской к трем нас ждала Стелка, и время уже поджимало. Едва вышли на площадь, асфальт запятнали крупные капли из серой тучи, словно надерганной клоками из пучка пакли.

— Вон видишь на той стороне длинную очередь? «Макдоналдс» открыли в прошлом году. Первый.

— Типа «Военторга» или чего?

— Вот за что люблю тебя, Гена, за первозданную чистоту.

— Брось. Может, в церкву зайдем? Смотри, какая лапушка, в пещочках. Там как в музее.

— На обратном пути давай. Сейчас Стелка скандал устроит. У них спектакль.

— Так мы снова в театр? Тогда и вправду в храм лучше после.

— Грех замолить? Церквуху эту только недели три как открыли.

А в прошлом году тут цирковых собак и обезьян дрессировали.

— Ну, это хуже нашего. У нас в поселковом храме картофелехранилище было. Тоже тем летом открыли. Мамка ходит.

— О, гляди, Ганжа.

— Где, где?

— Да вот, дорогу переходит.

— Точно, Збруев. Улыбается.

— Видит, что узнают.

Мы прошли мимо главного входа в театр Ленинского комсомола, мимо афишной тумбы и свернули резко вправо. Неприметная дверка в торце оказалась незапертой. Спустились крутыми ступенями вниз. Еще спускаясь, слышали мужской разговор, но слов не разобрать. Внизу дорогу преградил здоровый детина, ростом с меня, но в плечах пошире будет. В руках он крутил нунчаки с цепой. Невежливо задвинул Юлика и по-бычьему уставился на меня.

— Чё буравишь? Я в красном, что ли?

Юлик от моего живота, стоя на две ступеньки ниже:

— Горыныч, выдохни.

— Куда прете? Тут закрытое мероприятие.

— Мы свои. Чинзано.

После пароля человек-гора сдвинулся в сторону — как в пещеру проход открыл.

В следующие минуты все закрутилось так быстро — опомниться не дали. Маленькая востроносая девушка проскочила под рукой амбала,хватила у Юлика портфель, погрозила кулачком, обругала его то ли ундиной, то ли мундилой и, не собираясь знакомиться со мной, указала нам места на длинной лавке в первом ряду. А второго ряда там и не наблюдалось. На лавке уместилось уже четверо: две девушки и два парня. Мне они показались странными. Но не до них. Мы оказались перед сценой без занавеса, на которой стояли два стула, скамейка и валялся опрокинутый вверх дном ящик. На стулья рассаживались два мужика, к ним вошел третий с нашим портфелем. Я портфель сразу признал по двум золотым застегкам и царапине на левом замке. А Юлик довольно шепчет мне в ухо: метеоры мы, спринтеры.

Мужик с портфелем успел затариться. Он доставал из портфеля одну за другой бутылки с белым вином и что-то говорил двум другим на сцене. Соседи по лавке посмеивались и перешептывались, одобрительно гудели в некоторых местах и даже пару раз захлопали. Но я себя чувствовал неуверенно. С утра столько чудного: лекарство можно достать в Большом театре, парня зовут женским именем, пингвины тапочки носят, рынок называется блошиным, артисты запросто ходят по улицам, а спектакли охраняют амбалы. Теперь смотрим пьесу, где ни одного слова не разобрать.

— А что они говорят?

— Тот, с портфелем, не любит красного. Закупился чинзано. Ты, Гена, чинзано пил?

— Не-а.

— Вермут.

— А эти что говорят?

— Спрашивают, по сколько на нос взял.

— Толково.

— А то иногда ночью, мол, сидишь в пустой хате, а гастроном уже закрылся.

— У нас так не бывает, всегда бутылка первача заначена.

— Тсс...

— Что там? Ну?

— Чай, говорит, пить вредно. На почки действует и на сердце вроде.

— О, мне мать так все время бубнит. Я чай гонять уважаю. А ты немецкий так хорошо знаешь?

— Это французский, Гена.

— Ну ты даешь, Цыба. И французский знаешь? А эти зрители кто, французы?

— Французы. Не пялся.

— Я сразу понял: не наши. Чистенькие, как немцы. Очечки, джинсики.



— Тсс...

— Видать, оттуда. Из Парижа.

— Тсс...

— Гляди, конфетами закусывают и хлебом, ну не солидно для театра.

Хотя тут и театр ненастоящий, подвальный.

— Сыр, колбаса у них еще. Говорит, пока человек ест, он не пьет.

— Чего они на повышенных?

— За деньги трут.

— А Стелка твоя кого играет?

— Тсс...

Уходили, не досмотрев. Мне, честно говоря, стало скучно. Даже не из-за того, что не понимал французского. А потому что пьют и пьют. Я и деревню за пьянку не люблю. Будто заняться больше нечем. У нас вон техники неремонтированной — пропасть. На братских могилах имена поистерлись. У храма крыша худая. Да к тому же в библиотеке полы перестелить пора, я взялся, да одному несподручно. Читать люблю. И библиотекарша — тетя Паша — хорошая. А у племянницы ее глаза синючие. Это я все амбалу рассказывал на солнышке у входа в подвал, пока Юлик внизу с сестрой разговаривал. Амбал курил и ловко крутил в руках нунчаки. Нормальный мужик, кстати, оказался — трагик, по совместительству парень Стелки. Готовится к роли в спектакле, где играет спортсмена. Я смотрел на дорогу, думал, вдруг еще Сашу Збруева увижу или другого артиста. А то те, из подпольной пьесы, незначительные какие-то. Когда Цыба выбрался на свет, трагик докурил и встал в дверях. Оказалось, бывшая жена и сестре Юлика не звонила неделю.

Мы, возвращаясь к метро, обсуждали спектакль, прошли мимо церкви, даже не вспомнив. Ехать в Большой к Зине вроде еще рано. Юлик предложил смотаться в Беляево, Светка не шла у него из головы. Боялся, снова запила, и лучше бы убедиться в этом, выгнать компанию местных алкашей, ввести в курс дела бывшую тещу и выкинуть, наконец, беспокойство из мыслей. Снова увидели длиннющий хвост в «Макдоналдс» и нырнули в метрополитен. Всю дорогу до «Китай-города» и дальше, после пересадки, Юлик разъяснял мне пьесу. Я не мог взять в толк, почему пьеса запрещенная, подпольная. Что в ней такого? В чем врет? А Юлик открыл совсем непонятное: писательница не наврала ни слова, показала правду, в том-то и дело. Выходит, правда снова под запретом? А Стелка, оказывается, работает бутафором и постановщиком движений, хотя чего там ставить, я так и не понял: ну, сидят мужики, пьют, за жизнь разговаривают — обычное дело.

Пейджер у Цыбы жужжать перестал. Видимо, Люське не понравились те слова, что Юлик надиктовал оператору.

Дом в Беляеве совсем не походил на дом Рюриковых, он ничем не выделялся из жилых «коробок» по соседству: серые кубы панелей в пять этажей, крошечные балконы — ну разве что покурить выйти, санки поставить или «Школьник» двухколесный пристроить на попа. Двор обычный: песочница без песка, ржавые качели, трава вытоптана. В палисад-

нике среди кустов сирени — «запорожец» на сдутых шинах. У каждого подъезда на лавочке бабушки сидят в карауле: те же ассамблеи, что у нас на завалинке.

— Нам в третий.

Внизу под лестницей коляска припрятана и ведро жестяное с венником, с подоконника черная кошка прыгнула и, юркнув под ноги, исчезла. На шаги откликнулись две сямки, подзадоривающие друг друга в дуэте. На четвертом возле пятьдесят третьей квартиры не слышалось пьяного разгула, аккуратно лежал половичок, бывший в прошлом ковром «Русская красавица». Юлик приложил ухо к замочной скважине — тишина, разгонять не придется. Надавил кнопку звонка, трель убегала в комнаты, но открывать нам не спешили.

Юлик с ухмылочкой подмигнул мне, мол, знай наших, и достал свой ключ. Дверь легко открылась, будто только нас и ждала. Светлым днем занавески зашторены. Глаз телевизора из комнаты мигает. Тихо. На пороге в кухню — яйца битые, лужица уже подсохла — лето. И тут в нос ударил запах. Сладковатый, гнилостный. Мусор не выносили давно? Так не пахнут прелые листья или подгнившие яблоки, так пахнет разлагающаяся пуповина после окота овцы. Мы почему-то замедлились в полумраке. Юлик дернул телевизор за шнур, откинул гардину и повернулся. Такого выражения я не видел на его лице даже на вылазках. Обернулся и я. За моей спиной на диване сидела женщина. Будто смотрела передачу и уснула сидя. Голова запрокинута, рот приоткрыт. Худые голые ноги в зеленых шлепанцах, футболка цвета кожи: серо-желтая. Из одного шлепанца ноготь большого пальца торчит. На коленях книжка неоткрытая — «Мергрэ и потерянная жизнь».

Юлик прошел на цыпочках, будто боясь ее разбудить. Не доходя до дивана пару шагов, как бы вглядываясь, наклонился, задел пустую бутылку ногой. Бутылка разбила тишину вдребезги, закрутившись, загремев по паркету и вдавившись по второй пустой, по третьей, как по кеглям. Цыба вдруг бросился на лестницу. За ним и я, на ходу хлопнув дверью. Очухались оба на подъездной лавочке.

— Видел?

Он спросил меня, сморщившись, как от оскомины, и надеясь, что я скажу: нет, ничего не видел.

— Это она?

— Светка.

— Вот и познакомились.

— Как думаешь, когда?

— Дня два-три.

— Ну так и есть. А я эти три дня... с Люсей...

— Что-то делать надо, Юлик.

— Что теперь сделаешь...

Мы разговаривали, как два контуженных, слышали только друг друга, а остальные звуки словно пропали для нас. Неслышно напротив лавки скакали по кустам снежнотогодики воробьи. Вокруг раскачивающихся



качелей бесшумно носились мальчишки. И качели качались беззвучно. А мы говорили. Медленно так, степенно, как будто сами теперь два старика на заваulinке. Вдруг вдоль дома пронесся, тарахтя и дымя, мопед. Мальчишки с гиканьем бросились за ним. Звуки вернулись. Юлик вскочил.

— Чего же сидим? Милицию и скорую надо.

Будку отыскивали неподалеку, в торце дома. Первым пришел участковый. Скорую сказали ждать полчаса-час, к покойникам спешить незачем. Участковый, лейтенант годами младше нас, выслушал Юлика, взял ключи от квартиры и предложил вместе подняться для осмотра.

— Не-не-не, я туда больше не пойду! — Юлик наотрез отказался и отошел от лавочки, как будто собрался уходить.

— Тогда вы со мной идите, гражданин.

Я обернулся. Кому говорит? Рядом мальчишки крутятся. У второго подъезда мужик с болонкой на поводке и тетка с помойным ведром на нас косятся. Из окон первого этажа с двух сторон от подъезда выглядывают: слева молодая женщина в пилотке из газеты, справа старуха с пучком как Пизанская башня — вот-вот упадет.

— Ты мне, лейтенант, говоришь? Я — приезжий... Ну, ладно, идем.

Почти у самой двери пятьдесят третьей квартиры нас догнал Юлик.

По-прежнему тихо, сладковато-удушливо, только выключен телевизор и полоса света ровной дорожкой пролегла от окна к дивану. Лейтенант и сам на цыпочках ходил. Осмотрел Свету, не приближаясь, прошел на кухню, нас позвал. Столешницы буфета и стола завалены грязной посудой, заплесневелыми макаронами и вонючей черемшой. Форточка плотно закрыта. Вернулись в проходную комнату, потом через нее во вторую заглянули. Участковый отворил шифоньер, с грохотом посыпались пустые бутылки. Вещей и мебели немного, книг вообще нет, трудно сказать, чем жил человек, каким он был.

Запах заполз за воротники, и, когда участковый отпустил нас, оставшись опрашивать соседей по лестничной клетке, мы, спустившись на пролет ниже и стоя на сквозняке, никак не могли от него избавиться. Юлик предложил сигарету. Курить не хотелось, но как ему сейчас отказать? Пока курили у окна, услышали тормоза скорой. Мальчишки весело показывали на третий подъезд. С доктором и санитарями в квартиру пошел лейтенант, к нашему счастью, мы не потребовались. Минут через пятнадцать медики спустились на пролет, стрельнули сигареты.

— Сколько ей, двадцать восемь?

— Неполных, двадцать семь пока.

— Сколько их перевидали, а удивляться не перестаю.

— Доктор, а что с ней... случилось?..

— Что случилось, это вас надо спрашивать. Муж?

— Не я. Вот он.

— Бывший.

— Бывший... Заливалась, видать, без удержу. Алкогольная интоксикация. И сердце — не мотор.

— Мы больше года уже врозь... Я говорил ей... Ругался.

— А что ты сделаешь, парень? Бесплезно. У меня своя теория на этот счет. Тут скорее и родня пьющая. И не в одном поколении. Кому-то оборвать надо было. Вот, может, ее и выбрали.

— Кто выбрал?

— Ладно, бывайте. А это пейджер у тебя? Нам, говорят, один на бригаду давать будут. В следующем году. Лейтенант! Пошли мы. Вызовов полно. Жарко. Душно. Старики этим летом мрут, как в семьдесят втором.

— А как же... Света?

— Бывайте, товарищ доктор. Я гражданам разьясню.

Вслед за врачами и мы спустились на первый. Из квартиры справа выглянула голова с Пизанской башней. Но под внимательным взглядом участкового, говорившим: в понятие? — скрылась за дверью.

— Медики бумаги выписали. Я там на столе оставил. Вам, товарищи, придется спецтранспорта — труповозки — дожидаться. Я сейчас из опорного пункта вызов сделаю — и на дежурство. А вы тут ожидайте, не отлучайтесь. Можете в квартиру подняться. Родным сообщите?

— Сообщим.

— Товарищ лейтенант, когда спецтранспорт прибьет?

— Это не по нашему ведомству, не скажу. Мне на дежурство заступать.

Подниматься в квартиру не тянуло. По очереди отошли в кусты за гаражами. Сидели на лавочке. Говорить не хотелось. То и дело из окон кричали: Витька, домой, Наточка, домо-о-ой, Валик, ужинать. Домой, домой... Что-то под сердцем защемило, пошевелился, а там, больно так, какой-то пузырик лопнул. И есть захотелось. Солнце осело за крышу соседней пятиэтажки, во дворе стало сумрачно и еще уютней. Кроме нас тут остался только ржавый «запорожец» в кустах сирени. Зато пятиэтажки, как драповые темные пальто, расцвелись желтыми пуговицами окон. Уже и собачники прошли, и парочки, и любители вечерних газет погромыхали почтовыми ящиками. Из нескольких отворенных окон в унисон донеслось: «Спят усталые ребята, книжки спят...»

— А что в семьдесят втором было?

— Большие пожары.

— Москва горела?

— Не, болота в Подмосковье. Торф. А ветер на город. Дым от Калуги, от Каширы сюда несло. Мне десять почти исполнилось. Няня умерла. Отец в другую семью ушел. На даче в Красково бабушка меня не ждала. Она по отцовой линии.

— У тебя няня была?

— Она меня французскому учила. Мы тогда не на Калужской жили, а на Дмитрия Ульянова. Другие берега, другая жизнь.

Я с замиранием сердца слушал Юлика, пусть говорит хоть о чем, хоть о пожарах — лишь бы не молчал. Потому что как только мы замол-



кали, мне казалось, думаем об одном — как наверху перед работающим телевизором умирает девушка в зеленых шлепанцах.

— Тяга к французскому пошла с няни. Те песенки, которые она пела, не помню. Отложилось, что танцую под ее прихлопы и чужую речь, но ни куплета не могу повторить. А Стелка уже и саму няню не помнит. Мама думала, в Красково нам лучше будет: сосны и все такое. Но не получила «добро» на меня — я рос недостаточно образцовым для бабушкиной модели воспитания. Обо мне говорили — дурная наследственность. Разрешили только сестру привезти. Ее еще надеялись воспитать в духе Цыбкиных, а меня считали отравленным традициями пермяцкой родни — это по маминой линии. Кстати, бабушка сильно ошиблась тогда. Повзрослевшая Стелка им всю цыбкинскую парадигму порушила.

— Поставила движения?

— А то. Они потом все по ее сценарию и двигались. Ну ты видел сеструху. Шпингалет, а заправляет голиафами.

— Да, запоминающаяся девушка. И глаза. Как Анютины глазки.

— Анютины? Глазки?

— Цветы такие.

— А... Так я тогда в городе остался. Родители на работе. Отца вижу только по выходным. С мамой вдвоем живем, но ее нет до вечера. И весь день я сам по себе. Окна велено не открывать, а как не открывать? Лето. Душно. За окном молоко, не туман, а смог. Еще помню, просыпаюсь, глаза не открыл, а в носу щекочет. Гарью несет. И думаю, а вот мог бы и не проснуться. Я тогда впервые испугался слова «смерть». Кашляют все вокруг или молчат. Во дворе тихо стало, вот как сейчас. Только тогда тишина днем и ночью стояла. Разъехались люди. На дачах легче казалось. Хотя и туда дымы приползли, да на земле полежать можно, крыжовником подышать или малиновым листом. А у нас тут скорые то и дело во Вторую градскую носились. И во двор к нам приезжали: за стариками. Тогда, говорили, труповозок в Москве не хватало: в сутки мерло больше, чем за ними приехать могло.

— Интересно, когда наша приедет.

Неудачно я ляпнул. Юлик осекся и снова замолчал.

Из окон доносился звон посуды. Пуговиц на пальто оставалось все меньше — свет на кухнях гасили. В квартире справа от подъезда, видать, уже спать легли. А слева створки окна настезь, слышны детские голоса, и кажется, пахнет краской. Но тут не уверен, потому что из-под моего воротника, чуть покрутишь головой, тут же всплывает запах гниющей пуповины после окота овцы. Иногда в ярком свете левого окна появлялась девушка, что днем ходила в бумажной пилотке. Под ее руками гремела струя воды о пустое дно чайника, громыхали кастрюли. Иногда она мельком поглядывала на нас, но быстро исчезала в глубине комнат. Черная кошка, что давеча бросилась под ноги, теперь восседала на подоконнике кухни, как местная предводительница, охотница, предвкушающая свой час. Кошка, похоже, следила за каждым движением двух человек в одинаковых позах: с локтями на коленях и сомкнутыми в замок кистями рук.

Хотя за ее спиной торчал угол клетки и разносились трели кенаря, кенарь почему-то не волновал кошку так, как две фигуры у подъезда.

— Когда-нибудь и за нами наша придет, Гена. Но пока вот за Светой. Знаешь, я ведь, когда уходил, понимал: все катится к едрене фене. Пропадет она. Примерно так и думал. И как доктор тот сказал: не справился. Да и почему я справляться должен? Молодой еще, погуляю. Она тащила меня куда-то в темноту, во мрак. Ее саму затаскивало что-то неодолимое, необоримое, понимаешь? И я тут беспомощен, даже лишний. Знаешь, почему лишний? Потому что если ей так написано всем ее пупырихинским родом — она из деревни Пупыриха, — то я-то просто стебель, не поднять мне маковую ту голову к свету. Блин, какую чушь несус...

— Я понимаю, Юлик. Если овцу ледащей породы прикупил, ходи не ходи за ней — зачахнет. Редко когда выходит можно.

— Я пробовал выходить. Влюблен был. А она, ты понимаешь, она любила того югослава. А мне как мстить начала. Пограницы своих не бросают, так ведь, Гена? Я старался. Но через два года понял: против заданности переть — бесполезно. Как грозу заговаривать бабкиным заговором от ячменя — не поможет.

— Да, парит.

— Гроза будет.

— Не, стороной обойдет. Немного, может, посикает.

— Мы с тобой застыли в поле хронона.

— Квант времени? *И это пройдет.* Пережить надо.

— А мне кажется, этот день никогда не кончится. Или, знаешь, утром люди на работу пойдут, а тут на лавочке две горки пепла: одна большая, как Джомолунгма, а другая маленькая, как Вичепруф в Террик-Террик.

— Машина!

Мы оба вскочили навстречу шарящим по березкам и сирени фарам. Но мимо нас к четвертому подъезду проехала «Волга» ГАЗ-24, не затормозив. Захотелось пить. Цыба знал тут неподалеку гастроном, где можно соку или коктейля молочного купить из конуса. Но оказалось, магазины только-только закрылись. Снова курили, снова вскакивали на шум мотора. Юлик боялся поднять глаза на окна четвертого этажа. Покрапал дождик, но облегчения не принес. Пить хотелось все сильнее. Наконец, я решился. Постучал об отлив открытого окна. Кошка зашипела и выгнула спину. Ко мне наклонилась в расстегнутом халатике хозяйка квартиры.

— Чего буяните? У меня дети спят.

— Прощения просим. Милая барышня, а не дадите ли водички? Мы тут в засаде.

Снова громко забила струя. Голые по локоть руки, хрупкие в запястьях, протянули мне хрустальную вазу литра на три с водой.

— Мерси.

Мы с Цыбой тут же выпили полвазы на двоих. Видно было, как девушка уселась за учебу под светом настольной лампы. Листала тетрадь-



ки, грызла карандаш. Кошка ходила по ее плечам, иногда выдавал трели кенарь. Вокруг бесшумно, как мыльные пузыри, гасли окна.

— Канарейка.

— Кенарь.

— Откуда знаешь?

— Кенари поют лучше, самки у них почти безголосые. В Кривулине сейчас знаешь какой гала-концерт... Вечером ухо выставишь: и белобровик тут, и черноголовка, и зяблики заливаются.

— Странная кошка. За птицей не охотится.

— Ученая. Вишь, в тетрадки нос сует.

— А ты помнишь Рейгана с Тэтчер?

— Как у генерала лицо позеленело?

— Ага. А у Дынькина побагровело.

— У рыжих завсегда так: розовое лицо, как чомпу. Яблоко такое.

— Не, у него как свекла стало.

Мы оба неожиданно захохотали. Такой случай, когда невозможно вспомнить и не засмеяться. Да и нервы дали о себе знать. А история действительно смешная вышла. У нас на заставе имелись подземные земляные казармы, штаб с красным уголком, столовая-землянка на триста человек. При кухне на откорме состояло пять свиней и боров. Боров знатный, важный, его за надменность прозвали Рейганом. Он часто гулял в неприятельском лагере, и вот чудо, проходил, бестия, безупречно минные поля. Его даже сам Лучик, сапер Лучьев, уважал. Внушительных размеров Рейган привязался к шелудивой прибудной собачонке Тэтчер и всюду за ней таскался. Со стороны как-то сразу заметно, кто тут ведущий, кто ведомый. Однажды к нам с проверкой прибыл залетный гость — генерал из самого генштаба. Ну, руководство части расстаралось, концерт устроили в землянке-клубе, готовили праздничный ужин. Дынькин, подбранный удавшимися на славу номерами самодеятельности и довольными лицами комиссии, браво со сцены объявил: ну, а через полтора часа приглашаю всех на празднование в столовую, к ужину Рейгана зарежем. Ну, тут такое началось. Это видеть надо, как одновременно зеленел овал лица московского гостя и как багровели лица у командира заставы, начштаба, замполита. А в зале стоял неимоверный хохот, личный состав сползал под лавки. Начальники, конечно, между собой ситуацию разобрали — обошлось устным выговором замполиту и особисту. Боров — как герой вечера — тогда спасся, на ужин зажарили двух чушек. Но все же история Рейгана и Тэтчер закончилась печально. Бестолковая собачонка подорвалась-таки. А Рейган трое суток ходил по минному полю, искал ее. Замполит Дынькин испытывал личную неприязнь к Рейгану. И в какой-то день приговорил борова «за нарушение государственной границы». Поварам была дана команда поросю резать. Но Рейган жилец на заставе бывалый. Пронюхал такое дело и пропал. Через неделю, правда, вернулся похудевшим. Не давался в руки, в загон не шел. Тут уже появился у поваров азарт. Устроили ловлю с погоней. Собаки лаяли, боров визжал, ему вто-

рили поросята в свинарнике. Начзаставы начал спрашивать о нештатном шуме, и лейтенант Дынькин просто пристрелил борова Рейгана.

Дождь все-таки пошел. И такой резвый, едва успели спрятаться под подъездный козырек. Сразу посвежело, даже слегка похолодало — август все-таки. От моей мокрой олимпийки пошел запах сырой шерсти. А футболка Юлика расплылась темными пятнами и прилипла к телу. Цыба охватил себя руками и заметно дрожал, не от дождя, конечно.

— Эй, где вы там?

Приглушенный голос из окошка обращался к нам, а к кому же еще, кроме нас, тут ни одной живой души. Завтра рабочий день.

— Эй, держите.

Рука, тонюсенькая, голая до локтя, протянула какой-то увесистый предмет. Я подхватил — табуретка.

— Влезайте.

Нас долго упрашивать не надо. Первым полез Юлик, я его слегка подсадил. Потом сам стал с табуретки коленом на подоконник. Влезли и стоим втроем, таращимся друг на друга. Кухня не больше шести метров, буфет, стол, три табуретки, плита, холодильник «Юрюзань» и клетка, накрытая тряпицей. Все поверхности заставлены хрусталем, как в музее. И мы топчемся, будто втроем обниматься собрались.

— Чаю будете?

— Будем.

— Садитесь. Не мешайтесь под ногами.

— А вас как зовут? Вот меня Юлик.

— Странное имя. А вас?

— Гена. А вас?

— Вера.

— Красиво. А вы, Вера, всегда гостей впускаете по табурету?

— Юлик, а тебе не все равно? Вот мне, например, все равно. Зато чаем напоят. Я чай гонять уважаю. Вечер без трех кружек — пропащий.

— Сейчас закипит. Я неполный поставила.

— А у вас телефон есть?

— Нету.

— Вот и отлично. В ночь бывшей теще звонить — это как в горящее кольцо прыгать: подготовка требуется.

— А вы так до утра и собирались на лавке сидеть?

— Мы спецтранспорт ждем. Вера, дайте, пожалуйста, доску и нож.

У меня тут сало и повидло.

— Я сразу поняла, случилось что-то. Участкового с вами видела.

— Это мои гостинцы, между прочим. Мне прислали.

— Тебе, тебе. Но ты поделишься. Юлик, как считаешь, сало есть с хрустальной тарелки — мещанство?

— Мещанство, Гена. А и правда, чего это, Вера, у вас вся кухня в хрустале?

— Да мать в Гусь-Хрустальном на фабрике работает. Им зарплату продукцией выдали.



— Дело. Толкнуть можно.

— Не идет. Пробовала. Но сегодня и так повезло, купила пять банок паштета из океанических рыб и две банки сухого молока. Больше в одни руки не давали. Знаете, у меня еще кое-что есть.

Вера отключила газ под чайником, засвистевшим кондукторским свистком. И, встав босиком на табуретку, стала шарить в полумраке верхней полки буфета. Мы с Юликом уважительно поглядели на стройные, узкие в голених ноги, на задравшийся до трусиков халат, встретились взглядами и отвернулись. Вера спрыгнула на пол, вдела ноги в пушистые тапки-котики.

— Вот! Чинзано.

— Чинзано?!

— Да. У меня муж — музыкант, на гастроли ездит в соцлагерь. Из ВНР привез. Я из-за него вам табурет и подставила. Он бы меня понял. А вот женсовет — навряд ли.

— Это старуха из квартиры напротив? «Пизанская башня»?

— Да, точно вы ее описали. Невзлюбила меня из-за Клеопатры. И то участковому жалобы пишет, то мужу анонимки подбрасывает. Ну, что будете? Чай или...

— Сперва по рюмочке давайте. А потом и чаю. А Клеопатра это кто?

— Клео — это кошка моя.

— А... тот милый черный зверек.

— Гладить не советую. Когти пантеры. Клео тоже не платит благодарностью «Пизанской башне».

— Ну, давайте за знакомство, Вера!

— Гена и... Юлик, да? За знакомство.

— За знакомство. Чаем разве знакомство отмечают? Чай — вредная вещь, говорят. Вроде на почки действует и на сердце.

— Юлик, ты прямо из пьесы шпаришь.

— Они там неправильно пили чинзано. Вера, у вас лед найдется?

— Вот чего-чего, а льда у меня навалом.

Девушка открыла морозилку и в ее арктической пустоте принялась ножом соскребать со стен куски льда. Получалось у нее неважно, стружку скинула на блюдо и протянула Юлику. Цыба с сомнением взглянул на снежный пик и отставил его в сторону. Я решил смягчить неловкость.

— Чинзано — редкость. А нам, знаете, за день второй раз попадается. Сперва в пьесе, а теперь вот у вас.

— Да? А что за пьеса?

— Подвально-подпольная. Ее иностранцам показывают.

— Гена, выдохни! Вот за что люблю тебя, так это за чистоту сердца. Вере совсем не интересны какие-то подвальные пьесы.

— Напротив, Юлик, даже очень любопытно. Я ведь и сама пишу. Правда, стихи в основном. Хотите, я вам свои почитаю?

— Что угодно, только не молчать. Имя Вера... да еще и стихи... Напоминает одну поэтессу.



— Инбер? Подумаешь, какая глубокомысленная догадка, мне часто так говорят. Как будто другой поэтессы с этим именем и быть не может. Так вы не хотите, чтоб я читала?

— Хотим, почему. Только вы все же сало попробуйте. Свое, деревенское. У нас в Кривулине — лучшее сало. Даже в Жердевке такого не найдете. Вот приезжайте с детьми следующим годом, Корочкиных спросите — все знают.

— Ой, а можно я пару кусочков дочкам оставлю. На завтрак с кашей дам.

— Да кусок от шмата отрежь, Гена, и сразу отложим. Бывает, у некоторых аппетит разыграется, и они чужие гостинцы приговорят без остатка.

— Спасибо вам. А то у меня на той неделе такая тоска случилась. Утром просыпаюсь, семи нет. Дети скоро проснутся. А мне нечем их покормить на завтрак. Совсем. Пустой холодильник — это невыносимый упрек хозяйке. И такая жалость к самой себе накатила, к дочкам. Муж в отъезде. Зарплату задерживают третий месяц. Талоны есть, продуктов нет. Поплакала и поднялась, ну, что делать... Остатки молока разбавила водой и с крахмалом молочного киселя наварила. Густой, сладкий. Выкрутилась. Вечером подруга тушенку принесла, две банки. В продмаге рис выкинули. В общем, обошлось. А сегодня вот талоны отоварила: пять банок паштета и две — сухого молока. Больше в одни руки не давали. Ну, я им не забуду свои слезы.

Вера погрозила в темноту крошечным кулачком.

— Кому «им»?

— Ну им... там, наверху. Знаете, я не безрукая, не белоручка. Тут одноклассница предложила подзаработать на конвертиках, я согласилась. Надо из бумаги клеить конвертик для семян. Один конвертик — четыре копейки. Сперва дело спорилось, а через три дня я стала ненавидеть бумагу, клей, свои руки, комнату, заваленную коробками. Бросила. На девочек взглянуть не смела, сидят, клеят с утра до вечера. А лето ведь. Подъезды мыла внаклонку. Потом на работу все-таки вызвали, в музей. Я — экскурсовод. А у вас с работой нормально?

— У меня служба не пыльная. То есть деньги, то нет. Потом опять есть. А Гена вот в деревне живет, там вообще с работой тухло.

— Ничего не тухло. Работы полно, Вера, я в РТС работаю. Ремонтно-транспортный сервис. Трактора, тяжелую технику ремонтируем. У меня в бригаде пять человек в подчинении.

— Горыныч, да ты — начальство! А ведь и не похвастал.

— А чем тут хвастать: весь день в грязи.

— Ну что, еще по одной?

— За что же?

— А вот за стихи. Мы думали, вы к экзаменам готовитесь.

— Нет, не учусь. Вечером у меня совсем немного моего времени, личного. На работе или с детьми когда, так сочинять не выходит. А вот, знаете, перебежками, если в туалете сижу, или в лифте спускаюсь, или вот даже в вагоне метро, когда битком, — так хорошо сочиняется.



— За вас, Вера!

— За вас. За поэта. Или за поэтессу?

— Спасибо. Я против феминитивов. Ну, вы ешьте и слушайте.

Вера оперлась о буфет, запрокинула лицо в черный квадрат рамы и принялась протяжно читать, подглядывая в листок и затем небрежно упуская прочитанный лист из рук. Листы, кружась, падали на пол и укладывались коврами-самолетами у ног Веры. Я заслушался. Никогда еще не встречал живых поэтов. И чтобы вот так, запросто, читали стихи. Поэты на кухнях живут — чего в столице только не бывает, счастливые. Ночь. Луна.

Испортит все Цыба. Он не дождался последнего листочка и заговорил как замполит Дынькин.

— Нет-нет. Это никуда не годится. Что за подражание: «Луна — языческая жрица пророчит смерть моей свече»? Ботфорты какие-то, шляпы... Пыль веков, рухлядь... Кому это сейчас интересно? Где нерв времени, я вас спрашиваю?

Вера прокрутилась на табуретке, как на карусели.

— А вам, Гена, как?

— Потрясно. У нас завклубом тоже такие стихи пишет, к Первому мая или ко Дню сельхозработника.

Я подобрал листочки.

Вдруг Юлик замер, уставившись на потолок, будто увидел: обезьяна Хануман за люстру хвостом уцепилась.

— А ведь Света над нами. На четвертом. Сидит.

Схватил полную рюмку и махом опрокинул содержимое в глотку.

— Фу, теплый... мерзко.

— Знаете, по-моему, вам пора.

— Вера, а прикорнуть у вас на кухне нельзя? На полу? Я с поезда. В купе молокане какие-то попались...

— Прикорнуть? Исключено. Остаться у меня на ночь двум незнакомым мужчинам невозможно. Я честная женщина.

— Ну, понятно. Не похвалили поэтесску. Прощайте. Дождик вроде передумал.

— Да пошли вы... Нет-нет, не в коридор. В окно.

Мы вылезли таким порядком: сперва я, потом подстраховал карабкавшегося Цыбу. Табурет подал Вере обратно в проем окна. В кустах снежнотогодника жутковато перемещались два желто-зеленых глаза Клео.

— Спасибо, хозяйка. Спокойной ночи.

Окошко захлопнулось — как по щеке хлестнуло. На улице с прошедшим дождиком посвежело. Зябко. Уселись на мокрую спинку, забравшись на лавку с ногами.

— Гена, кажется, мы потерпели фиаско. Да и понятно, я не в форме. А тебе фифа московская не по зубам.

— Цыба, по-моему, ты обидел хорошую девушку. И зря. Даже чаю не попили.

— Но стишки-то совсем плохие. Беспомощные.

- Мне понравились. Чинзано ваше и правда — бурдень.
- Слушай, может, они вообще не приедут? Сколько можно?!
- А у нас есть выбор, Юлик? Ждем до утра.
- Ёкарный пузырь. Как рассветет, пойду в опорный пункт. А ты здесь покараулишь. Слышишь, Гена? Только не молчи...

Снова припустил дождичек, тихий, но спорый, с частыми длинными струями. Мы как-то одновременно с Цыбой подумали про «запорожец». Я обошел машину со всех сторон, потягал за ручки, правая, пассажирская, поддалась. Откинули сиденье и влезли. Тут было ничуть не теплее, зато сухо. Пахло сыроежками. Юлик положил голову мне на плечо, словно «запор» — это «вертушка», и через минуту спал сном безгрешного человека. А я и сам после армии могу спать хошь сидя, хошь стоя, хошь зависнув под потолком.

Чужая машина навевала-таки сон о другой машине, армейской. Мы ехали тогда в БМП, подорвались на mine, перевернулись. Весь экипаж цел, а мне зубы повыбивало своим же автоматом, лежавшим на коленях. Зато меня, беззубого, отправили в Союз в отпуск на целых две недели — зубы вставлять. Вы думаете, страшно возвращаться после гражданки в армию, к своим? Да я бежал сломя голову, мчался с пересадками, неся с вещмешком, набитым передачками, и думал об одном: только бы они все меня дождались. Только бы дождались. Все. Дурак был, простофиля, как мамка обзывается.

Под длинный скрип тормозов я зашевелился, и Цыба тут же проснулся. Тормозные колодки кому-то не мешало бы поменять. Ноги затекли так, что шагу не сделать. Как на ходулях, выбрались из нашего суперлюкса. Двор светлый, еще бессолнечный. Никаких следов ночного дождя. Снова парит. Душно. У торца дома дворник гулко гремит металлическим инвентарем. Вдоль дома от подъезда к подъезду тащит с тяжелым грохотом низенькую тележку дородная тетка. Зычный голос бьется между двух серых панелей: молокоу... молокоу... Навстречу тетке из темных парадных выходят хозяйки с бидончиками. Просыпается улица. А перед третьим подъездом стоит выдавшая виды «буханка» без креста и без опознавательных надписей на борту. Но по уморенным лицам двух мужиков, одновременно хлопнувших дверьми, мы сразу догадались: ликвидаторы, наша пришла. Сносить тело в доме без лифта хароны отказались. Я рассвирепел, на одного надвинулся: где же это видано — в последнем пути человеку отказывать. Но Юлик снова укоротил меня своим фирменным: «Глубже дыши, Горыныч». Пошарил в карманах, отдал всю наличность. Ну и я свое выскреб, такие правила.

На каждом этаже узкой лестницы пришлось помогать санитарам. Трудно разворачивались громоздкие носилки. На всех этажах в дверных щелях нас провожали любопытные головы соседей. Пыхтя, подгоняя друг друга по матери, спустили вчетвером груз на первый. Я старался не смотреть на черный пакет, тело казалось легким, сами носилки тяжелее были. С всхлипом закатали их по рельсам в кузов «буханки», как в жерло адаво. Пожали руки мужикам, да, что говорить, по-божески взяли, а работа из



последних. Расплатились с Хароном. Машина мигнула стопарями и увезла Свету в новые города и веси.

У соседнего дома все раздавалось: молокоу, молокоу... На ремне у Цыбы снова зажужжала коробочка. Он отстегнул ее и зажал в кулаке. Мы в растерянности стояли у подъезда, будто недоделали здесь чего. День только начался, а большое дело сделано, как будто день на том уже и кончаться может. Дальше куда?

— О, про тещу забыл! Жены бывшими бывают, а тещи — никогда. И никуда не денешься, звонить надо.

Цыба поморщился, подбрасывая ключи на ладони.

С хрипом отворилось окно Веры. Девушка показалась бледной, как и ее батистовая ночнушка с вырезом почти до сосков.

Я предложил:

— Вера, давай бидон, молока возьмем.

— Денег нету.

Юлик ринулся:

— У тебя какой номер квартиры? В долг возьмем. А ты пейджер продашь и вернешь молочнице. Вот, держи. Только если он квакать станет, не читай, пожалуйста. Там меня не с лучшей стороны характеризуют. А так я вполне кандидатура.

— Пойдите... Да послушайте же вы. Я вот что... в шесть часов... с утра радио включила... а там... передают сообщение о нездоровье президента. Он в Форосе, в Крыму.

— Горбач занедужил? И что? Нам ли их проблемы...

— Просто... я вот что... по телевизору «Лебединое озеро» показывают.

— По какой?

— По первой.

— Вера, если вы не ценитель балета, переключите на вторую программу.

— На второй то же. И на третьей балет.

Трудно оказалось сообразить, что за фортель. Не могли объяснить не только Вере, но и друг другу, и самим себе. Отвлеклись от большого мира на маленькое жгучее горе. А мир большой не останавливал собственный хронос. И казалось, что-то новое, что-то тектоническое надвигается на нас, на Веру с ее дочками, на кенаря и Клео, на Стелку и трагика, на Зину и Большой театр, на Карла Сигизмундовича, на Люську с папой-анестезиологом, на Ганжу, на продавца рынка, на счастливых Рюриковых, еще два дня имеющих в запасе, но тоже не минующих хаоса, слома, падения крышки сверху, которая вот-вот всех нас прихлопнет.

Когда отдали молоко, пришло ощущение завершенности: здесь сделали все до конца, и тянуло куда-то дальше. С Верой не прощались, будто само собой ясно было: снова свидимся.

По дороге к метро Юлик вдруг утвердительно выдал:

— Нет там никакого музыканта. Одинокая она. Хрусталь помогу сбыть.



Я не стал спорить, хотя мне совсем так не казалось.

Дома у Юлика нас ждал холодный завтрак-ужин и записка матери, что в городе видели танки, что она срочно поехала к Стелке в театр, что вечером заезжал Зина из Большого и оставил пакетик на трюмо, что звонила моя мать и спрашивала, когда привезу подкормку для помидоров. Тут только я вспомнил про трихопол, билет, который надо сдавать, про новую работу, куда собирался устроиться. Я сбегал в душ. Цыба разогрел картошку и, кажется, звонил бывшей теще. Разговор, как и ожидалось, вышел трудным, с большими паузами, в которые Юлик пытался вставить хоть слово; он снова побледнел, будто его мутило. Потом он мылся, а я варил какао из зеленой коробочки «Золотой ярлык». Хотелось чаю, но заварки не нашлось. По телевизору шло бесконечное «Лебединое озеро». За завтраком договорились съездить на вокзал, отправить лекарство, сдать, наконец, билет — до поезда оставалось около двух часов, а потом рвануть в мастерскую. Юлик работал в цехе по ремонту зонтиков, магнитофонов и бытовой техники типа made in Japan. Бизнес замутили два друга — грузин и армянин, — и зонтики, как пояснил Цыба, лишь для прикрытия; основным же занятием оказалась добыча драгметаллов. В цех привозили всякую всячину, например, бэушную технику, и работники добывали из нее нужные детали. Я в душе благодарил Зину — хороший парень оказался, не подвел. А еще недоумевал над материнским звонком: о какой подкормке для помидоров речь?

Когда вышли с Юликом из подъезда, мимо нас пробежали два парня, на ходу в авоськах позвякивали бутылки с «Жигулевским». Юлик окликнул того, что пониже, остановились оба: приземистый и высокий. По разговору и по всему я понял — одноклассники.

— Цыба, ГКЧП, слышал? Айда с нами.

— Да мне на работу...

— Какая работа? Все встало... Заваруха.

— Да вот ко мне друг приехал. Однополчанин.

Оба — приземистый и высокий — перебивали друг друга:

— Э, афганцы, братухи, давайте с нами... Мы тут затарились.

— Кантемировка, говорят, в городе. С девяти часов митинг идет у мэрии.

— Народ на Манежке кучкуется, у Останкина.

— У Кремля. У Белого дома. Айда, братва. Мы погнали.

Юлик задержался: к парням, ко мне обратно.

— Пойдите. Погодите. Вы куда сейчас?

— По дороге решим. Или на Манежку, или к Белому дому.

— Гена, я никуда не еду.

— А как же, Юлик?

— Давай так. Едем сейчас до «Комсомольской» вместе. Там ты выходишь наверх, ну, помнишь, вчера — о, боги, это только вчера было? На площадь трех вокзалов выходишь. Сдаешь билет. Потом встречаемся на Манежке. Лучше у Вечного огня. А я с ребятами сейчас, сразу... не могу... заваруха. Добро, Горыныч?

В метро творилось невообразимое: турникеты забиты монетами, люди шли не останавливаясь. Всюду только и слышно: Янаев, Язов, Ельцин, Горбач, Форос, танки, танки, танки. Люди возбужденно жестикулировали, новости и слухи передавали скорее с радостными и веселыми лицами; попадались, правда, и недоуменные выражения, и растерянные, и даже испуганные. А растеряться было отчего: я впервые в жизни видел такое количество народу в одном порыве. Я быстро потерял на перроне Цыбу и двух его товарищей. Сам разобрался, как добраться до «Комсомольской». Пришел на вокзал, в кассах объявление: «Перерыв пятнадцать минут», а ожидающие говорят, уже час, как закрыто. На вокзале хаос, как и в метро, — оставленный без надзора паноптикум. Ну, я не знаю почему, но пошел на путях искать, где поезд Москва — Тамбов стоит. А он и вправду под парами, уже подали. И такая меня тоска захлестнула, так домой захотелось, будто годовалому пацаненку к мамке. И чаю захотелось нашего, с душицей, с липовым цветом, с медом гречишным. Дома трактора поломанные дожидаются, и половицы в библиотеке я не перестелил. Теть-Пашина племянница Анютка, поди, подначивать начнет: сбегал, мол, в город, трудностей испугался. Надписи на братских могилах стерлись. Крыша в церкви прохудилась. А тут у Юлика сиди да зонтики чини, магнитофоны раскурочивай или кроссворды разгадывай. А откуда они, бэушные магнитофоны, берутся? Не по нутру мне такой бизнес. Вот и решил билет не сдавать. Без меня тут разберутся. Руки — при мне, совесть моя при мне. А в чем не уверен я... Знаете, там, в Афгане, все понятнее было: вот ты, вот враг. И тех двоих я под присягой убил, нету за мной греха. Хотя кто знает, как еще развернется и что за спрос будет с каждого. Бабушка говорила: по чистоте рук будет тебе. А тут свой против своего, понимаете? Надо ведь уважение к чужой жизни иметь, так я рассуждаю. Танки, танки... В танчики наигрался. А тут... Кто за кого? Я так-то спокойный, а обидь — горячий, потому и кличку Горыныч дали; не сдержусь, в пекло полезу. Я не испугался, нет. Просто и малые дела не переделал, чтобы за большие браться. Я с вами не еду. Так им и сказал. А чай у вас краснодарский? Люблю в подстаканниках пить — красиво. Домой тоже мельхиоровый подстаканник куплю, нет, два... пожалуй, три, на обзаведенье. Буду вспоминать о поездке в Москву. А Юлику из конторы позвоню. Он поймет. Скажет только: Горыныч, выдохни. Я матери лекарство везу, трихопол. Для помидоров хорошо? От мучнистой росы? Ну да, нас нынешним летом мучнистая роса замучила... Да неужто она? Ну все одно, мать есть мать — на всю оставшуюся. Вам спасибо, что пустили до посадки. лягу и наконец выплещу. Вы только меня до Тамбова еще разбудите, непременно заранее. Мне теперь все равно, кто в попутчики попадет: хоть молокане. Да и сало у меня кончилось. И повидло. Сегодня ведь Яблочный Спас. Август. Лето на исходе. Жерех бьет у того берега.

Мария ФРОЛОВСКАЯ

ПОЗДНИЕ ЯБЛОКИ

* * *

Похоронили старуху, налетели деловитые дятлы.

Стучат, стучат, выколачивают нелепую старухину жизнь,
долгожданную ее смерть.

А старуха ходит вокруг да около,
пальцами невидимыми, но все равно заскорузлыми
щупает платья, почти неношенные, на светлый день береженные.

Стучит, стучит молоток, ревет дрель, обрушиваются хрупкие полочки,
ходят за старухой полосатые призраки:
кошка, что преставилась в девяносто третьем, и кот Иннокентий.
«Как пойду я по ниточке, — говорит старуха, —
по суровой ниточке, от окна натянутой, —
уж вы не ходите за мной».
Прыгают на ниточку усатые, полосатые,
бегут-бегут, выбрались из окна.

«Как пойду я по мостику, — говорит старуха, —
по серебряному мостику, по отточенному лезвию —
уж вы не ходите за мной».
Бегут-бегут кошки по лезвию, спрыгивают на небесный свод,
красные кровавые селечки-следы тянутся с восхода на закат.

Ничего не говорит больше старуха,
а идет через море горящее,
через горы стоячие,
через горе свое, до сих пор не выплаканное.
И бегут за старухой усатые, полосатые,
пугавшие соседей топоточком своим бесплотным,
мявом своим неслышным.

Так и дошли.

* * *

Сорок дней горевал, нагрубил невестке и сыну
и ушел в голубятню. Захватил кастрюлю и чайник
и осеннюю куртку: а вдруг холода настанут,
а душа не остынет?

И теперь он живет с голубями и соловьями,
на краю лесопарка, в сирени и иван-чае,
и такая сирень махровая, так высоко
поднялся кипрей, что с дороги почти не видно
ни зеленой крыши, обшарпанного крылечка,
ни тюльпанов лиловых — жена такие любила.

По ночам он палит костерок, наплевав с голубиной
башни
на ментов, лесников и прочих «при исполнении»,
потому что к огню выходит его старуха,
молодая, семнадцатилетняя, в синем платье.
И целует его, и они до утра бормочут,
вспоминают Анапу и как уезжали в Питер,
а потом родили Серегу, Петра и Машку.

А еще в понедельник сын приходил мириться —
ничего не увидел: ни деда, ни голубятни.
Только волны сирени, персидской, непобедимой,
только злая крапива да заросли иван-чая.

* * *

А за августом — только тишь, и трава говорит мне: спи
на моих пожелтевших волнах, на спине золотой степи.
Осыпайся зерном, отбрасывай шелуху,
проверяй, как там, на звездном, ясном верху.
Отпускай свои листья в полет, а яблоки в чернозем.
Кровоточит сентябрь, кленовой стрелой пронзен,
умирают боги, цветы, маленькие ангелы на лугу —
зарывайся в беззвучье, а я тебе помогу.

А за августом только река, и на том берегу туман,
серебристая лодочка, паруса мотылек.
Если ей помахать, она, видимо, приплывет
и толкнется в песок, и в ладони ляжет весло.

* * *

С Большого Каменного моста, с крылечка Дома Пашкова
отпущу свою душу — ясеневую крылатку.
Лети, душа, над Волхонкой и Якиманкой,
над Кадашами, где уже зажигают окна.

Над игрушечной моей, разноцветной, ненастоящей,
оседающей в чашке заката молочной пеной.
Распахнись над Арбатом неонem его неспящим,
заклубись по углам переулком Кривоколенным.

Оброни свое перышко, ленту, стеклянный шарик —
что еще там у вас, бестелесных, неуловимых? —
чтобы я поездами, дождем, сигаретным дымом,
но всегда возвращалась, всегда сюда возвращалась.



Андрей ПОДИСТОВ

ЗАГОВОР ОБЕЗЬЯН

Повесть*

Предисловие. Саша Степанов, 2021 год

Боже, как быстро летит время! Кажется, еще вчера я был молодой, энергичный, самоуверенный, мечтал о несбыточном, о всеобщем признании, о каких-то лавровых венниках...

Плох тот журналист, который не хочет стать писателем, считал я, и кое-какие свои жизненные и журналистские истории в редкое свободное от работы время пытался перевести на язык художественной прозы, подчас в жанре детектива, тем более что жизни наши и так похожи на интересные книги, которые мы, правда, не пишем, а проживаем.

Раньше я пробовал придумывать своих героев и их приключения, но однажды вдруг понял, что лень — двигатель не только прогресса, но и творческих процессов. Зачем придумывать какие-то сказки, фантастические вещи, когда можно просто брать персонажей и сюжеты из реальной жизни?

Я знал множество интересных людей и был в гуще вполне невероятных событий. Это, наверное, профессиональная особенность журналиста: он умеет добывать информацию, как хороший рыбак — рыбу. Даже если я не хочу, интересное притягивается ко мне как магнитом, потому что я заточен, настроен на это.

И еще я нередко попадал в какие-то полукриминальные истории. Эта особенность у меня с детства — влипать в опасные неприятности. Когда я учился в школе, одноклассники боялись ездить со мной в город из нашего поселка, потому что я, приличный с виду, интеллигентный мальчик, был идеальной приманкой для новосибирской шпаны. Поэтому я и стал заниматься всякими единоборствами.

Как журналист я писал о князе, выжившем при советской власти, спрятавшись под чужой фамилией, и сохранившем родовой боевой стиль, который передавался потомкам по мужской линии со стародавних времен. Кое-какие из этих секретов узнал и я...

* Публикуется в сокращении.

Дружил с семьей художника — изобретателя «гравитоплана», был, можно сказать, хранителем их тайн, со всеми вытекающими неприятными последствиями. Сейчас Степана Викторовича Варенникова уже нет в живых, а меня все еще достает эхо тех времен...

«Да бери ты их готовенькими, Саша!» — сказал я как-то сам себе и стал писать ночами повести, похожие на детективные.

Еще раз увы: я не стал их публиковать, потому что они были связаны с реальными людьми и событиями, хотя и в художественной форме. Но время идет и даже уходит невозвратно. Я подумал и решил все-таки обнародовать некоторые из них.

«Рукописи не горят...» Еще как горят! Великий Гоголь сжег ведь «Мертвые души», а жаль. Рукописи и горят, и устаревают. Попробую-ка я спасти от забвения хоть пару-тройку своих историй!

Одна из них — про заговор обезьян. Конец 90-х — начало 2000-х.

Глава 1

Телефонные звонки были отвратительны своей настойчивостью. Визжащей дрелью они ввинчивались в сознание... «Черт возьми, пять утра!» — сказал мне возмущенно старенький будильник. Какая скотина посмела?! Могли бы догадаться, что человеку в отпуске хочется отоспаться.

Я с раздражением нашарил телефонную трубку и прижал к уху. Тишина. Только хрипы помех, похожие на дыхание неведомого зверя...

— Алло, алло! — закричал я. — Вас не слышно!

Тишина ответила мне скрипом множества враз отворившихся дверей. И, показалось мне или нет, — чем-то вроде глухих ударов колокола. Впрочем, наверное, это возмущенно застучал пульс в моих висках. Совсем обнаглели, и не лень же развлекаться в такую рань!

Я громко сказал трубке все, что об этом думаю. Не великим и могучим, но близко к этому. Все-таки оставалась возможность, что просто кто-то не может пробиться через наши жуткие телефонные линии. Не дай бог, Наташка... Хотя они же на острова уехали, играть в свои «хищнические» игры. Откуда там взяться телефону?

В сердцах я шмякнул трубку на место, сдержав все же силу удара из практических соображений: телефонные аппараты нынче дороги. Проклятое изобретение цивилизации! Без него никуда, и с ним никаких нервов не хватит. Полежав некоторое время с закрытыми глазами и сказав мысленно кучу гадостей неведомому телефонному шутнику, понял, что уснуть мне больше не удастся. Сев на постели, я взял сигарету дрожащими от возбуждения руками и закурил. По мере того как я успокаивался, мне казалось все более странным, что я так резко отреагировал на этот ранний звонок. Походило на бурю в стакане воды. Непохоже на меня. Наверно, нервишки шалят, только с чего бы?

Телефон зазвонил снова. Я молча взял трубку и терпеливо подождал, что он преподнесет на этот раз.

— Сашка, — сказала трубка железным голосом бывшего одноклассника Сереги, — тут такое дело... Витька Поляков пропал.

Через пятнадцать минут он подъехал на своей бывалой «ниве» к конечной остановке у нас в Краснообске. Почему-то ему втемяшилось в голову встретиться именно здесь. По телефону он говорить подробно отказался, ко мне домой зайти не захотел.

— Ну, — поинтересовался я, едва мы пожали друг другу руки, — и зачем эта идиотская конспирация?

На остановке было безлюдно, как в пустыне Сахара: нелетняя еще погода и для автобусов, и для пассажиров. Мы сидели в машине, как два дурака, курили и изображали из себя шпионов... Знал я, конечно, что Серега бывший десантник и сейчас работает в какой-то охранной фирме, но к чему эти детские игрушки спозаранку?

— Серый, — сказал я тоскливо, — ну чего ты дергаешься? Что ты, Витьку не знаешь, что ли? Зарулил куда-нибудь к знакомым. Водку пьет, стихи читает...

— Исключается. — Бывший десантник прищурил на меня глаз, будто прицелился. — Его матушка говорит, приходил мент, расспрашивал, рылся в бумагах...

Представьте себе оглоблю длиной метр девяносто и весом семьдесят пять, только еще и железную, — это и будет мой школьный друг Серега Дергачев. И характер соответствующий — смерть врагам. Если вообразить, что такого ударишь, первая мысль, которая приходит при этом в голову: а не будет ли после этого хуже? Есть люди, которых, кажется, пальцем тронь — и они развалятся. А здесь: тронь — и после костей не соберешь.

— Ты серьезно? — Я наконец поверил, что это не глупый розыгрыш. — Мы же на днях с ним гудели у Степаныча!

Раздражение таяло, уступая место беспокойству.

— Может, он натворил чего и слинял? — высказал предположение Серега. — Криминала за ним никакого не наблюдалось?

— Нет, Серый, — невольно усмехнулся я, — это же Витька! Если б он не пил иногда, я бы сказал, что это монах в штанах. Ты просто с ним после школы мало дел имел.

— Тогда почему мент приходил? — возразил Серега. — Матушку чуть в гроб не вогнал! Она ни сном ни духом — думала, сынок у знакомых каких околачивается. Кстати, ищут кого-то, когда заявление на розыск подают. А кто его подал, если не матушка? В общем, по-моему, его после того вечера и не видели. Я думаю, надо хорошенько вспомнить, о чем говорили, что делали, — может, до чего и допетрим...

Мы мрачно закурили еще по одной. Какой-то склочного вида старичок с неодобрением покосился на наши хмурые морды — в его взгляде читалось осуждение всех владельцев частных автомобилей, которые, ко-

нечно же, покупают свои тачки на несправедливые деньги. Старичок пробежал рысцой мимо. Интересно, куда в такую рань? Ни двадцать шестых, ни сорок первых до сих пор не было. Ивановец, наверное. Побежал с природой общаться. Ведро для обливания, правда, забыл...

...А вечер тот запомнился, конечно. Часто ли мы собираемся теперь такой толпой? Это раньше, в первые годы после школы, все праздники и дни рождения отмечали классом. Последние и предпоследние наши веселые сборища — это когда мужики возвращались из армии и играли свадьбы. Потом, заведя семьи, разбежались все по своим жизням, поразъехались. Изредка собирались на вечера выпускников да вот так, почти случайно...

Кому-то с недельку назад пришла в голову светлая мысль — пригласить кого можно, посидеть просто так, как в старые добрые времена. Не без алкоголя, само собой. Дам так вообще «купили» шампанским. Зря, что ли, вертолетчик Вовка Погодин прилетел в отпуск с Дальнего Востока с очень длинным рублем?! Он притащил с собой к Степанычу охапку «Русского золотого шампанского» и хозяйственную сумку, полную даров моря и шоколадок. Остальные принесли кто что мог, с миру по нитке, — и будто скатерть-самобранка развернулась на столе. Это в наши-то трудные для многих времена!..

— Сашок, ты меня слушаешь? — недовольный голос Серегина вырвал меня из воспоминаний.

Оказывается, мой школьный друг все это время что-то говорил. Странная какая-то рассредоточенность, отметил я, честно глядя в Серегина глаза.

— Слушаю, Серый, слушаю...

— Помнишь компанию у подъезда? — озабоченно спросил Серегина.

Еще бы я не помнил! Я сразу и вспомнил, как только он сказал. Что-то в этом есть... И было это как раз после наших посиделок.

Глава 2

Эти молодые стриженные, как всегда, тусовались возле последнего подъезда Витькиного дома на ОбьГЭСе. Мы шли мимо них в два часа ночи, довольные вечером — тем, что встретились, что хорошо посидели. Даже помолодели вроде, и наши школьные отношения оживили, будто машина времени перебросила в прошлое... Теплый летний вечер, желтая луна, большая и необычная. Этаким глаз, затянутый желтым бельмом, слепо глядящий на Землю, на нас, копошащихся зачем-то на ней поздно ночью — веселых и оживленных...

У компании на скамейке настроение было другое. Не было рядом привычных герл, которые радостно, как сухая почва дождь, впитывают маты-перематы — заменитель, наверное, легкого флирта, принятого в наше молодое время. Не было такого привычного и родного ржания, слышного на весь микрорайон, означающего: «Да плевать мы хотели на

всех вас!» Перебрасывались короткими фразами. Четверо изображали из себя петухов на насесте. Устроились эти ребята по-современному: ноги на сиденье, крепкие зады на спинке скамьи. Двое стояли рядом.

Неподалеку виднелась темная иномарка, но вряд ли их. В ее мрачном чреве, как светлячок, летал огонек сигареты: кто-то невидимый курил.

Когда мы проходили мимо, компания неожиданно снялась с насиженного места. Не было традиционного «Закурить не найдется?» и ласковых обращений вроде «Эй вы, козлы!». Ребята просто и целенаправленно обходили нас с флангов, как волки окружают стаей свою добычу. И еще с неприятным металлическим звуком у этих тарзанов каменных джунглей лапы удлинлись короткими раскладными железками. О «племя младое, незнакомое»... Как же — незнакомое! Проходили в школе — питекантропье племя... Обезьяны, едва поднявшиеся с четверенек.

В общем, их шестеро — и нас четверо: я, Витька, Серега и Степаныч. Слава богу, наших дам мы уже развели по домам.

И встретились мы, как тати в нощи...

Миротворец Витька подал было голос: ребята, давайте, мол, жить дружно! Но в глазах ребят не виделось мира, только безмыслие да искорки отражающихся фонарей, а движения их были целеустремленными, хотя и неспешными.

Им бы подумать, увидев, как быстро мы из пьяной компании собрались в крепкую команду и прикрыли друг другу спины, не говоря при этом ни слова... Но «думать» — это незнакомое для питекантропов слово. Не повезло ребятам! Они не знали, к несчастью для себя, что Серега в прошлом «десантура», что я занимался когда-то восточными единоборствами, а Степаныч, бывший «афганец», а ныне хирург, когда угрожает опасность, готов разрешать проблемы радикальными средствами. Выпал только Витька, который любил книги, умное общение, а не грубые драки... Конечно, ему больше всех и досталось.

— Сашок, палки! — рявкнул Серега, когда на нас бросились.

Затем началась кутерьма, обычная для групповых драк: шум, пыль, крики, звуки ударов, и все носится в окружающем пространстве тexasским смерчем, который выплевывает тела в горизонтальном положении и крутится себе дальше. Должен заметить, что смерч этот выплевывал не нас. Серега встречным ударом вывел из строя первого питекантропа с металлической палкой. Я немного оплошал — кто-то толкнул сбоку, кажется, Витька — и едва успел подставить блок под вторую дубинку, к счастью, под углом — она содрала кожу с предплечья и ушла вниз. Тут уж я больше не хлопал ушами, вмазал этому гаду ногой от души хорошим маэ-гери.

Нам повезло, что мы сразу нейтрализовали самых опасных из шестерых, пара свинчаток у оставшихся — это уже были мелочи. Степаныч врезал бутылкой, купленной в киоске на утро, еще одному — и в результате соотношение получилось достаточно справедливое. Тот, который бросался на меня, поднялся, но уже без оружия. Как на тренировке, я уложил его



учебной «тройкой» — теперь уже окончательно. Серега разделался с очередным, ударив его своим сорок пятым размером в голень, а после этого подцепив железным локтем в челюсть. Степаныч доказал, что милосердие в драке — это атавизм, воспользовавшись поднятой дубинкой.

И только Витька утомительно долго махался с последним из стриженных. Мы не мешали ему, отдыхали и давали бесплатные советы.

— Ну чего стоите?! — наконец возмутился он, тяжело дыша.

Тогда мы ему помогли, здраво рассудив, что наши городские обыватели, конечно, не любят встречать во всякие разборки, но мужества набрать номер милиции у кого-нибудь из этого большого дома могло хватить...

Возбужденные и даже довольные, мы по настоянию Сереги нырнули в проход меж домов и ушли дворами. Если бы пошли к Витьке, наверняка какой-нибудь бдительный гражданин показал бы потом пальчиком. Да и компания могла бы податься за нами, собрав подмогу...

Степаныч у себя дома, куда мы вернулись, к удивлению его заспанной жены, пожалел о главной потере в драке — стеклянной, но тут же твердой рукой хирурга выставил на стол колбу с чистым медицинским...

— Мне кажется, эти молодые на Витьку и нацелились, — поделился соображением Серега, когда мы восстановили по памяти боевой эпизод нашей общей героической биографии. — Во-первых, ждали у его дома. Во-вторых, помнишь того чувака, что сидел с сигаретой в машине? Он ведь так и не вылез. Мне показалось, когда мы подходили, что он сделал сигаретой знак тем, на скамейке.

— Брось ты! — не поверил я. — Скучно было ребятам, решили развлечься. В театр они не ходят...

Вспомнил траекторию летающего в темноте светлячка, повторил ее рукой. И действительно, в ней что-то было странное — движения нехарактерные для руки, стряхивающей пепел или подносящей сигарету ко рту... Но все равно: чего тут накручивать?

— В общем, так, Сашок, — решительно подавил мой скепсис и подвел итог нашему разговору Серега. — Я сегодня наведу кое-какие справки. Чья иномарка, узнаю. Попробую выяснить, что это за компашка на нас кинулась и где тусуется. Да к Витькиной мамаше заверну, я же только по телефону с ней разговаривал. А ты наших ребят обзвони, спроси — может, кто знает, где он. Ты в отпуске, у тебя времени вагон...

— Ага, — мрачно отозвался я, — с сегодняшнего утра меня, похоже, из него отозвали.

— Не помрешь, — буркнул Серый. — Потом будешь отдыхать и развлекаться... Ну ты долго будешь еще рассиживаться в моей машине?

— Последний вопрос, гражданин начальник, — не остался я в долгу. — По телефону мы не стали разговаривать — это понятно: мафия подслушает. А почему ты, как белый человек, не захотел у меня дома посидеть, кофе попить? На виду ведь здесь торчим, как два волоска на лысине. А, конспиратор хренов?

— Наташка твоя меня не любит, — грубо и откровенно ответил бывший десантник.

А на известие, что супруги моей второй день нет дома, отреагировал еще грубее — выругался, а потом заржал.

Глава 3

Тут же после разговора с Серегой, готовя легкий мужской завтрак — гренки с кофе, я перебрал в уме всех, кто был на вечере, и прикинул, кого побеспокоить в первую очередь. Из мужиков были Степаныч, Вовка, Андрюха Токмаков, Костя-экстрасенс, из дам — Галина, жена Степаныча, Жеша Варенникова и наша блистательная Нянька, в миру — Ольга.

Начать я решил с Андрюхи. Правда, ночью его с нами уже не было, но, между прочим, это и его могли поджидать те стриженные: он же каким-то крутым бизнесом занимался, а не бессребреник Витька. И жил Андрюха, между прочим, от Витьки неподалеку...

— Здравствуйте, Андрей Владимирович, — сказала я в трубку солидным голосом. — Это вас министр здравоохранения беспокоит. Как ваше драгоценное бизнесменское здоровье?

— Спасибо, хреново, товарищ министр, — сразу включился в игру Андрюха, безошибочно узнав меня по голосу. — Задницу отсидел, весь день по междугородке звоню, поставки из Казахстана срываются... Тебе чего надо, Саш? Деньжонок занять или так, от нечего делать беспокоишь? Долго не трепись, телефон — он тоже в коммерции участвует.

— Ты когда Витьку в последний раз видел?

— Мы с ним дня три назад говорили, — сразу ответил Андрюха. — В шесть утра, гад, позвонил! «Старик, — говорит, — я тут любопытную вещь пишу. Хочешь, кое-что из нее почитаю?» А я ему: «Ты что, с елки упал?! Дай поспать деловому человеку! Мне еще с час можно покемарить». Тут — короткие гудки. По-моему, он обиделся и трубку положил... А чего это ты о нем спрашиваешь?

До Андрюхи что-то дошло: не так уж часто я ему звонил. Он все предлагал встретиться... Помню я последнюю нашу встречу месяц назад. Весь фирмовый, в коже, улыбающийся во все свои белоснежные тридцать два — в общем, образ преуспевающего нового русского с обложки журнала, — ввалился в мою неустроенную берлогу, как хозяин жизни, внимательно осмотрел нашу с Наташкой нищенскую обстановку. Моргнул пару раз, когда увидел на стене меч и щит, но ничего не спросил. Зато я спросил с ходу, помня его давнее пристрастие:

— Употребляешь? Есть кое-что в закромах родины.

— Ни грамма, — твердо сказал Андрюха, и я его сразу зауважал, потому что помнил, как его жизнестойкий организм позволял приговорить две бутылки водки за вечер и уйти на своих двоих.

Накормили мы его тогда постперестроечным ужином — картошкой в мундирах да печеньем «Привет» Искитимской фабрики к чаю. Удиви-



тельно, но даже тогда он ничего не сказал, хотя помнил я времена, когда был он таким бесцеремонным, что даже моя непривередливая Наташка обижалась. У него и маска была такая: обаятельный хам в гостях. Ест за двоих, критикует то, что ест, за троих... И трепаться мог по несколько часов, анекдотами так и сыпал, так и сыпал — компанейский, в общем, мужик. А нынче посдержанней стал Андрюха, посolidнее.

Посидели мы, как вежливые люди, рассказали друг другу, чем занимаемся. Когда Наташка отправилась в соседнюю комнату что-то шить, я уже непринужденнее стал расспрашивать про его коммерческие дела, в которых ни бум-бум, про мафию, рэкетиров, то да се — надо же оправдывать репутацию газетчика, которого, как и кошку, любопытство губит. Даже цифрами и фактами всякими оперировал из области чернухи, в ответ на которые он так же жизнерадостно и белозубо, как всегда, улыбался. В общем, притерлись мы помаленьку, как трубы, которые нужно сварить, а для этого верхний слой убрать, чтобы возобновился контакт, когда-то порушенный. И, как на будущем вечере у Степаныча, нырнули в школьные и немного послешкольные воспоминания... Потом снялись к Ольге Гальцевой, или Няньке, как мы ее звали в школьные годы чудесные, которая жила ближе всех и с которой лично я хотя бы разок в месяц-другой встречаюсь, чтобы не чувствовать, что наш некогда дружный класс — уже в прошлом.

Тут крутой бизнесмен Андрюха развернулся по-орлиному: купил импортный ликер, торт, большую шоколадку, что на меня, три месяца не получающего в газете зарплату, и Няньку, так же редко получающую денежку в школе, произвело впечатление. Мы с ней тянули потихоньку сладкий ликер, заедая сладким же, и в ходе разговора все больше проникались убеждением, что все у преуспевающего кожаного Андрюхи тип-топ и нам бы так, да где уж нам, гуманитариям беспорточным... Были, конечно, у их фирмы проблемы когда-то с Казахстаном, где их счет арестовали, когда ввели национальную валюту, но где нет проблем? Сейчас это осталось в прошлом — и Андрюха на коне. Ликер да сладости — это было для него тьфу. И уезжал он на такси, трезвенький, как стеклышко...

— Ну так что случилось? — заторопил Андрюха.

Я только раскрыл рот, и тут трубка вдруг, как пулеметной очередью, разразилась короткими гудками. Как я ни пытался снова набрать номер, в ответ мне раздраженно неслось пронзительное «пи-пи-пи». Наверно, Андрюха рассердился на мое долгое молчание, как давеча на Витьку...

Из других своих одноклассников я выцепил так же немного. Никто особо не беспокоился: все знали Витькину вольнолюбивую натуру. Вовка мудро сказал: «Ищите женщину!» — и опять улетел на свой Дальний Восток. Только Нянька запереживала и хотела помочь в поисках, но ей нужно было ехать на лечение в Речкуновку, и я ее успокоил и отговорил. В самом деле, чего дергаться?..

В основном все видели Витьку в последний раз на вечере. Только Степаныч сказал, что они договаривались на выходных помыться в бань-

ке у него на даче, с пивком, но Витька не появился. Заметил ли он что-нибудь странное? Да вроде нет, хотя Витька — он ведь всегда странный. Эти его вечные завиральные идеи, достал всех своей писаниной. А так... Напуганным чем-то он не выглядел, да и с чего бы? Он был доволен, что в драке себя проявил героически, сам от себя такого не ожидал. Степаныч высказал предположение, что Витька, с его натурой перекаати-поля, мог и в Москву или Питер умотать, с него станется, у него там знакомые есть в литературных тусовках. Они с этим Костей, который к нашей компании прибил, в последнее время все о какой-то мистике и психологических семинарах трепались...

Надо позвонить Косте Андросову, раз Витька в последнее время с ним подружился, решил я, но телефон в ответ на мои усилия молчал, как партизан на допросе.

— Ладно, потом, — решил я и занялся тем, чем занимается в отпуске половина населения нашей страны: ремонтом квартиры.

Не миллионеры мы, не жулики, на Багамские острова смотаться у нас башлей не хватает. Но пусть карманы пустые, зато совесть чистая! С этой оптимистической мыслью я вытащил из кладовки водоэмульсионку и кисти, чтобы привести в порядок потолок и стены в ванной. В восточных мордобойных искусствах есть куча всяких «звериных» школ: тигра, змеи, обезьяны... Я придумал название для своей школы, не для драки, для жизни — школа вола. Как бы ни было неприятно заниматься чем-то нудным и тяжелым — надо впрягаться в лямку и тянуть ее, невзирая на нежелание или плохое настроение.

Глава 4

Сергея ворвался после обеда, без предварительного звонка. Наверное, так стремительно действует ОМОН, когда вламывается на хазу к рецидивистам. Решительным шагом мой бывший одноклассник протопал на кухню, жадно попил из-под крана и даже сунул под холодную струю голову.

— Ну жара! — сказал он, усаживаясь за стол и доставая сигареты.

Хорошо, что Наташки не было, ее шокирует такая непринужденность, граничащая с бесцеремонностью. А я и бровью не повел — в конце концов, в одном поселке выросли, — и даже стал выкладывать на стол то небольшое, что жена оставила в холодильнике. Пока мы жили рядом, Серега частенько, выпивши, заваливался на ночь глядя сыграть в шахматы. Со школьных лет он все никак не мог понять, как это я каждый раз выигрываю у него, ведь он привык почти во всем быть первым. А характеры у нас обоих упрямые, вот и нашла коса на камень. Один раз мы играли сутки подряд, договорившись, что если он одолеет меня хоть в одной из десяти партий — выиграш его. Насколько я помню, будущий десантник всего раз или два выиграл в этих сериях. Ущерб своему мужскому самолюбию Серега компенсировал грубой физической силой и



старался забить меня в спаррингах. До службы он брал верх в боксе, проигрывая в борьбе, а после дембеля, несмотря на его железные мускулы, рост и вес, мы оказались примерно равны. Может, из-за этого вечного утомительного соперничества и разошедшихся жизненных интересов мы и разбежались постепенно? Встречаемся лишь время от времени — впрочем, как почти со всеми одноклассниками.

— Зашел я к Витькиной мамаше, — сообщил Серега, пожирая холодную окрошку и огромный ломоть хлеба. — Как раз перехватил, чуть в магазин не слиняла. Ничего нового она не добавила... Кстати, даже заявление не подала на розыск, считает, что шляется Витя с кем попало и сам объявится. Вроде как и не родной сын пропал... Говорит приветливо, а по глазам видно — до лампочки ей все, если не сказать больше.

Да уж, знаем. Занятная дамочка Витина мама. Бывшая коммунистка, привыкла жить общественными интересами, а близкие ее безумно раздражают.

— А мент почему-то сильно Витькиными бумагами интересовался, — чавкая, продолжал Серега. — Спрашивал, не вел ли дневник, записи какие-нибудь. По ним, мол, и ниточку можно отыскать. Они весь Витькин секретер перевернули, но ничего не нашли, только письма и папки с черновиками. Ты знаешь, сколько у Витька этого старого хлама. Представляешь, эта дура ему все отдала, а он даже документов не показывал и вообще был в гражданском, я специально поинтересовался.

— А чего это милиция его ищет, — спросил я, — если матушка заявления не подавала?

— Вот то-то и оно. — Серега довольно отвалился от тарелки. — Никакой это не мент, я думаю... А где твоя Натаха?

— У них ролевая игра на островах.

— Какая-какая игра? — не понял он.

— Ну, их «хищниками» называют... Может, слышал? — безрадостно попробовал объяснить я. — Это от названия «хоббитские игрища». Они разыгрывают сюжет сказки «Властелин колец» одного английского писателя... В общем, устраивают битвы светлых и темных сил, ясно?

— Ясно, понятно. — Серега, не читавший с десятого класса ничего, кроме Джека Лондона, сделал свой вывод: — Каждый своей дурью мается. Вместо того чтобы вкалывать и жизненные проблемы разрешать.

Не стал я ничего больше объяснять. Мне самому эти «хищники» были мало симпатичны. Но, в конце концов, поиграть — это, наверно, небольшой грех, тем более что Наташка так этим увлеклась... Сражаются там на мечях, отрываются от неприятной действительности. Почему бы и нет?

— Узнал что-нибудь насчет компании? — поинтересовался я.

— Узнал. — Серега посмотрел на меня оценивающе. — Нанесем вечером визит?

— Как в боевиках, да? — криво улыбнулся я. — Мы же не в войнушку играем, Серый. Ты объясни, если тебе не трудно, в чем дело.

— Да не узнал я ничего. Просто нашел, где они обретаются — в подвале одного дома, недалеко от Витькиного. Заглянем — потолкуем. — Серега продолжал цепко смотреть на меня.

Ну вот, опять началось! Из-за этого здорового бугая я, чтобы не уступать ему физически, качался, теннисный мячик мял правой рукой, чтобы он при рукопожатии мне кости не сломал. Однажды мы даже пари заключили, кто из нас больше двадцати раз подтянется, и сроку на тренировки была пара недель. Я его обставил — подтянулся двадцать пять через неделю. Мужское соперничество это называется. Причем не из-за женщины, не из-за каких-то серьезных причин — так, из дурацкого упрямства. Как ни встретимся — проверяем, кто верх возьмет, в чем угодно: шахматах, рукопашке, в компании, где вид соперничества — юмор или количество выпитого спиртного... И только в последнем я никогда не старался заработать очков.

— Мы же не на Диком Западе, — миролюбиво возразил я. — Давай мы сами в милицию заявим.

— Плохо ты нашу милицию знаешь, — усмехнулся Серега. — Пальцем не пошевелит. Скажи — струсил?

Он встал и уже не смотрел на меня, как будто ему это было неприятно, — и привычная злость разыгралась во мне, тридцатилетнем человеке, уже, вообще-то, достаточно взрослом, чтобы не реагировать на детские подначки.

— Черт с тобой, — сказал я. — Дурак ты из школы десантного сапога. И методы у тебя такие же примитивные. Ради Витьки пойду, хотя считаю, что это дурь.

— Мы гимназиев-колледжей не кончали, — не улыбаясь, отреагировал Серега. — А насчет Витьки твоя губа верно шлепнула. Если только ему еще наша помощь требуется.

— Что ты хочешь сказать?

— Для непонятливых из школы «пьяный дурак» объясняю: если наш Витек еще жив.

Глава 5

Договорившись встретиться с Серегой через пару часов, я решил заскочить к Косте, раз уж дозвониться до него не получалось.

Костина жена, толстенная хохлушка Марина, встретила меня на пороге их однокомнатной квартиры неприветливо, хотя до этого всегда была само добродушие. Особенно после того, как я взял как-то у Кости интервью для нашей газеты. На мое «А Костя дома?» она сказала, что муж очень устал и прилег отдохнуть. Как и отчего он устал, я догадывался. Работать в поликлинике Косте не хотелось. Он практиковал частным образом, находя клиентов через знакомых и знакомых знакомых, — «корректировал энергетические поля», как выражалась его жена, — и хотел, не особо утруждаясь, получать большие деньги. Марина вечно пилила Костю за то, что он ничего не делает, но горой стояла за

большие гонорары. Истощенные инфляцией кошельки новосибирцев запросы супругов не удовлетворяли, и время от времени Костя, покидая Марину с маленьким Сашкой, ехал на заработки в Москву или Питер. «Заработки» заключались в том, что он от полугода до года копил деньги на обратную дорогу. Приезжал пустой и жаловался, что скупые сибирские мужики не хотят выкладывать свои кровные денежки за корректировку полей, а предпочитают глушить водку, вот и приходится ездить в столицы. В общем, в нашем городе Н его не знали, не встречали оркестрами, и не сидели кругом ученики, благоговейно внимая каждому его слову, как в благословенном Питере...

Костя, конечно, был интересный мужик. Но, даже внешне походя на Карлсона, он вечно жаловался, что ему уделяют мало внимания, был предельно эгоистичен и не хотел расстаться с детским заблуждением, что все ему должны, а он — ничего и никому. Да ладно, не о том я...

В другое время я бы утерся и ушел, как говорится, солнцем палимый, уж больно решительно Марина закрыла грудью амбразуру. Во всем она видела посягательство на драгоценное время мужа и попытки использовать его экстрасенсорные способности бесплатно.

— Извини, Мариночка, но он мне *очень* нужен, — улыбнулся я славной хохлушечке и решительно скинул под вешалку кроссовки.

Марина явно задумалась, и в это время наше противостояние, как у двух баранов на горной тропинке, разрешилось без кровопролития. Дверь из комнаты открылась, и, довольно естественно зевая, появился растрепанный Костя.

— А, Саша, привет... — Он вяло пожал мне руку. — Ну как жизнь?

— Пока живем, — оптимистично сказал я. — Может, пойдем на кухню, поговорим?

— Пошли...

— Константин, — посмотрела на него со значением благоверная, — ты не выпишься.

Озадаченный, я даже взглянул на часы — не завалился ли я по ошибке в эту гостеприимную квартиру в полночь? Так меня здесь еще не встречали...

— Иди, я скоро. — Костя флегматично подтолкнул супругу к двери.

Мы сидели на кухне и пили пустой чай. Ни печенья, ни сахара, ни граммчика гостеприимства сегодня меня здесь не ожидало.

— Когда ты в последний раз видел Витьку? — без обиняков спросил я. — И о чем вы говорили?

Костя слегка поморщился, то ли от моего напора, то ли еще от чего, но сразу ответил:

— Я видел его, как и ты, неделю назад у Степаныча. А по телефону дня три назад разговаривали.

— О чем?

— Ну, — Костя замялся, — о многом... У меня есть такая теория, что мы все живем как в лабиринте, что жизнь — это система ловушек, которые мы должны миновать...

— Ну ладно, это ты. А он что говорил? — Я не очень приветствовал Витькин доморощенный мистицизм, который попер и в его творчество. Мне больше нравилось то, что он писал раньше, и просто наш дружеский треп за жизнь, но нужно же разобраться...

— Ничего особенного, вообще-то. Он спрашивал, нет ли у меня знакомых, которые обладают какими-нибудь аномальными способностями. Я даже ответить не успел, пошли короткие гудки.

— И все? — разочарованно спросил я.

— Все.

— А о чем вы говорили с ним у Степаныча?

— Да все о том же. Он меня пытал, как я вижу ауру людей. Расспрашивал о той же моей теории лабиринта. И о своем говорил... Фантазии у него, конечно, через край, но сильно заносит.

— Это ты про обезьян? — поинтересовался я.

Писал Витька в последнее время одну хохму. Про то, что внутри человеческой тайно существует обезьянья цивилизация и постепенно берет верх во всех областях жизни. Он и на вечере порывался про нее почитать, но энтузиазма это не встретило, и Витька ограничился парой юморесок, которые под водочку пошли хорошо.

Костя кивнул и покосился на дверь, видимо, экстрасенсорно чувствуя, что за ней Везувий в юбке готовит последний день Помпеи.

— Ну что, удовлетворил я твое любопытство?

— Частично, — осторожно ответил я.

Как-то странно и сухо мы сегодня с Костей общались. Телеграфный стиль был ему просто несвойственен.

С ощущением, что супруги Андросовы сегодня ведут себя не так, как всегда, я покинул сию негостеприимную обитель, запнувшись о трехлитровую банку возле порога — наверное, с заряженной водой.

Уже в автобусе в мою глупую голову пришла одна дельная мысль.

За весь наш разговор Костя ни разу не спросил, чем вызван мой интерес. А я ведь не сказал ему, что Витя пропал.

Глава 6

К Степанычу я завернул зря, это я потом понял. Во-первых, ничего нового не узнал, во-вторых, сдуру согласился присесть за стол с какими-то его знакомыми и выпил пару стопок. А когда шел на остановку, собираясь ехать на встречу с Серегой, наша милиция, которая нас все еще бережет, свалилась на меня как снег на голову. Главное, я ведь был вполне нормален, ни малейших нарушений координации... Тем не менее менты меня взяли. Не успел опомниться, двое в форме возникли возле меня, дурака, задумавшегося на ходу, и под белы ручки препроводили в машину. Сразу понял: права качать бесполезно — запах-то есть...

Они привычно зашарили по моим карманам и в дипломате.

— Ребята, — по-человечески сказал я им, — я ведь не пьяный. Всего стопку выпил в гостях...

— Руки! — угрожающе рявкнул один из них, усатый.

Я опустил руки на колени, чтобы не жестикулировать. Усатый, деловито вывернувший мои карманы, с неудовольствием изучал корреспондентское удостоверение. Второй, похоже, пытался понять, что за куча бумаг лежит в моей папке с надписью «“МиР”». Строго секретно. Перед прочтением сжечь». Чувства юмора не оценил, но принадлежность к газете отметил.

— В отделение, — скомандовала усатая морда.

— Да вы что! — вежливо попытался отбиться я. — Меня же дома потеряют.

— Через три часа выйдешь, — лениво сказал усатый.

Второй сидел впереди и больше не поворачивался. Между прочим, просматривал зачем-то мои материалы. Я хотел было возмутиться, но не рискнул, уж больно решительно эти двое были настроены.

В отделении на длинный деревянный стол вытряхнули все, что осталось у меня в карманах после шмона в машине, и опять раскрыли дипломат. Записали все, что там было, занесли мои данные в журнал регистрации, составили протокол задержания. Папку с бумагами, слава богу, положили на место.

— Ребята, — снова вякнул я, — можно позвонить?

— Заткни пасть, — вежливо сказали ребята в милицейской форме.

Что ж, молчание иногда и вправду золото, я это почувствовал и даже не стал хвастать, что у меня есть знакомые из их же доблестных рядов. Врежут еще, не дав договорить, а зубы вставлять — нынче никаких денег не хватит. Смолчу. А вот бить не дам, если что... Но у них, похоже, другой был настрой. Они каждую вещь в руках повертели, каждую бумажку из дипломата просмотрели, папку опять поизучали — и ничего, к их досаде, не нашли интересного.

Раздев до плавок и футболки, меня довольно грубо втокнули в камеру. Вот уж не думал, что когда-нибудь в жизни угожу в вытрезвитель! Голые стены, топчаны, покрытые почему-то линолеумом, одинокая тусклая лампочка, ведро вместо параша. Романтика. Жаль, не смог позвонить майору из учебного центра милиции, с которым мы как-то вместе делали материал про их выпускников.

Какой-то мужик сидел на кушетке, обхватив руками голову, и, пьяно раскачиваясь из стороны в сторону, громко страдал:

— Ну, падлы, за что ж вы меня так?.. Ну, падлы... День рожденья у меня!.. Ну, падлы...

Но пока он был один, это было терпимо. Вот когда впустили компанию буйных водил из первого ПАТП — что сразу стало понятно из разговора, — жизнь резко оживилась. «Потапы» бурно обсуждали, что во всем виноват «этот гад», который их «сдал в ментовку», и хотели с ним разобраться, но того сунули в другую камеру. Душа у водил горела свести счеты, ну не с ним, так с кем-нибудь другим... Это по мою душу, решил я и на всякий случай «опьянел». Они что-то говорили мне грубое, я делал

вид, что ничего не понимаю, и бессмысленно улыбался. После нескольких бесполезных попыток мужики отступились и начали ржать, вспоминая, как куролесили возле вокзала, где их сцапали. Буйное их веселье, заряженное водкой, окончилось глубокой ночью. Наконец можно было бы поспать, но холод стоял собачий. Мало того что раздели и ни простыни, ни одеяла не дали, так зачем-то еще шумно работала вентиляция. Простудить, что ли, хотели?

Убедившись, что «потапы» храпят, я полночи делал зарядку и комплексы ушу, которые учил когда-то на семинаре... В общем, не застудился, хотя дрожь была крупнокалиберная. О Сереге и о том, что он мог натворить без меня, я старался не думать. Главное — выбраться отсюда...

В семь утра меня выпустили. При беглом же осмотре выяснилось, что исчезла часть денег — впрочем, это еще, наверное, в машине — и газовый баллончик, но права я опять качать не стал: спасибо, что отпускают. И бумаги все были на месте, я проверил. Молодой усатый мальчик заставил меня подписать протокол, из которого следовало, что я «шел по улице пьяный, шатаюсь и оскорбляя человеческое достоинство прохожих...»

— Пиши: «Пил водку», — скучным голосом сказал усатый сопляк.

Везет же мне на усатых!

— Я не пил водки, выпил бокал сухого вина, — возразил я и внимательно прочитал протокол задержания. «Претензий не имею» я все же написал. Подавитесь! Сейчас мне не нужны лишние сложности, мне бы скорее выйти, пока Серега дров не наломал. Блюстителю «человеческого достоинства» те деньги, что не выгребли вчера, взяли за «медобслуживание» — видимо, за то, что хотели застудить в холодной камере, — и до дергачевского дома я ехал «зайцем».

— Сереге нет, — хмуро сообщила, открывая дверь, заспанная и недовольная Маша, Серегина супруга. — Ты всегда так рано в гости ходишь?

— Кто ходит в гости по утрам, тот Винни-Пух! — хмуро пошутил я и чуть не получил за это дверью по носу.

— Если ты не собираешься меня чаем поить, хоть скажи, где Серега? — возмутился я.

— Дежурит в своей фирме, — ответила дверь.

И — шлепанье удаляющихся босых ног.

Подивившись столь ласковому характеру жен моих приятелей, их воспитанности и нежному обхождению с друзьями мужа, я отправился домой и оттуда звякнул в Серегину контору. Заспанный голос информировал меня о том, что сторож спит, служба идет, но что на посту нынче не Серега...

Как я и думал, он один полез к этой компании в подвал!

Раздражению моему не было предела. Я ведь даже не знал, где это. Я курил и мотался по квартире, как пес на цепи, пристегнутой к проволоке. И как-то не до ремонта было. И «супердетектив», подсунутый мне коллегой по редакции, не шел. Желчный мой взгляд, обостренный беспо-



койством, отмечал все жуткие перлы, которыми незадачливый переводчик напичкал книгу, как булку изюмом.

Наверное, от этой маеты ожидания я и решил заглянуть в почтовый ящик. Вообще-то, смотреть мне там было нечего: мы ничего не выписывали из-за дороговизны, а писем нам уже сто лет никто не писал. Но как будто подтолкнуло что-то.

Осенним листком порхнула к моим ногам бумажка. Извещение на бандероль. От Витьки, мгновенно понял я.

Глава 7

«...Происхождение человека от обезьяны — это миф. Реальность — то, что человек постепенно превращается в обезьяну...

Нам всем задурили головы Дарвин, Энгельс и компания, наукообразно обосновав то, что было поставлено целью давным-давно. А эти только выразили те давние чаяния в своих примитивных постулатах. Мол, человек произошел от обезьяны. Мол, его создали труд и правильное марксистско-ленинское мировоззрение. И так далее. Ну сами-то основоположники этих теорий пусть себя относят к обезьянам, раз им это нравится. Но они и человечество решили низвести до примитивного обезьяньего уровня. И преуспели в этом. Не одни, конечно, — внутри человечества поработало немало обезьянопоклонников... С сожалением приходится констатировать, что древняя программа превращения гомо сапиенс в гомо обезьяникус претворяется в жизнь на протяжении тысячелетий, и особенно успешно — последних веков и десятилетий.

Обезьянообразные люди, или человекообразные обезьяны, затерялись среди нас, выдавая себя за нормальных людей. Внешне они ничем от нас не отличаются, так же ходят на двух ногах и владеют человеческой речью. Разум их развит, но специфически, об этом мы скажем позднее. Мало того, человекообразные не только преуспели в науках и искусствах, но и заняли в них главенствующее положение. Много замаскированных обезьян верховодят и в политике. Мое скромное образование и недостаток времени не позволяют мне проследить все обезьяньи следы в человеческой истории, их так много... Но, по моему предположению, это, прежде всего, войны, в которые обезьяны втравливали человечество, перевороты, смуты, революции, ибо ничто не доставляет им большего удовольствия, чем зрелище дерущихся между собой людей. Впрочем, пусть этим займутся серьезные исследователи, нужно лишь не допустить до этих изысканий в истории самих представителей гомо обезьяникус, потому что они-то обязательно скроют истину или выдадут ее в своей интерпретации.

Я же рискну сделать опасное обобщение своего открытия: мало того что замаскировавшиеся обезьяны искусно скрывают свою внутреннюю суть, они вдобавок создали свою обезьянью культуру, которая не только существует параллельно с человеческой, но зачастую и подменяет ее собой. Особенно это видно в последнее время, когда на нас хлынул поток

низкопробной обезьяньей литературы и другой их “культурной продукции” — в СМИ, в кино, на видео, в интернете...

Главная задача обезьяньей культуры и обезьяньей цивилизации — это обратить человека к обезьяньему состоянию, а самим обезьянам захватить власть над миром. И тогда все будут совершенно открыто поклоняться их верховному божеству — Обезьяньему царю.

Существует заговор, имеющий целью установить мировое господство человекообразных...»

Сергея появился к обеду, страшнее атомной войны, как говорит моя мама. Его худощавое скуластое лицо было похоже на подушку, все в синяках и ссадинах, а правый глаз покраснел и почти закрылся под огромным кровоподтеком. Мне стало не по себе, когда я увидел эту жуть, и чувство вины спазмом сжало горло. Не дав мне вымолвить и слова, Сергей прошел в комнату.

— Ну-ка посмотри! — грубо скомандовал он, поворачиваясь лицом к окну.

Я стал внимательно рассматривать узоры, которыми его украсили.

— Бровь рассекли, зашивать надо, — сказал я. — Стежка три, чтобы шрама не осталось. Сходи к врачу.

— Сейчас, побежал, — огрызнулся Сергей. — Делать мне больше нечего. Ты куда слинял-то? Я час вчера, как дурак, перед твоей дверью толкался.

— Голова не кружится, не тошнит? — спросил я в ответ.

— Ты мне зубы-то не заговаривай, — хмуро отозвался он. — Сотрясения у меня нет, остальное заживет как на собаке... Где ты шляется, сволочь мохнатая?

— В другое время за сволочь и по морде бы получил! — обиделся я и выложил, что со мной произошло.

— Тьфу ты, — только и сказал Сергей, — что за невезуха у нас с тобой! У меня тоже все сикось-накось... Как будто полоса какая неудачная пошла.

И поведал про свои боевые подвиги. Началось все у него как в пошлых видиках, а кончилось как в жизни. Выследил он одного из тех питкантропов, узнал, где их «малина». Хотел со мной к ним заглянуть в гости, но не застал меня. «Молодежь, сопляки», — решил супермен Сергей. Дождался, пока вся стая разбежалась по каким-то делам, а на оставшихся двоих обрушился в лучших традициях советского десанта: одному сапогом по голени, другого головой о бетонную стену. Прижал первого предплечьем под горло к той же стенке и ласково спросил: «Ну что, сынок, кто на Витька навел?»

— Знаешь, что он мне, гад, ответил? — спросил, изумляясь, Сергей. — Он даже не спросил, кто такой Витек. Всем, говорит, вам кранты, всем! Вы, суки, нас за людей не считаете... Что-то про армию тьмы, про то, что мрак беснуется... По-моему, он был наколотый — глаза пустые...

А потом остальные вернулись, будто знали, что я с их дружкой разбираюсь.

В общем, Серега бегал по этому подвалу, применяя партизанскую тактику, и только чудом выбрался оттуда живой.

— Однако, молодец, многого добился! — не удержался я. — Главное, как учил Суворов, быстрота и натиск. А смелость города берет. И подвалы.

— Ну ладно, заткнись, — сразу стал грубить Серый. — Нечего было по выпрезвителям прохлаждаться. Йод давай, вату и рассказывай, что сам узнал.

Я доложил о своем безрезультатном визите к Косте.

— Что-то наш экстрасенс крутит, — высказал свое мнение Серега, морщась от моих садистских прижиганий. — И с пацанами этими придется до конца разобратся.

Тут пришел черед поморщиться и мне. Не нравилось мне все происходящее. Вначале ведь, если быть честным перед собой, я отнесся к этому не очень серьезно. Как к благородной детективной игре: вот какие мы хорошие ребята, ищем пропавшего друга — ну прямо как в кино. А Витька, как чертик из табакерки, в любой момент может выскочить откуда-нибудь со словами благодарности...

Что все это всерьез, я почувствовал только сейчас, глядя на разбитую до безобразия физиономию своего школьного друга. И настоящая тревога за Витьку хватанула сердце именно в этот момент.

— А ведь надо в больницы звонить, в морги, Серый, — растерянно сказал я. — Чего мы с тобой из себя Шерлоков Холмсов строим?

Про бандероль я Сереге ничего не сказал, решил вначале сам все посмотреть.

Глава 8

Как это ни странно, сестра на телефон согласилась Машка. То ли она взяла отгул, то ли поменялась сменами с кем-то из подружек-продавиц в своем хозмаге, но вскоре уже сидела с телефонным справочником и названивала по всем телефонам, по которым ищут пропавших. Видно, судьба безалаберного, но симпатичного Витьки волновала даже ее эгоцентрическую натуру. А может, она хотела, чтобы ее супруг поскорее разделался с этим дурацким делом и вернулся в лоно семьи? Не знаю, душа человека — потемки, а женская — вообще тьма египетская. Хорошо, она еще не видела роспись под хохлону на мужественной Серегиной физиономии! Я сам время от времени косился на эти узоры с содроганием.

Дежурство у Сереги в фирме начиналось вечером, поэтому мы решили вместе заглянуть к Косте-экстрасенсу, который явно что-то утаил во время моего последнего визита к нему. А затем — в подвал, где молодняк накануне гонялся за доблестным десантником, а он в мирное время на полном серьезе вынужден был защищать свою драгоценную жизнь.

На шестой по счету звонок Сереги — я из любопытства посчитал — дверь наконец открылась. На всякий случай, из инстинкта самосохранения, я шагнул в сторону: были в истории случаи, когда с крепостных стен на головы непрошенных гостей лили расплавленную смолу или кипяток.

— Вы что, сдурели?!

На пороге распахнутой двери в квартиру стояла Медуза Горгона, ни больше ни меньше, даже волосы ее от возмущения шевелились, как змеи. Холодного оружия в руках, к счастью, не наблюдалось. Руки на боках, взгляд пантеры, готовой прыгнуть и рвать когтями. О нежные женщины, воспетые поэтами! О бедные поэты, затем наказанные женщинами...

— К вам наша собака не забегала? — хладнокровно спросил Серега, с сожалением вытаскивая палец из звонка.

Наверное, Марина в первый раз видела Серегу с его солдатским юмором, и впечатление он на нее произвел. Сцена была сильной, достойной Большого театра. Глядя на моего высоченного друга снизу вверх, Костина супруга вмиг потеряла дар речи, и все заготовленные гневные фразы вылетели из ее головы. А может, Серегина страшная избитая физиономия все-таки о чем-то сказала ей лучше всяких слов. Огромный, наполненный гневом шар спустился и вяло упал на линолеум в коридоре, я это видел будто воочию, хоть и не экстрасенс, как Костя.

— Какая собака? — растерянно спросила телохранительница великого гуру нашего микрорайона, косясь на меня.

— Ну экстрасенсы ведь ищут пропавших? — криво улыбнулся опухшими губами Серега, двигаясь на пятившуюся Марину так, что мы уже через пару секунд захватили плацдарм в коридоре. — Собаки тоже ищут. У меня умная такая собака. Ей говоришь: «Собака, а собака?» — а она отвечает: «Чё?» — Серега уже успел и дверь закрыть за нашими спинами.

Да уж, наглость города берет, это точно! И негостеприимные квартиры — тоже.

— Где Костя? — встрял я, прекращая этот балаган.

— Уехал, — зло ответила Марина, понемногу приходя в себя.

Шарик ее недовольства опять начал надуваться.

— Куда? — резко спросил Серый, бесцеремонно заглядывая в комнату. Там спал мой малолетний тезка, а его папы явно не наблюдалось.

На кухне, также пустой, на столе стояла пепельница, в которой были придавлены два окурка сигарет с фильтром.

Марина не курила.

— В Питер, — снизошла она до ответа.

Бесцеремонный Серега, не разувшись, уже сидел без приглашения на кухонной табуретке и сверлил все замечающим взглядом: и пепельницу, и посуду в мойке...

— Тебя Марина зовут, да? — Он выстрелил в нее взглядом. — Ты слышала, что у нас друг пропал? И Костя твой что-то об этом знает. Скажи что, а то ведь мы твоего мужика из-под земли достанем!



Вот тут мой друг переборщил. За дверь нас Марина не выставила — силы были неравные, но рот закрыла на замок, и как мы ни пытались что-то из нее вытянуть — Серега угрозами, я — мягкими речами, взывающими к совести, — так ничего и не добились. Через полчаса бесплодных разговоров мы поняли, что не скажет она ничего из женского упрямства. Не станем же мы, в самом деле, пытаться беззащитную женщину!..

Проснулся ее Сашка, и мы ретировались из Костиной квартирки несолоно хлебавши.

— Мать ее!.. — выругался Серега уже на улице. — Знает ведь что-то, а темнит!

— Боится она и за себя, и за своего благоверного, — высказал я догадку. — Только вот чего? Кстати, ты с твоей дурацкой собакой натолкнул меня на мысль. Костя и в самом деле мог бы найти Витьку по фотографии.

— Да ну, ерунда все это! — отмахнулся Серега. — Совсем вы шицанулись с вашей мистикой!

— И кстати, — добавил я, — Костик-то мог пока и не успеть уехать в свой благословенный Питер. Мы его еще можем попробовать перехватить. Аэропорт, вокзал...

— Ага, ищи иголку в стоге сена, — отозвался Серега. — По-моему, прямых рейсов на Петербург ни поездом, ни самолетом нет. Если он в Питер мотанул, то должен через Москву добираться. Айда к нам, позвоним. Узнаем заодно, может, Машка чего накопала...

Хорошо, наш микрорайон, как земля, круглый — здесь все близко. Как-то заезжий американец увидел в нашем президиуме макет Краснообска, где дома расположены кругами, и пошутил, что бомбой с самолета не промахнешься: идеальные мишени эти круги.

Мы переругивались, а ноги нас вели куда нужно. Ладно, первым делом самолеты, а подвал потом...

Глава 9

Самолеты на Москву улетели, поезда ушли, а Костю мы так и не поймали. Через знакомого из милиции Серега уточнил, что в компьютерных базах аэропорта и вокзала фамилии Андросов не значилось. Разве что Костя выкинул какую-то экстрасенсорную шуточку вроде тех, которыми славился в свое время Вольф Мессинг... Ну да Костя явно не Мессинг. Скорее всего, залег на дно где-нибудь в наших же краях.

Машка обзвонила все морги и больницы — безрезультатно. Витькина матушка заявление в милицию так и не подала, сказала, что не хочет выглядеть старой дурой. Мол, у Витьки женщина завелась, вот и все дела. Прямо как Вовик: объявится, мол, через денек-другой...

И тогда мы отправились к молодым стриженным.

Подвал оказался закрыт. На двери табличка «Муниципальный подростковый клуб «Орхидея»» и расписание занятий какого-то военно-патриотического отряда «Вымпел», группы здоровья «Назад к природе», кружка икебаны и чего-то еще...

— Слушай, ты не запутал? — недоверчиво спросил я Серого. — Может, тебя по голове ударили и ты подвалы перепутал?

— Точно, извини, это в другом подъезде, — буркнул Серега.

Но и в другом подъезде дверь в подвал была закрыта. И никаких табличек.

— Здесь это, не бойсь. У них свой неформальный клуб по интересам рядом, буквально через стенку, — решительно ответил Серега в ответ на мой соболезнующий взгляд.

И занес было свой десантный ботинок, чтобы снести дверь, но я не дал совершить акт вандализма — успел заметить, что подвальное окно буквально в двух шагах от нас было разбито. Так зачем коммунальное добро портить? Я молча указал нужное направление и, подавая героический пример, протиснулся в темное, пахнувшее влажным теплом отверстие ногами вперед — и ухнул вниз.

— Ну как? — донесся откуда-то сверху глухой голос Серегина.

— Нормально, — машинально ответил я, потрясенно лежа на холодном земляном полу. И едва успел откатиться в сторону, как Серый тут же рухнул сверху всей своей восьмидесятипятикилограммовой тяжестью.

— Ну ты дурак, Кэп! — сдавленно прохрипел в полумраке недовольный Серегин голос.

Надо же, как осерчал — даже мою школьную кличку вспомнил.

— Извини, Серый, — только и сказал я, на всякий случай щупая ребра и конечности, все ли цело.

Он закричал в темноте, похоже, занимаясь тем же самым.

А потом мы оба глупо и долго смеялись, не вставая.

— Два придурка, — прокомментировал Серега, наконец придя в себя. — Не дай бог, кто в подвале есть!

Тем не менее он тут же зажег фонарь и осветил голую комнатку, куда мы направились. Понятно стало, почему так высоко оказалось лететь: пол был гораздо ниже, чем в обычных подвалах, — видно, убрали с метр глинистой земли, чтобы не задевать головой потолок при движении.

— А ты чего не предупредил? — резонно поинтересовался я, отряхивая налипшую на одежду глину и оглядываясь.

Другой бы на Серегинем месте объяснил, что накануне зашел через дверь и не обратил внимания на такую мелочь, как скрытый пол, а потом, пока бегал, спасая здоровье, некогда было осматривать местные достопримечательности. Может, даже признал бы, что неправ. Но это был бы кто-то другой, а не Серега...

— Пусть Минздрав предупреждает, — буркнул он вместо всего этого и целеустремленно двинулся вглубь подвала.

Бог нас, похоже, на этот раз миловал. Видно, в светлое время дня подвал обычно пустовал, а заселялся своими агрессивными обитателями ближе к вечеру. Молодежь, как бы мы к ней плохо ни относились, все-таки где-то работала и училась. Но местечко само по себе оказалось интересное. Пол был скрыт в нескольких комнатах, которые выглядели обжиты-

ми. В одной из них обнаружили простенькие тренажеры для «качков», висел боксерский мешок, в другой стоял самодельный стол, сооруженный из ящиков и огромного куска оргалита. Вместо скамеек — тоже ящики с положенными на них досками. Везде валялись пустые банки из-под импортного пива и бутылки, разорванные яркие упаковки от чипсов и прочий хлам. Чтобы не нарваться на засаду, мы везде зажгли лампочки, подвернув их в патронах, — система, знакомая еще с наших отроческих лет.

В третьей комнате стояли щиты с нарисованными на них мишенями. По многочисленным отметинам было видно, что кидали ножи, а может, и сюрикены со «стрелками». Молодняк нынче пошел нахватанный, недаром Серому так досталось, несмотря на его славное десантное прошлое. На стене висели плакаты с комплексами ушу.

— Да, тебе еще повезло, — только и сказал я. — Могли бы приколоть, как бабочку, к какой-нибудь стенке.

Холодок пробежал по спине, когда я представил себя на его месте.

Сергея сосредоточенно исследовал мишени — даже заглянул, откинув один щит, с другой стороны — и ничего не ответил.

Но самое интересное оказалось в закутке под лестницей. Мы с трудом протиснулись в него через маленький предбанник. Здесь тоже была лампочка. Сергей повернул ее, и в тусклом свете мы увидели, что в этом укромном местечке оборудована самая настоящая спальня. Лежал старенький спортивный мат — из школы, что ли, уперли? Автомобильное сиденье. Тумбочка, которая служила одновременно столиком. На ней стоял термос и лежала стопочка книг и чайные сухари в полиэтиленовом пакете. Здесь были книги по ушу и практичная «Боевая машина» Артема Тараса. Еще что-то по системе Иванова, «Диагностика кармы» Лазарева и подобный оккультный хлам.

Сергея открыл тумбочку и присвистнул. Я тоже заглянул внутрь. Там лежали пакетики с чаем, презервативы, маленький кипятильник в железной кружке, кастрюлька, сахар, соль, крупы. Но главное Серый уже вытащил оттуда, разворачивая промасленную тряпку, — хищно и тускло блеснувший в слабом свете темный пистолет.

Глава 10

Сергея пошел к своему знакомому участковому разузнать что-нибудь про обитателей подвала, а я воспользовался некоторым затишьем, чтобы посмотреть внимательнее Витькины записи.

Надо отдать должное его фантазии, в большом желтом конверте с интригующей надписью «Заговор обезьян» было много интересного. Самое главное, там была эта самая вещь, только почему-то без начала и без конца. Середина. Были еще черновики, куча вырезок из газет, журналов, распечаток непонятно откуда взятых текстов...

Прогрессивное человечество больно идеей заговора: тайные ордена розенкрейцеров, масонские ложи, пришельцы орудуют среди нас...

Наверное, профессия журналиста испортила меня скепсисом и некоторым цинизмом. Как-то я сложно воспринимал это. Все, конечно, может быть в нашем довольно паршивом мире, но зачем объяснять его несовершенство чьей-то злокозненностью? А не тем, например, что мы сами, люди, слабы, порочны и именно поэтому обрушиваем на свои глупые головы все беды и проклятья египетские, без влияния каких-то могущественных сил — потусторонних ли, посюсторонних, не знаю...

Но Витька, от которого я не ожидал подобного, выдал целую систему глобального заговора, которую как-то скрашивал лишь ернический, несерьезный тон его записок. Не будь этого и той документальной основы, которую он перелопатил, я подумал бы, что у Витька от его очередного увлечения — на этот раз оккультными тайнами — крыша поехала...

Я забрался и в черновики. Меня всегда интересовала творческая кухня, где из кучи разнородных продуктов вдруг чудом каким-то получалось вполне съедобное художественное целое. Ну вот, например, Витькины записи про происхождение человека от обезьяны, которые, как я понял, относились к отсутствующему началу его произведения:

«Недавно вышла любопытная книжка Сергея Головина “Эволюция мифа. Как человек стал обезьяной. Христианский взгляд на мироздание”. Автор доказывает, что теория эволюции — это большой блеф, призванный ввести человечество в заблуждение относительно своего происхождения. В 1859 году вышла в свет книга “Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь”. Нехороший дядька Чарльз Дарвин, кроме всего прочего, такого же антинаучного, набрался наглости утверждать, что гомо сапиенс, который звучит гордо, произошел от пошлой обезьяны. Сам он, вообщето, действительно был похож на обезьяну, судя по сохранившимся портретам...

Истоки теории, завоевавшей материалистический мир, по мнению Головина, имеют основания в тотемизме — вере в происхождение человека от животного предка. У каждого первобытного племени был свой почитаемый животный прародитель — тотем: собака, медведь, волк, обезьяна... Даже многомудрый Аристотель в уже более поздние и просвещенные времена предположил, что человек произошел от рыбы, но уж очень это выглядело надуманно. Дальше и серьезнее пошла древние китайцы: создавая и развивая свои боевые искусства (ушу), они огромное внимание уделили именно всяким звериным школам, и обезьяна в них была на одном из самых почетных мест.

К концу XVIII века эта вера в естественный прогресс — фактически обратная сторона тотемизма — настолько укрепилась в обществе, что поколебала даже самых убежденных консерваторов, и они тоже стали склоняться к мысли о животном происхождении человека, хотя людей образованных не так-то просто было убедить в истинности подобных идей. Нужен был кто-то, кто придал бы видимость научности неототемизму (научный тотемизм — каково?!) и вдобавок поставил бы Ее Ве-



личество Обезьяну в основание человеческой эволюции. Этим кем-то стал Чарльз Дарвин (получивший, как это ни странно, фундаментальное религиозное образование в колледже Христа Кембриджского университета, а до этого два года изучавший медицину в университете Эдинбурга).

В 1859 году вышла в свет его книга “Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь”. Начало возвеличиванию Ее Величества Обезьяны было положено.

Провозвестником неототемизма можно считать Ламарка. Он выдвинул идею о том, что нынешние жирафы появились в результате вытягивания шеи у многих поколений их предков. Его современникам это показалось настолько наивным, что тут же со всех сторон посыпались шутки на тему “эволюционного” удлинения ног у потомственных почталыонов и рук у рыбаков.

После своего знаменитого путешествия на исследовательском корабле “Бигль” в должности внештатного натуралиста (наблюдения на Га-лапагосских островах Дарвином его знаменитых выюрок — разные условия жизни настолько изменили внешний облик птиц, что они с трудом походили друг на друга, но он самозабвенно верил в прогресс и провозгласил “естественный отбор движущим фактором образования не только подвидов, но и видов, родов, семейств, классов, царств”) Дарвин более двадцати лет не решался обнародовать свои идеи (научно подтвердить их, как и опровергнуть, крайне сложно). Но обезьяны, которым нужно было основание своей обезьяньей истории, скинулись, хорошо ему заплатили — и он издал свой труд. Конечно, на произведение натуралиста-любителя, жившего тихой семейной жизнью в своем загородном имении, тут же обрушился шквал научной критики... Но дело было сделано. Широкой публике мало была интересна критика, ей во все времена подавай сенсации. Успех книги был триумфальным, начальный тираж разошелся в первый же день! Зерна нового учения упали на подготовленную почву и вызвали настоящий бум. Второе издание — три тысячи экземпляров, напечатанные в последующие два месяца, — также разлетелось как горячие пирожки... И это было только начало. Несмотря на жесткую критику, Дарвин к концу жизни обрел всемирную славу, а его скандальный труд по числу переводов на другие языки вышел на второе место после Библии.

Кстати, в “Происхождении видов” Дарвин лишь намекнул на наши обезьяньи корни, а напрямую касаться этой слишком болезненной темы не решился. Недостающая глава вышла отдельной книгой только через двенадцать лет, когда первые страсти вокруг теории естественного отбора улеглись. Но логика “Происхождения” была достаточно прозрачна, так что можно было догадаться, к чему ведет автор. Правда, ни одного убедительного доказательства этой идеи так и не нашлось. Профессор Йенского университета Геккель создал портретную галерею предков человека.

Главные герои: питекантроп (обезьяночеловек) и эоантроп (ранний человек). Первый — человек неговорящий (Геккель считал, что именно речь отличает человека от обезьяны). Фальсификации изображений человеческих эмбрионов (Геккель жабры, собачий хвост в нем увидел), чтобы показать ряд превращений. После скандала вынужден был уйти из университета, но еще везде читал лекции.

Голландский врач Эжен Дюбуа, наслушавшись геккелевских лекций, отправился с молодой женой в восточные колонии, чтобы найти питекантропа. В Индонезию, на Суматру. На острове Ява был найден ископаемый человеческий череп. Он нашел еще один. Потом — обезьяний зуб, потом — черепную крышку. Потом — бедренные кости. Все на удалении друг от дружки, но вместе получился — “яванский человек”. В 1893 году Дюбуа возвестил миру об обнаружении “недостающего звена” — долгожданного предка, которого назвал “человек прямоходящий”. Научный мир не поверил. Рудольф Вирхов, являвшийся бесспорным авторитетом в области сравнительной и патологической анатомии, констатировал: “Это животное. Скорее всего, гигантский гиббон. Бедренная кость ни малейшего отношения к черепу не имеет”. Дюбуа возил своего “питекантропа” в чемоданчике по всей Европе и читал лекции. В 1907—1908 годах еще экспедиция на Яву. Нашел останки людей, но не питекантропа.

Еще одно “открытие”: “пилтдаунский человек” — эоантроп Доусона (человеческий череп плюс обезьянья челюсть). Эврика! Экспонат долго хранился в музее, но в 1953 году кости взяли для анализа на фтор и выяснили, что это подделка (череп древний, а челюсть почти современная — орангутана, искусно окрашенная, со «вставными» зубами). Того, кто это сделал, так и не нашли. Подозревали даже Конан-Дойля. Скорее всего, это был коллективный сговор.

1922 год — профессор Гарольд Кук нашел окаменевший зуб в штате Небраска. Ура! Вот вам гесперопитек гарольдкуковий!

Еще были подобные “открытия” в Китае. Профессор Шлоссер, исследуя в своей лаборатории в Германии привезенные из Китая окаменелые “кости дракона” (весьма популярный компонент восточных снадобий), купленные в одной из аптек, нашел среди них зуб, который, по его мнению, мог принадлежать нашему предку. Слухи о том, что человек мог произойти от обезьяны, в Китае распространились довольно широко. Но зуб таинственно исчез.

Нашли окаменевший человеческий зуб в Чжоукоудяне в 1927 году. Что-то было в нем неизъяснимо обезьянье, по мнению канадца Дэвидсона Блэка. Китайский человек — синантроп пекинский, еще раз гип-гипура! Там же найдены обезьяньи черепа и человеческие скелеты. На самом же деле там первобытные ели обезьян, разбивая им черепа... В 1937 году все артефакты исчезли в ходе военных действий и стали недоступны более для науки. В 1941 году чжоукоудяньские находки уложили в сундуки. Отправили в Америку поездом — и... только их и видели.



Еще искали доказательства происхождения человека от обезьяны в Африке, в Индии. Австралопитеки, зинджантропы Бойса, рамапитеки... Все не то. Недостающее звено так и не было найдено.

К неототемизму, между прочим, относятся марксизм, енгеника, фрейдиизм. Карл Маркс даже хотел посвятить “Капитал” Дарвину — наставнику и вдохновителю, но тот отказался, недооценив это предложение. Энгельс тоже вдохновлялся Дарвином.

“Наследственность таланта” обезьяньего адепта проявилась, кстати, у двоюродного брата Дарвина, который занимался енгеникой — выведением благоприятных характеристик человека путем искусственной селекции.

И вот к каким выводам приходит Головин: “Всего за несколько десятилетий на кровавый алтарь служения обезьяночеловеку были принесены сотни миллионов жизней тех, кто остался на полях сражений, был сожжен в печах Освенцима, стерт в лагерную пыль ГУЛАГа, расстрелян у придорожных канав, забит насмерть лопатами полпотовцев, раздавлен танками на улицах Праги или на площади Тяньаньмэнь...

И каковы же результаты? Создано ли новое сверхчеловеческое общество, или сверхраса, или хотя бы один сверхчеловек? Увы! За исключением Германии, которой посчастливилось проиграть во Второй мировой войне и благодаря этому получить возможность снова начать строить нормальное человеческое общество, все страны, практиковавшие веру в обезьяну, к концу двадцатого века лежат в руинах, истощив и уничтожив самих себя. Уничтожена экономика, уничтожена мораль, уничтожен созидательный дух, способный возродить утраченное”.

Посчитав себя не более чем развивающейся обезьяной, а борьбу с ближним за свое собственное существование — благом, человек стал целенаправленно *уподобляться* борющейся за выживание обезьяне. В результате он утратил все то, что, собственно, и делало его человеком».

Похоже, Витька серьезно взялся за обезьян. Один список литературы о происхождении человека на нескольких листах внушал уважение...

Только я взялся за чтение уже самой Витькиной вещи, как раздался телефонный звонок. Я поднял трубку. Внутри все оцепенело, когда чей-то незнакомый голос прокричал мне прямо в ухо:

— Всем вам лежать в один ряд, придурки! Всем! Привет из зоопарка!

Сигарета не помогла унять нервную дрожь. Я задернул шторы, подошел к холодильнику и достал бутылку красного вина, которую мы с Наташкой держали на случай непрошенных гостей. Какие-то непрошенные гости явно ворвались в нашу относительно спокойную жизнь. И кто они, я представления не имел... Ну не человекообразные же обезьяны, в самом деле?!

Глава 11

«...Обезьяны насаждают в мире свои мифы. О происхождении от них человека уже было сказано. Можно выделить несколько наиболее важных для понимания нашей истории мифов. Они господствуют у нас не так уж давно, но и не одно десятилетие...

Миф о прогрессе. Согласно этому мифу все человечество и отдельные страны идут от этапа к этапу вверх по ступеням прогресса. Старое, отжившее отмирает, вытесняется новым, более прогрессивным. Вера в то, что новое всегда лучше старого. Помните: “Мы старый мир разрушим до основанья, а затем — мы наш, мы новый мир построим”⁹? И разрушалось все старое: от традиций до памятников архитектуры... Это у обезьян называется “идти в ногу с прогрессом”. Не только в России, вообще-то, — на Западе обезьяны давно у руля...

Миф о единообразии мира. Из него вытекает понимание национального разнообразия как проявления отсталости, неразвитости. Развитие рассматривается как путь к единообразию. Отсюда тенденция, например, превращения английского языка в мировой и англицизация всех языков посредством массивного заимствования слов, выражений без попыток их перевода. Другая сторона этого мифа — вера в то, что есть единые для всех возрастных и социальных групп, народов, эпох эталоны красоты, комфорта, питания... Все, что отклоняется от этого единообразия, считается нелепым, некрасивым, старомодным, неправильным. Как результат — стремительное уничтожение национальной культуры, в том числе народных промыслов, унификация быта, еды, одежды.

Миф о познаваемости мира. В его основе — вера в то, что наука не сегодня, так завтра даст ответы на все тайны мироздания, рецепты от всех человеческих болезней и всех язв общества. И в этом — безудержный обезьяний оптимизм, который, конечно, подогревается обезьяньей наукой.

Миф об управляемости мира. Вытекает из предыдущего. Раз мир познаваем, значит, можно определить и лучшие пути развития общества. Отсюда закономерно следует неизбежность и необходимость насилия. В России в годы Гражданской войны появился даже лозунг: “Железной рукой загоним человечество в счастье!” К чему это привело, все мы знаем.

В борьбе за души людей обезьяны постепенно отказываются от старых мифов и создают новые. Не построили обезьяний уравнилельный социализм в отдельно взятой стране — будем строить обезьяний капитализм, не менее, впрочем, а даже более убогий по своим целям. Запад это уже давно показал.

Обезьяны берут реванш! Начинается очередная военная кампания против людей: “Поменяем флаги и задачи на противоположные, а суть останется неизменной”. Было — “стараемся для всех”, теперь — “для себя любимого”! Коллективизм теперь поменяем на индивидуализм. Серость и единообразие — на такое разнообразие, от которого скоро ста-

нет тошно всем. Потому что в основе — то же стремление низвести человека до животного, до обезьяньего уровня в еще более неприглядном, откровенном варианте. Обезьяны набрали силы, опыта, средств и методов влияния. Сделали вид, что они ни при чем в предыдущем историческом крахе, и опять стали во главе движения к “прогрессу”.

Развитие телевидения, рекламы создало мощные средства манипуляции поведением сразу миллионов людей. Например, массированная реклама финансовой пирамиды “МММ” толкнула миллионы людей вкладывать свои деньги в расчете на бешеные прибыли. Прошла по тем же каналам информация о начавшемся крахе “МММ” — и эти толпы тут же выстроились в очереди в надежде получить свои деньги обратно.

С помощью СМИ население нашей страны превратилось фактически в толпу, рассеянную в пространстве, в которой влияние одного человека на другого осуществляется на расстоянии. Особенно мощные возможности в формировании толпы, которой легче управлять обезьянам, — у телевидения. Оно заставляет подражать моделям поведения и потребления, которые предлагаются через фильмы, концерты, шоу. Показ массовых мероприятий заражает зрителей, как вирус. На механизме внушения строится реклама в СМИ...»

Да, разошелся Витька! Вот и мне досталось — как представителю нехороших, злонамеренных СМИ... Между прочим, сам он зачем-то просился в гости ко мне в редакцию, кстати, на том же вечере у Степаныча. Наверно, чтобы поизучать царящую в ней обезьянью обстановку. Надо сказать, обстановка у нас и в самом деле того... И шеф на обезьяну очень похож. Ему только жареное подавай — чтобы баламутить народные массы всякими сенсациями...

Я еще почитал Витькин опус в постели на сон грядущий, и в конце концов он таки меня сморил. Я так и заснул, как ежик, среди бумажек.

Глава 12

Неудивительно, что и сон мне приснился соответствующий. Забавный вроде бы поначалу: несколько обезьян водят вокруг меня хоровод. Ужимки и прыжки, как водится, смешные гримасы, а круг становится все теснее и теснее, и вскоре я начинаю в нем задыхаться, как будто бежал в гору, и силы вдруг кончились, и не хватает воздуха. И глаза у веселых обезьян вдруг оказываются совсем не добрыми. С цепким жестоким любопытством они смотрят, как я корчусь внутри круга. Похоже на магический ритуал. И вдруг одна из обезьян, черная, бросается на меня и целит лапой в глаза...

Я проснулся резко, будто плеснули в лицо холодной водой. И, даже проснувшись, продолжал чувствовать страх. Что за чертовщина? Мы так не договаривались, ребята! На часах всего пять утра, а сна ни в одном глазу.

Ну что ж, тогда снова за чтение...

В девять часов раздался телефонный звонок. Я взял трубку, как ядовитую змею.

— Сашок, ты?! — раздался в трубке голос пьяного, несмотря на начало рабочего дня, шефа. Опохмел это называется. — Срочно выходи на работу! Зашиваемся без тебя! И еще тут к тебе одно дельце...

— Алло, вас не слышно! — заорал я в ответ. — Перезвоните, пожалуйста, телефон барахлит!

Только этого мне еще не хватало! Некоторое время я раздраженно гипнотизировал взглядом бесящийся телефон, но трубку так и не взял. Ясно представил, как сердится наш Анатолий Иванович Винников (надо же, до чего говорящая фамилия!). Поди, не с кем выпить, вот он меня и тянет в редакцию. Ладно, ну его, главное, в запой не уходит и на работе горит. А вот почему Серега не объявляется?

Я отложил бумаги. Набрал номер Дергачевых. Длинные гудки. Да что за чертовщина творится? В последнее время телефон из друга семьи превращается во врага. Кому надо — дозвониться не могу, кому не надо — сам звонит. Мистика какая-то!

Для эксперимента набрал последовательно номера — Андрюхи, Вовки, Степаныча, Няньки, Витькиной матушки. Длинные гудки! Магия обезьян в действии, мрачно подумал я и сел читать Витькины экскурсии в обезьянью теорию: обезьяны и массовая культура, обезьяны и политика, магия обезьян... Тут же воображение услужливо продемонстрировало мне особо гнусную обезьяну в позе лотоса, делающую пранаяму. Бред! Так квалифицирует это материалистическая наука и лично я. Мистический туман — это не по мне, хотя когда-то я блуждал по нему не без удовольствия.

Я думаю, мы все-таки пойдем верной дорогой, товарищи.

Надо вспомнить еще раз тот вечер во всех деталях...

Глава 13

Когда позвонили в дверь, я открыл, не поглядев в глазок. Кто там еще мог быть, кроме Сереги?..

В глазах зарябило от неожиданности. На лестничной площадке стояла компания из трех молодцов экстравагантного вида — в кольчугах, с мечами на поясе и с рюкзаками, брошенными на цементный пол. Наташкины любимые «хищники»!

— Галадриэль дома? — убегая от меня взглядом, спросил предводитель, весь в черном, как будто его искупали в мазуте. Больше похожий на гопника, чем на рыцаря.

— Кто-кто? — не понял я.

— Ну Натаха... То есть Наташа.

— А... Она на играх, на островах, — вежливо ответил я. — Ожидается дня через два.

— Да не, она приехала уже. Мы на вокзале разминулись, — ломающимся голосом молвил волосатый отрок слева, с кистенем, засунутым

за широкий кожаный пояс. Милиция, наверно, гоняет их за это средневековое холодное оружие. — Она сказала, что можно у вас перекантоваться.

Чего ради эта маскарадная компания должна у нас кантоваться, я не понял, так мы с женой не договаривались.

— Все ваши игры и тусовки за порогом нашего дома, — когда-то сказал я ей, и мы так и жили. Повидал я в свое время толкиенутих в быту — страшное, я вам скажу, испытание для нервов. Как-то по глупости разрешил Наташке взять на постой ее боевую подругу, почему-то с мужской кликухой. Всего-то дней на десять, но и они потрясли мой довольно-таки аккуратный, как позналось в сравнении, мир. Во-первых, она дымилась как паровоз, да еще дрянной «Примой», во-вторых, не имела привычки убирать за собой. Потом к нам пошли косяками ее лохматые дружки, все с какими-то комплексами и одновременно с огромными амбициями. Они самозабвенно обсуждали свои игры, читали романтические стихи, пили баночное пиво и время от времени начинали показывать приемы фехтования прямо посреди квартиры. В общем, настал день, когда я выпер их всех из нашей жизни, и Наташка, надо отдать ей должное, меня поняла.

И вот тебе на — опять явились! Да еще с женушкиного разрешения.

Эх, Сереги на вас нет! Кляня свою интеллигентскую мягкость, я пустил их за порог.

— Наташа сказала, что мы можем у вас до поезда побыть, — видя мои сомнения, встрял третий, кучерявый, с бородкой а-ля Ришелье и рапирой на поясе. — У нас вечером поезд на Казань...

Ребята устроились на кухне как у себя дома, не снимая, как говорится, сбруи. Я поставил им, ругаясь про себя, чайник, выложил буханку хлеба, пачку масла и сахар. Ну устрою я Наташке Варфоломеевскую ночь! И прибыла раньше, чем я ожидал, и этим патлатым, немытым дорогу в наш дом указала...

Предоставив гостям некоторую независимость и суверенитет в пределах одной отдельно взятой кухни (только бы ничего не побили!), я решил подготовить к поклейке обоев: разрезать и разложить их в большой комнате. Не изучать же Витькины записи при посторонних!..

Меч, рапира, кистень и рюкзаки лежали в прихожей, как будто так и надо. Чтоб вас!

Пользуясь планочкой под нужный размер, я успел нарезать три полосы, когда один из «хищников», откушавших и отпивших, тихо (наверное, знали от Наташки, что я их не очень жалею) выбрался из кухни... Кажется, главный — тот, что был в черном плаще. Любят же они общаться, мать их! Литературный папочка у них был замечательный, но ведь каких детей наплодил... Далеко от яблони они, однако, упали.

— А позвонить можно? — вкрадчиво спросил «хищник», обезжав окружающее пространство взглядом, но ни разу не посмотрев мне в глаза. — Пожалуйста...



И тут в моей глупой голове наконец прозвенел тревожный звоночек. Что-то не то почудилось мне в этом безобидном вопросе и этом обшаривании глазами комнаты. Искося, делая вид, что занят работой, я наблюдал за черным. Набирая номер, он продолжал цепко осматривать все вокруг! Вот его взгляд добрался до журнального столика, где лежали Витькины листки, — и загорелся победным огнем... Спасибо, милая моя интуиция, но могла бы и пораньше сработать! Впрочем, кое-что, незаметное для гостей, уже дружно выглядывающих из кухни, я успел сделать, пока они не начали действовать.

— Мы на месте, — сказал главарь. — Все в порядке, поезд через час. Ждите.

Он протянул руку за мечом, и волосатые дружки не замедлили сунуть в нее клинок. И тут наши глаза наконец встретились... Взгляд был еще тот — с некоторой сумасшедшинкой, мягко говоря. В глазах черного горело торжество, когда он пошел на меня, а двое верных соратников позади него уже подбирали с пола свой спортивный инвентарь. Точно — гопники, а не рыцари...

— В чем дело? Игрища свои решили продолжить? — спросил я, притворяясь растерянным, пока черный карабкался через наши узлы и коробки с вещами.

Но он игнорировал мой вопрос — и поплатился за это.

А дело-то тухлое, понял я из нашего одностороннего общения. Даже не снизошли до объяснений, угроз, требований. И что-то от зомби почудилось мне в них — запрограммированность, что ли...

Главарь красиво прыгнул на меня со своим алюминиевым мечом, но, во-первых, не умел так скакать через узлы, как я, а во-вторых, Аннушка уже пролила подсолнечное масло. Ну, Аннушка не Аннушка, подсолнечное не подсолнечное... В общем, обойного клея уже изрядно растеклось на полу из пластмассового ведерка, которое я опрокинул, едва разобрался, что к чему. Вот вам и некоторая польза от чтения Булгакова и просмотра фильма «Один дома».

Не менее красиво, чем прыгнул, главарь навернулся, поскользнувшись в натекшей луже, и врезался копчиком в пол. Только доспехи загремели.

— Знаете, почему во Франции люди вежливые? — спросил я. — Там всех невоспитанных давно поубивали на дуэлях.

Главарь хрипел от боли и ерзал задом в клейкой луже... «Шестерки», несколько растерявшись, бросились поднимать его.

— Валите эту падлу! — заскрипел зубами черный. Видимо, на играх он изображал назула. — А потом заберите бумаги!

— Да кто вы такие? — поинтересовался я. — Крыша у вас едет, что ли? Ворвались в чужой дом. Хотите забрать чужие бумаги...

В общем, настоящее театрализованное представление получилось. Рыцарский турнир среди узлов с вещами, нагромождений мебели и книжных стопок... Ребята лезли ко мне как через баррикады, а я кидал в них рулонами обоев, жалея книги.

— Ну ты козел! — шипели они. Кричать не хотели, опасаясь соседей. В общем, балаган, и только. Не этого они ожидали.

— А как же Наташка, вокзал? — спросил я, уже понимая, что это ряженные, а никакие не толкиенутые.

Главарь прохрипел, что они сделают с моей Наташкой, когда меня завалят. Я срубил его приемом маваша-гери, когда он пытался подняться, так что зубы захрустели под ногой. Второго, с кистенем, я поймал во время удара и крутанул мимо себя — он врезался лбом в стену и вырубился. А третий таки достал меня — воткнул свою шпажку мне в плечо. Выдержал... В глазах у меня потемнело, ноги ослабли. Какое-то время он прыгал вокруг, пытаясь наколоть меня на острие, как бабочку для гербария. Я уворачивался... Причем умел он, сволочь, умел — поди, учился где-то фехтованию! Хорошо, что ремонтный бардак ему мешал.

В конце концов я схватил валик для покраски полов с длинной ручкой и через пару минут вырубил и этого мушкетера: подсек под ногу, когда он шагнул ко мне, и от души врезал по башке, ужаснувшись уже в процессе, что убью, чего доброго.

Потом, как говорится, сам «поскользнулся, упал, очнулся»... и увидел Серегу, который лупил меня по щекам и совал под нос что-то вонючее — кажется, тройной одеколон за неимением нашатыря.

— Что это за хренотень? Что за Мамаево побоище? — обалдело спросил Серега.

— Это ХИ — «хищнические» игры, старик, — ответил я и опять вырубился, на этот раз надолго.

Глава 14

В очередной раз я очнулся на диване, уже с перевязанным плечом. Голова кружилась от слабости. Серега смотрел на меня изучающе, как египетский сфинкс.

— Ну теперь колись, — сказал он обвиняющим голосом. — Что случилось? Кто это тебя разделал, как Бог черепаху?

Я посмотрел по сторонам. К своему изумлению, не обнаружил никаких валяющихся «хищников». Интерьер они, конечно, не украшали, но и не испарились же?..

— А где эти, переодетые? — спросил я.

— Какие переодетые? — не понял Серега.

— Ну, «хищники», — нетерпеливо пояснил я.

— Да, — только и сказал мой старый друг, — сильно тебе настучали по чайнику... Ты по-русски изъясняйся!

Я объяснил, что к чему. Недоверчивый Серега прошелся по комнате. Никакого холодного оружия, никаких следов крови не обнаружил. Только разлитый обойный клей...

— У тебя случайно не галлюцинации? — спросил он слегка растерянно, чем меня удивил. — Хотя кто ж тебя тогда продырявил?

Я сел и тоже осмотрел комнату. Действительно, никаких следов. Что за непонятки?.. И тут я заметил, что дверь на балкон слегка приоткрыта. К сожалению, это было не самое печальное открытие. Гораздо хуже оказалось то, что на журнальном столике было пусто... Незваные гости, уползая с поля боя, все-таки прихватили трофеи — Витькины бумаги. Осталось утешиться, что не все. Конверт от бандероли и несколько листов валялись под столиком: видимо, их сдуло сквозняком, когда беглецы в спешке открывали балконную дверь, услышав Серегин звонок. Ничего не скажешь, ловкие ребята! Хотя этаж-то всего-навсего второй — ноги трудно сломать...

— А как ты зашел? — поинтересовался я.

— Так открыто было, — удивился Серега. — А ты чего это, хищник проколотый, раньше не сказал про бандероль?

Он с интересом углубился в чтение поднятых листов.

— Ну тебе же вся эта мистика по барабану, Серый, — оправдывался я.

— Содержание, — прочитал он вслух. — Обезьяны и массовая культура... Обезьяны и секты... Обезьяны и политика... Обезьяны и Россия... Что за бред? Это из того, что Витек хотел на вечере читать?

— Угу, — покаянно отвечивал я и коротко пересказал, в чем суть Витькиной завиральной идеи.

— Да ну! — не поверил Серега. — Чтобы из-за этого похитить или грохнуть человека? Обычно это делают из-за бабок, баб. А не из-за дурацкой хохмы...

Он так и впился в жалкие остатки Витькиного «Заговора обезьян», пытаясь что-то понять... И надо же, первой ему попала «Молитва Обезьяне»!

«О Царь наш обезьяний, живущий на небесах и в нас, помоги слугам и рабам твоим следовать твоим заветам и выполнять твою волю! Да пребудет вовеки царствие твое! Да будут следы твои благословенны и на земле, и на небесах, и в наших душах! Введи в искушение неискушенных, поддержи идущих путем твоим, смешай семя человеческое с семенем обезьяньим, чтобы представляли они собой единое целое! Человек проходящий, обезьяна восходит на плечах его, о чем он и не подозревает. О Царь обезьян и семь верных Обезьян его, введите человека в лабиринт греха, из которого нет выхода, кроме как к престолу твоему. Заставьте его позабыть о его божественной сущности, о вещах высоких, о славе небесной, заставьте его валяться в грязи, но так, чтобы он не понимал, почему делает это. Да пребудет Обезьяна в человеке во веки веков!»

— Чушь, — убежденно молвил материалист Серый, тем не менее внимательно прочитав листки. — Магия человекообразных, заговор обезьян... Не там ты копаешь, Сашок. Я вот про «тойоту-корону», которая в тот вечер стояла во дворе, узнал. И расспросил про молодежь в подвале нашего участкового Колю Вольтова. Это не его район, но он кое-что о них знает. У них там, оказывается, военно-патриотический клуб «Вымпел».



Это же, оказывается, замечательные ребята... У них это вполне официально: рукопашный бой, уроки патриотизма, какой-то парень, который военное училище окончил, ведет. А еще они летом ездят во всякие военно-спортивные лагеря. И с трудными подростками работают... В общем, если они заявление напишут, что мы к ним залезли, сказал Коля, у нас будут большие неприятности. Я думаю, может, сходить к ихнему командиру да извиниться? Заодно посмотрю, что за фрукт.

— Да ну, что-то не похоже ни на тех стриженных, ни на этих ряженных, — усомнился я. — А что там насчет иномарки?

— Этого мужика из агентства недвижимости зовут Вадим. Забегал я к ним в агентство, о квартирах поговорил. Мы с ним даже вышли на улицу покурили. Вполне нормальный этот Вадим, спокойный, рассудительный. Он риелтор, в том доме квартиру продает. Никого из наших не знает.

В это время опять зазвонил проклятый телефон. Ну если опять эти придурки!..

— Да! — рявкнул я, хватая трубку и кривясь от боли в плече.

— Саша, ты только не волнуйся, — сказала тусклым голосом Нянька. — Андрей Токмаков повесился. Похороны сегодня в два. Мы до тебя раньше не могли дозвониться. Серега у тебя? Приезжайте.

Глава 15

«...Один из расхожих обезьяньих приемов — американизация сознания и культуры. Причем это не просто навязывание всего американского, но и привитие исподволь комплекса неполноценности. Этим вовсю занимается у нас и обезьянья литература: юмористы-сатирики изображают русских тупыми, отсталыми, ленивыми, вороватыми и вечно пьяными...»

...Для потребительского — читай: обезьяньего — сознания стремление к удовольствию превыше всего. Но к чему это неизбежно приводит? Об этом писал маркиз де Сад: «Когда вам надоест одно удовольствие, вас тянет к другому, и предела этому нет. Вам делается скучно от банальных вещей, вам хочется чего-нибудь необычного, и в конечном счете прибежищем сладострастия является преступление». Вывод: пока это стремление к удовольствиям не перестанет быть для многих целью существования, рост преступности сдержать не удастся.

В современной обезьяньей литературе царит все разъедающая ирония. Высмеять добро, чистоту, красоту, все вывернуть наизнанку — кому это нужно? Тому, кого называют «обезьяной Бога».

«Вся мудрость века сего сводится к очень простому положению: человек есть скот», — писал один философ. Что в нас и вдалбливают наше помойное телевидение, наши средства массовой дезинформации, вся наша массовая культура. Но если обезьянье возьмет верх — человек падет, и судьба человечества придет к своему закату...»

Все это я читал в переполненном автобусе, пока ехал на Андрюхины поминки на ОбьГЭС.

Как проходили похороны, честно говоря, не хочется рассказывать. Не люблю смерть. Особенно не люблю смерть близких людей. Одноклассники в автобусе и на кладбище были хмуры и не особо разговорчивы. Многие наши девчонки плакали. От жизнерадостного Токмакова никто не ожидал, что он залезет в петлю. Его жена Мира казалась потерянной, а дети, двое сыновей, похоже, еще не осознали, что отец ушел от них непоправимо. Серега пытался потихоньку выяснить у деловых коллег Андрюхи, не с бизнесом ли связано его неожиданное самоубийство и не знают ли они случайно Витьку. Но это уже был, по-моему, перебор. Да и что они — сами против себя скажут что-то?..

Поиски Витьки, довольно беспорядочные и глупые, похоже, сдвинули у нас обоих крышу в сторону излишней подозрительности.

На квартире у Андрюхи, когда начались поминки, Серега сразу подсел к Степанычу и Валерику Уфимову. А я вышел к мужикам, хмуρο кутившим на лестничной площадке.

— Как это случилось? — спросил я, прикурив у Андрюхиного тестя, дядечки с невзрачным лицом.

— Как-как... — Тесть вздохнул. — Он какой-то смурной в последнее время с работы приходил. Частенько выпивши. С Миркой, само собой, цапались из-за этого дела, а может, и еще из-за чего... Она на меня была в претензии — спаиваю, мол, Андрюху... А мы тут как раз вечером перед... — дядечка скривился как от зубной боли, — посидели с ним основательно. Мирка опять скандалить... Он ее выставил за дверь, она ушла матери на нас жалиться. Мы еще посидели. Андрюха с литр выпил — и спать. Завтра, говорит, вставать рано... А утром — уже и Мирка вернулась — пошел в погреб, вроде как за соленьями-вареньями...

Андрюхин тесть высморкался и вытер слезившиеся глаза.

— Мирка через два часа забеспокоилась — нет его и нет. Побежала туда, а он в гараже висит. И записка: «В моей смерти прошу никого не винить».

За столом тоже было хмуρο. Валерик, Степаныч и Серега составили триумвират и ударили по водке. Ко мне же приткнулась Нянька, поэтому я избежал того, чтобы мне постоянно наливали. Мы вполголоса беседовали.

— Ну почему так, Саша? Почему лучшие уходят? — спрашивала Нянька. — И как он не подумал о детях?

— Я слышал, что он должен был кому-то, — ответил вместо меня Валерик Уфимов. — Занял, а отдать не мог. Вот и вывел семью из-под удара...

Ни фиги себе! Между прочим, Уфимчик в этих делах разбирается: тоже занимается предпринимательством, недавно начал осваивать пивное производство.

— И что? — спросил я. — Семейку в таких случаях не трогают?

— А откуда у них такие бабки? — цинично сказал Валерик. — Разве что квартиру заставить продать...

Вот такие у нас были поминки, если без подробностей. Домой я ехал с Серегой, Нянькой и больной головой. Мире при прощании было настойчиво сказано, чтобы, если будут какие-то проблемы с кредиторами, обращалась к нам, его друзьям, сразу и без стеснений. Она пообещала.

— Между прочим, Витька приходил зачем-то в Андрюхину контору за день до того, как пропал, но Андрюху не застал, — сказал Серега, когда мы проводили Няньку и уже разбегались. — Вот где надо копать, а не обезьяньи следы искать... Завтра наведаюсь к их шефу, ну и к руководителю «Вымпела». А вообще, достали, козлы! Добраться бы мне только до них!..

Глаза Серegi недобро сощурились, и я поежился, представляя, что будет, когда он действительно «до них» доберется.

Глава 16

Ночью во сне ко мне пришел Андрюха.

Он присел на край тахты, и мы долго с ним говорили — тепло, по-дружески. Он просил прощения за то, что наша дружба прервалась в свое время. Я тоже просил прощения...

После школы мы вместе мотались в геофизическую экспедицию. Не поступили в пединститут и тут же, забрав документы из приемной комиссии, отправились в Белоруссию. Хлебнуть романтики, как мы говорили. И мы ее хлебнули! Только она оказалась совсем не книжной. А мы-то еще, дураки, удивлялись, почему родители не хотели нас туда отпускать!

Это было впечатляющее знакомство с реальной жизнью. Никогда я еще не видел такого представительного собрания «вольных бродяг», многие из которых подались в геологи не только в погоне за длинным рублем, но и в стремлении оказаться подальше от глаз нашей милиции. Никогда я еще не видел, чтобы люди так много пили! Мы выдержали три месяца и взяли расчет, решив не ехать дальше — в Якутию: наслушались, как там «героические» геологи по пятьдесят километров возили ящики с водкой из далекого магазинчика на саночках к себе в балок, обмораживая конечности... Я после экспедиции взялся за ум и за учебники, а Андрюха — стал пить. Мы ссорились. Наверное, нам надо было быть терпимее друг к другу...

Школьная дружба ушла, эту потерю мы восполняли ни к чему не обязывающим приятельским трепом. В последнее время мой школьный друг пытался навести ко мне мосты, но слишком разной жизнью мы жили. Да и он был слишком занят зарабатыванием денег. Даже на наши редкие посиделки одноклассников приходил редко. Надо мне было самому пойти ему навстречу. Может, и не случилось бы того, что случилось...

— Подожди, Андрюха, ты что, живой?.. — растерянно спросил я.

— Живой. Мы вообще не умираем, — странно ответил Андрюха и начал таять у меня на глазах.

Вот так он со мной попрощался. Не знаю, почудилось мне это или приснилось, но было впечатление полной реальности его присутствия.

Страх пришел после. Он вышиб то чувство любви и вины, которое овладело мной во время этого странного явления Андрюхи во сне.

Я встал и, взглянув на часы, пошел ставить кофе. Похоже, бессонно проводить ночи и рано вставать становится вредной привычкой. Мысли об Андрюхе я постарался изгнать: только посмертных явлений еще на мою голову не хватало! И так проблем не пересчитать. Ну что, ремонт или изба-читальня? Нет, не хочу с обоями возиться, да и плечо побаливает...

Устроившись в кресле перед журнальным столиком, посреди разбро-санного барахла, я снова стал перебирать Витькины записи. Чистовой текст переодетые «хищники» утащили, но остались исчерканные черновики. Их я и проглядывал, то ли в надежде за что-то зацепиться, то ли чтобы отключиться от кошмара, который свалился на меня в последние дни в пугающей концентрации...

«...Отличительная особенность обезьян — они сами не творцы. Они способны только на подражание, жалкое эпигонство, на пародию, на примитивную массовую культуру. Недаром так убоги тексты волосатых, дергающихся, прыгающих на сцене в дыму обезьян от попсы: “Если бросишь ты Муму, то она пойдет ко дну. Если бросишь ты меня — буду громко плакать я!”, “Я знаю три слова, три матерных слова. На этом запас мой исчерпан...”

Еще одна важная особенность обезьян: они не любят Россию. Потому что Россия, как бы ни обрушивались на нее на протяжении веков, все-таки старалась отвергать подражательное, обезьянье — то, что шло с Запада. Хотя и не так упорно, как надо было. Вторжению извне помогали свои, внутренние предатели, сознательно или бессознательно.

...Высмеять, принизить, умолчать о высоком — вот цель обезьян.

Гоголь ступил было на этот путь и написал “сатиры” на Россию, но осознал пагубность этого и отошел от сатирического взгляда на мир. А вот Салтыков-Щедрин со своей “Историей одного города” и “Сказками” продолжил “обезьянью” линию, и успешно. “Сатирикон” — пасквиль на историю России — написала кучка записных обезьян-зубоскалов. Цель их была разрушить высокое в человеке, в человеческой истории. Патология, выпячивание пороков, обезьянничанье — вот где проступает их истинное лицо... извините — морда.

Выживание, насилие, секс, поиск удовольствий — неужели это тот самый глубинный смысл нашей жизни?..»

Нет, я устал. В чем-то я с тобой согласен, Витек, но... Теории теориями, а жизнь жизнью. Да и не люблю я мрачного мировоззрения — из инстинкта самосохранения, наверно.

А вообще-то, полная ерунда получается. То есть глупостями мы, похоже, с Сергеем занимаемся. Строим из себя таких Ван Даммов российского пошиба. По головам нам уже обоим настучали. Ни на шаг это нас не приблизило к Витьке. По-прежнему непонятно, связаны ли эти дурацкие записи с его исчезновением. Нет никаких реальных зацепок, да и кто мы — профессионалы сыска, что ли? И мистики никакой нагнетать не надо. Скорее всего — если смотреть на жизнь «по-трезвому», как говорит наш Вовик, который кантуется на Дальнем Востоке, — или Витю убили, или он сам уехал куда-то. Надо идти в милицию, а может, к знакомым, к тому же Коле Вольтову, и спрашивать понастойчивее. Вот Серега собирается в Андрюхину фирму. А вдруг они как-то ко всему этому причастны? И что он будет делать с их «крышей»? Это же не с молодежью воевать...

Хорошо было бы вообще просто ждать, а не кидаться из стороны в сторону. Начитался книжек, дурак! Превращаю банальную жизненную драму в надуманную детективную историю. И Серега еще подогревает — напористо, по-десантному...

С другой стороны, навалились ведь на нас? Значит, думают, что мы близко к цели. Что мы умнее, чем на самом деле...

Телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Что-то я стал шараться от телефона в последнее время. Я взял трубку, и худшие опасения подтвердились: трубка-змея в очередной раз ужалила. Кто-то в нее дышал, громко и страшно.

— Сам дурак! — не придумав ничего остроумнее, сказал я трубке, чтобы прогнать невольное ощущение жути.

Было еще два или три звонка, но я взял кисть, взболтнул клей в ведерке и все-таки стал клеить обои в большой комнате, а к телефону не подходил. Трудотерапия помогла.

За этим занятием и застала меня Наташка, которая открыла дверь своим ключом. Хорошо, что она зашумела в коридоре, перебираясь через кучи барахла. Поэтому я не встретил ее боевым криком и ударом ноги в прыжке.

— Привет, зайчик! — весело сказала Наташка и повисла у меня на шее. — Как я по тебе соскучилась! Надоели мне эти «хищники»! Больше не поеду на игрища! Представляешь, и в этом году темные опять разделили светлых, и мне это не нравится... Горячая вода есть? Сначала в ванну, а потом в постель...

— Конечно, лучше зайчики, чем хищники, — пробормотал я, обнимая похудевшую и загоревшую супругу. — А уж как я по тебе соскучился!

Глава 17

Как ни банально, нас с Наташкой разбудил телефонный звонок.

— Не бери трубку! — Я резво перескочил через супругу к телефонному аппарату.

Еще напугают до смерти бедную Наташку!

И, конечно, нарвался.

— Здравствуй, Саша! Меня хорошо слышно? — раздался в ответ на мое «алло» бодрый голос Иванныча (главного редактора городской молодежной газеты «МиР», что расшифровывается, по замыслу шефа, как «Мифы и Реальность»). — Бросишь трубочку — я тебе устрою веселую жизнь, обещаю. Чтобы через полчаса был на работе!

— Других нет, что ли? — неуверенно возмутился я. — Я в отпуске. Квартиру ремонтирую. У меня жена приехала...

— Ну журналисты пошли! — возмутился Иванныч. Гораздо увереннее, чем я. — Помнишь стихи: «Трое суток не спать, по болотам шагать ради нескольких строчек в газете?» Вот мы такие были, наше поколение! А вы... Ну ты, ты мне нужен, Саша, с твоим критичным взглядом и молодым цинизмом, которого у нашего поколения нет. Посоветоваться хочу. И рукописи поможешь редактировать, зашиваемся. Ну, ноги в руки — и ко мне!

— Так, малыш, — я разбудил Наташку поцелуем, как ни жаль мне было мою спящую принцессу, — меня шеф на работу вызвал. Двери чу-жим не открывать! Если будут дурацкие звонки, говори: «Вас не слышно, телефон сломан» — и бросай трубку. Я тебе потом все объясню.

— Что-то случилось? — вяло и сонно поинтересовалась жена.

— Да нет, все хорошо, прекрасная маркиза...

Она повернулась на другой бок и уснула опять. Ну и набегались же они на этих островах, как я посмотрю! Тем лучше.

Надо же, не могу унять некоторый страх и трепет перед встречей с драгоценным шефом, которого не видел всего две недели. Мы с ним давно уже не бросаемся друг другу в объятия с криком: «Здорово, Сашок!» — «Здорово, Иванныч!» — потому что с полгода назад между нами пробежала большая черная кошка. А потом у нас была война. То горячая, то холодная... Дело в том, что Иванныч, на мой взгляд, портит газету своим чрезмерным пристрастием к «жареному», обожает всяких «Джульетт в роддоме» (рожениц двенадцати лет, уточню) и «Путеводители по ночным клубам». Как это в нем сочетается с коммунистическим мировоззрением, ума не приложу. «Жареное» шеф понимает как неизбежное веяние времени и считает непременным условием того, чтобы газета продавалась. Мужик он, в общем, неплохой, о редакции заботится и зарплату получает с нами наравне.

Обострение отношений у нас было как раз полгода назад. Период холодной войны тогда сменился горячим, и я уже решил, что пора паковать вещички. Аккурат перед Новым годом, после того как мы свалили трудный — как всегда — праздничный номер, собираясь на редакционную вечеринку, я перетряхнул свою домашнюю библиотеку и решил сделать всем прощальные подарки. По принципу «лучший друг человека — книга». Всем коллегам я и прихватил по одной. А Иваннычу — лучший, на мой взгляд, детектив Чейза. Произнеся свой тост и сказав кучу теплых слов, причем совершенно искренно, я торжественно вручил книгу шефу.

Наступила странная тишина. Шеф встал и, бледнея и заикаясь, сказал: «Я, конечно, понимаю, что хороший редактор — это мертвый редактор, но зачем же ты так, Саша? Ты, наверно, пропитался восточной жестокостью на своих семинарах по ушу...» И дальше все в таком же духе.

Ларчик открывался просто: детектив назывался «Мертвые молчат». Честное слово, это получилось нечаянно! Но последующие полгода шеф меня уже не выживал из редакции. Шутки подсознания, как квалифицировал это Костя-экстрасенс, и скрытая угроза, которая сработала. Может, я и в самом деле такой нехороший?

Редакция встретила меня как любимая женщина. Состояла она и в самом деле из нескольких дам: бухгалтера Наташи, наборщицы Светы, ответсека Галки и корреспондентки Танечки. Я со всеми нежно поздоровался, а кое с кем и обнялся. Но идилия длилась недолго.

Шеф, на удивление трезвый, восседал над рукописями, как нахохлившийся гриф над мертвечиной. В тусклом подвальном свете это было мрачное зрелище. Он клевал рукописи графоманов ручкой, как клювом, и делал это с угрюмым упоением. Я сел напротив, тихий, как мышка-норушка, и подобострастно уставился на него.

— Не строй из себя паиньку, троглодит, — недовольно молвил Иваныч, сурово сдвинув совиные брови. — Ты вот лучше послушай, что тут пишут...

Я послушал. Хмыкнул. Неужели он меня вызвал для того, чтобы зачитывать мне этот знакомый до оскомины графоманский бред?

Шеф понял мой безмолвный вопрос.

— Так для чего я тебя позвал... Во-первых, помоги добить номер. Зашиваемся. Завтра сдаем — и учредители отправляют нас всех на январские каникулы. Отпуск твой таким образом продляется. Во-вторых, тут такое дело... Ты хоть посмотрел последние номера? — Хмуро сощурившись, Иваныч откинулся в кресле и напоминал уже не грифа, а Наполеона, который вроде тоже был небольшого росточка и тоже похож на обезьяну... Да что же это мне обезьяны мерещатся везде!

Нехотя я стал листать два последних номера «МиРа», которые шеф перебрал ко мне через стол. Заголовки были один краше другого: «Снежные люди среди нас!», «Ельцин умер — да здравствует его двойник!», «Молодежная политика мэрии: выбирайте пепси и пиво!», «Секс-марафон в вечерней школе», «Классификация пришельцев»... Мне стало не по себе. Пока я отсутствовал, похоже, количество пошлости и дешевки на один квадратный сантиметр газетной площади увеличилось на порядок. Я вел «Культуру», Таня Синицына — «Социальные проблемы», она на больничном... Значит, это разгулялась Танечка Сафронова со своей любимой эзотерикой!

— Ну что? — нетерпеливо спросил шеф.

— Да ничего, — буркнул я.

Действительно — ни-че-го. Ничего стоящего внимания.

И вдруг меня как током ударило. Я добрался до последней трети газеты, где у нас «Свободная трибуна», что-то вроде газетного Гайд-парка: там можно выдать все что угодно, хоть крыть президента и правительство. Прямо в глаза шибануло знакомое название. «Заговор обезьян» — было набрано крупными, жирными буквами. И под ними — мордастая наглая обезьяна, сидящая в задумчивой позе роденовского мыслителя, держа в лапе человеческий череп. Ну ни фигя себе! На целых четырех полосах, разворотах, броские знакомые заголовки: «Обезьяны и история», «Обезьяны и политика», «Обезьяны и секты»...

— Откуда это, Иваныч? — пресекаясь от волнения голосом спросил я.

Неужели возможны такие случайности, такие совпадения? Нет, это уму непостижимо...

— Бомба! Бомба для председателя, как писал незабвенный Юлиан Семенов, — довольно сощурился шеф.

Надо же, у него еще имеется какая-никакая эрудиция... Не знал он, как близок я к тому, чтобы обнять и расцеловать его, хитрую серую обезьяну с вечно подмигивающим жуликоватым глазом! Как он решился напечатать *такое* — он, бывалый номенклатурщик?! Наверное, здесь сыграли роль его политические пристрастия — нелюбовь к нынешней власти за то, что он при ней потерял: он ведь когда-то приехал в наш город преподавать в ВПШ, делать карьеру, а тут грянула перестройка...

— Но ты посмотри, Саша, свежим взглядом, на предмет остроты — не зарвались ли мы... Я тут сам перечитал и ахнул. Куда там «Советской России»! Не оторвут ли нам голову за *это*? А мы еще продолжение заявили...

Как ты прав, старый хитрый Иваныч! Именно так. Мы же понимаем, что вся эта лапша на уши про свободу слова — это для нашей прозападной интеллигенции, готовой любую туфту проглотить, лишь бы не лишиться своих иллюзий. Ты, наверно, под градусом был, когда решил «Заговор» в номер поставить...

— Будет сделано, посмотрю! — Я встал и щелкнул подошвами кроссовок.

Сел на свое рабочее место и нырнул в чтение. В первом, поначалу выпавшем из поля моего внимания номере было то, что я уже читал. А вот во втором — кое-что новенькое. От сатиры и хохмы, от теоретического введения Витька перешел к обобщениям и даже к аргументации, к примерам... Остроумен, ничего не скажешь!

«Больше всего обезьян на телевидении. Особенно среди телеведущих. Некоторые — заморские, их специально за границей обучали всяким обезьяньим штучкам... Самое лучшее обезьянье кино в мире — американское. Поэтому его и крутят непрерывно на нашем телевидении — чтобы лучше усваивались их обезьяньи ценности...»

Итак, пока мы с Серым, как дураки, роем землю, ищем непонятно где — разгадка здесь, рядом. Вот почему *они* принялись за меня.



Поняли, что в любой момент я могу просто открыть номер своей газеты и... Вот почему Витька в тот вечер спрашивал меня про газету, про шефа, допытывался, что именно мы публикуем. Он, наверно, не знал, что я в отпуске, как-то речи об этом не зашло. И самое нелепое, что шеф доставал все эти дни меня по телефону, а я, лопух, сам не шел к нему за разгадкой. Вот вам и магия обезьянообразных! Все материально, не надо никакой мистики...

Был такой давний американский фильм «Теория заговора», в котором главную роль играл Джек Николсон. Там герой, таксист, считал, что существует глобальный заговор против человечества, сыпал всякими фактами, цифрами, делился с пассажирами. Вроде бред, и вдруг на него начали охоту, чтобы грохнуть. Что-то он зацепил реальное... Что и кого мог зацепить Витька?

Я опять углубился в чтение. Ай да Иваныч, ай да сукин сын, что напечатал! Ну просто «безумству храбрых поем мы песню»!.. Но чтобы кому-то конкретно хвост прижать — нет этого. Может, ближе к концу намечается?..

— Иваныч, а что там дальше-то будет? — спросил я, подсаживаясь к шефу, как к отцу родному.

— Заинтересовался, — довольно улыбнулся начальник и, к ужасу моему, достал-таки заветную бутылочку из ящика стола.

— Ну-ну, по капле — для серьезного разговора, — заметил он мою реакцию и булькнул в чайные чашки что-то темное и пахучее. — Выпьем и поговорим по-трезвому. Что бы вы делали без меня! Ну, как он им врезал?! Развалили, падлы, великую страну... Давай, за славное прошлое!

— Когда продолжение-то будет? И что там? — Морщась, я хлебнул коньяк, похоже, какой-то самопальный, и закусил мятным пряником, заботливо поданным Иванычем.

— Принесут. Первую-то часть твой друган сам принес. Он тебя спрашивал, да не застал — ты в отпуск от работы сбежал...

— Иваныч, не тяни кишки! — взмолился я.

— Я просмотрел и решил — дам! Вот вам, гады, как вашу нынешнюю власть оценивают народные массы!

Это Витька-то — народные массы?

— А потом?

— Вторую часть твой Виктор почему-то прислал по почте.

— А третью? — Я весь обратился в слух.

По-моему, вся редакция спинами давно уже слушала наш разговор.

— Третью часть принесут. — Шефа немного повело. Ему много не надо, у него это уже болезненное. — Буквально вчера звонил какой-то мужик. Нет, не твой друган, голос не тот — у этого уверенный такой, начальственный. Сказал, на днях принесет третью — и последнюю — часть...

— О чем она будет? И когда он ее принесет? — нетерпеливо спросил я.

— Ты не лезь поперек батьки в пекло. Все скажу, — благодушно отвечив, Иваныч, на удивление пронизательно взглянув на меня. —

О чем она будет, один их обезьяний царь знает. Хотя... Мужик сказал: «Вы же понимаете, что это художественная вещь, почти фантастическое произведение, и в нем много фантазии, преувеличений, допущений... А вообще-то, не бойтесь, что газету за такие публикации прикроют?» А я ему: «Когда в девяносто третьем Белый дом из танков расстреливали, я не боялся публиковать, что я об этом думаю». Короче, он понял, что я не из пугливых...

Этого у Иваныча не отнимешь. В отличие от многих коммунистов, которые жгли свои партбилеты и массажи вливались в строительство теперь уже капитализма, он действительно своих взглядов не скрывал, и не только в разговорах на кухне...

— Кстати, еще после выхода первой порции звонили из какого-то районного отдела по делам молодежи, спрашивали, мол, не думаете ли вы, что лучше воспитывать молодежь на положительных материалах о нашей действительности. А я им: «Вы мне положите на редакторский стол эти положительные материалы». В общем, они свалили в туман... А этому я сказал: «Если вы представитель автора, передайте, что заключительная часть должна быть не позднее чем через три дня. Номер выходит в четверг, а нам еще нужно все выправить и сверстать».

— Приходил мужик? — с замиранием сердца спросил я. — Принес рукопись?

— Нет. Но еще два дня в запасе, сегодня и завтра. — Шеф опять испытующе посмотрел на меня. — Ну так что скажешь — даем или нет окончание?

Если бы я не знал нашего хитрого Иваныча, я бы сразу купился: «Даем, конечно!» И получил бы по мозгам. Он не любит чужих инициатив. Он и правды, по большому счету, не любит. Он, как маленький газетный Наполеон, привык править всевластно. Ему не мое определенное мнение нужно — он на мне проверяет, так ли мудра его редакторская политика, и ему важно одобрение ее. Но не в лоб — тогда включается его выработанная карьерной борьбой подозрительность.

— Иваныч, ты начальник, тебе решать, — честно глядя в его хитрые глаза, сказал я. — Вещь острая, интересная, хотя и не бесспорная. Я, например, не знаю, решился бы на публикацию или нет. Даже «Савраска»*, не знаю, решилась бы?.. С другой стороны, печатать начали — значит, обязательства перед читателями взяли.

Так, сделан шахматный ход с расчетом на двух-трехходовую комбинацию. Решение он должен принять сам...

Шеф задумался. Казалось, слышно было, как скрипят его мозги.

Потом молча плеснул остатки коньяка в чашки. Мы закурили: я — «Петра», он — свою вонючую «Приму». Вся редакция ждала. Вроде бы все женщины занялись своими делами: Наташа уткнулась в бухгалтерские ведомости, Света стучала по клавише, Таня проглядывала свой

* «Савраска» (жарг.) — газета «Советская Россия».

эзотерический архив. Но у всех ушики на макушке. А ну как и в самом деле прикроют газету? После девяносто первого года ведь закрыли их целую кучу наши «демократы», чем не раз возмущался в этих стенах Иваныч...

Пока Чапай думал, я пробежался взглядом по нашему подвальному. Все то же. Бетонные стены, обклеенные нашими же газетами, как обоями, низкие потолки, несколько столов для сотрудников. Компьютер только на одном — у наборщицы и верстальщицы в одном лице Светы Сигаевой. Шеф все живет вчерашним днем: еле-еле уговорили его на компьютерную верстку, до последнего работал по старинке, благо в издательстве «Советская Сибирь» еще принимали бумажные макеты. Везде папки, рукописи, пачки нераспроданных газет...

— Ну ладно, Саша... — Шеф поднял чашку, и мы чокнулись. — Даем! Назвался груздем — полезай в кузов. Но пасаран! Коммунисты не сдаются!

И мы выпили эту теплую дрянь, которая даже клопами не пахнет. А потом я бросился к телефону — звонить Сереге и Наташке.

Глава 18

Сереги нет ни дома, ни на работе. Странно. Наташке я еще раз дал депутатский наказ: сидеть дома, заниматься ремонтом. Не открывать никому: ни милиции, ни почтальонам, ни собратьям «хищникам».

— Что случилось? — Она обеспокоилась, но не сильно.

— Да так, профилактика.

Это у нас такое условное понятие. Если я чьи-то интересы в газете задевал, мы некоторое время жили бдительно — мало ли что. Бывали звонки, угрозы и раньше. Наташка привыкла.

Я перебрал распечатки полос, приготовленных для корректуры. Сплошная аномальщина. В основном испеченная Танечкой Сафроновой.

— Тань, ты сама себя превзошла, — не выдержав, высказался я. — Нам надо переименовывать газету в «Вестник оккультизма». Или еще лучше назвать ее «Городская лабуда»...

— Что поделаешь, умные-то в отпуске! — огрызнулась Танечка.

Я посмотрел на нее укоризненно и пошел в наш «курытник», куда уже потянулись женщины, пользуясь тем, что Иваныч после коньячка так и задремал, сидя над рукописями.

— Ну, что у нас плохого? — закуривая, спросил я нашу длинноногую ответственную секретаршу Галку Ушанову.

— Да у Иваныча, блин, крышу сносит. Он уже нас пробует спаивать, — зашипела Галка, которой наконец представился повод спустить пар. — Я, блин, скоро кусаться начну за ноги! Он с тобой все воевал-воевал, а тут жалеть начал. Эх, Сашки, мол, нету, не хватает мужиков в редакции. Это, блин, бабье царство, а не редакция!

Света Сигаева усиленно закивала, опасливо поглядывая на дверь.

— А тут еще приходят какие-то придурки, — спешила поделиться наболевшим Галка. — Трое, один другого краше. Как из психушки сбежали. Один весь в бороде, рожи не видно, главный. У другого глаз кривой, третий заикается...

— Да ладно жутики рассказывать! — засмеялся я и поперхнулся дымом.

Вообще, редакция молодежной газеты, пишущей на всякие экзотические темы, притягивает к себе как магнитом странных людей. Они идут к редактору, как ходоки к Ленину. Среди них может встретиться и внебрачный потомок Льва Толстого, который, чтобы мы написали о нем, поет и пляшет вприсядку. Или «феномен», к которому прилипают железные предметы, — от него мы потом отрывали железную ручку Иваныча, кипятильник и коробку со скрепками... И я не шучу, в самом деле было однажды такое! Может, он, конечно, под одеждой магнитов нацеплял, не знаю...

— Они представились: мы, блин, из общества «Живая вода», будем возрождать языческие истоки Руси. Ходили, осматривали помещение, не подойдет ли для них, — заспешила Галка, а Сигаева в подтверждение ее слов все кивала. — Осмотрели наш подвал, потом бойлерную. Говорят, там у них будет резиденция, а в туалет они будут ходить к нам, потому что как же без туалета!

Посмеялся бы я над нашими женщинами, да вспомнил ряженных «хищников». Может, и эти придурки из той же компании? Вот и меня заразил мой друган Витька своей подозрительностью!

— Молодые? — спросил я.

— Да нет, в годах, — ответила Галка. — По ним, видно невооруженным глазом, психушка плачет. А может, они уже оттуда сбежали. Сейчас, говорят, не на что психов и венерических содержать, так больницы прикрывают, а их выпускают...

Ну, в общем, почему бы и нет? Не надо искать обезьян в темной комнате. Особенно если их там нет.

— Неужели Иваныч с ними пил? — полюбопытствовал я.

— Нет, до этого он еще не опустился, — гордясь непутевым шефом, сказал Галка.

— А хорошие новости на планете Земля есть? — спросил я.

— Клевую вещь Иваныч напечатал! Про обезьян, — попробовала переключиться на оптимистическую волну Галка. Сигаева по-прежнему кивала. — Мы так веселились... вначале. А потом что-то хреново на душе стало.

— Да ну вас! — расстроился я. — Ничего доброго сказать не можете! А ты, Светик, что все киваешь, как китайский болванчик?

— У нее, блин, зубы от переживаний болят, — объяснила Ушанова. — А пока номер не доделаем, Иваныч сказал, никаких зубных, вот водки, мол, могу дать для анестезии, проверенное народное средство... Ну ладно, пошли работать.



Мы перетекли из «курятника» в редакцию.

Я механически вычитывал материалы для раздела «Чудеса в решете».

Иваныч кемарил, женщины углубились каждая в свое. Сигаева стучала как дятел, набирая тексты. Ушанова макетировала. Наташа опять заполняла какие-то ведомости. Сафронова договаривалась по телефону о встрече с каким-то очередным уникамом.

— Тань, железные предметы в сейф прятать? — подал голос шеф, делая вид, что он как огурчик, бдит на посту и вовсе не спит.

— Нет, Анатолий Иванович, разве что круглую печать спрячьте, — отозвалась Танечка.

— Вместе с сейфом, блин! — подала голос Галка.

Сигаева и Наташа захихикали, но тут же замаскировали смех под кашель. Все-таки веселая у нас компания, и жизнь газетная веселая... иногда, если к ней с юмором относиться.

Не шла у меня работа. По несколько раз перечитывал одно и то же. Ну не люблю я чудеса, хоть в решете, хоть без решета! Особенно раздражали меня астрологические прогнозы на текущую неделю, которые поставлял шефу известный в городе астролог Михаил Подзвездный. Ну как вам понравятся, например, такие пожелания для Стрельца — Сереги: «Скромность украшает человека с этим знаком, а активность делает его заметным и необходимым людям. Как раз на этой неделе из разнообразнейшего набора ваших самых замечательных качеств вам лучше всего использовать свою силу, энергию и неутомимость. Вашу природную тактичность проявить сможете потом...»

А для меня — Девы? «Зачем мучиться и рисковать понапрасну? Ваше счастье рядом с вами, осталось только протянуть руку и достать его. Впереди красивый и безоблачный период. Вас ожидает много нового и интересного: встречи, знакомства, дела, проекты, предложения, спор-призы...» Три ха-ха...

Тут как раз и представитель «чудес в решете» пришел, сел за соседний стол к Танечке, и она начала с ним интервью. Он руководил каким-то клубом здоровья «Назад к природе» и рассказывал, как они там ходят на четвереньках — так, мол, разгружается позвоночный столб, устающий за день от прямохождения. Я внутренне застонал и заткнул уши руками.

К счастью, попалась забавная заметка «Обезьяна-фермер», выдранная откуда-то из зарубежной печати: про шимпанзе, который ездил на тракторе, возделывал сельскохозяйственные культуры. Она вернула мои мысли к нашим обезьянам.

Интересно, с ментовкой это не может быть связано? В вытрезвитель я сам по себе или с чьей-то помощью попал? Может, Витек обидел спецслужбы? Может, у него в записях было что-то про них? Да ну, не в их правилах так мелочиться. Да и уровень совсем не профессионалов: примитивный шантаж, давление на психику телефонными звонками, мелкую шпану натравили... Имеет ли отношение ко всему этому смерть Андрю-

хи? Если да, то все это серьезно — по намерениям, во всяком случае... Вряд ли, не надо накручивать. Меня убить хотели или только рукопись забрать? Если убить — то все серьезно. Так ведь не убили. И зачем забирать рукопись, если все равно уже публикация намечена? В общем, ясно, что ничего не ясно...

— Афанасий Петрович, а ваши магические способности откуда? По родовой линии? — Я вынырнул из своих мыслей, и Танечкин голосок назойливо пополз в уши.

— Нет. Вы, наверное, слышали о лесной деве Анастасии и ее деде. Они ко мне приходят во сне и учат, — отвечал уверенный, самодовольный мужской голос.

— Что же вы от них узнали?

— Нам были даны некоторые технологии жрецов Древнего Египта... Господи, что же мне сделать, чтобы этого не слышать?! Уши заткнуть неиспользованными рукописями?..

— А что это дает?

— Практически неограниченные возможности по управлению здоровьем. Можно остановить любую болезнь и ликвидировать ее последствия, можно увеличить рост или снизить вес, можно исправить зрение, вырастить новые зубы, омолодить организм, изменить внешность... Короче говоря, даже не знаю, чего нельзя сделать!

Мое терпение кончилось. Я оглянулся и рассмотрел Танькиного «уникума». Представительный, вальяжный даже, в модном прикиде, коротко стриженный и мордастый, с крепкой челюстью. Не голодающий с Поволжья, нет. Он встретил мой взгляд — наверное, почувствовал сочащуюся из меня антипатию.

— А деньги вы за обучение в своем клубе берете? — вежливо спросил я, несмотря на Танькин возмущенный взгляд и кивок на включенный диктофон.

— Да. И еще я плюс к занятиям провожу для всех желающих лекции о смысле жизни, — довольно благодушно ответил Афанасий Петрович. — Практика показала, что бесплатно этого делать нельзя. Доставшееся даром быстро теряется.

— Ну и сколько стоит смысл жизни по вашим расценкам? — с ушмешкой поинтересовался я.

«Уникум», улыбаясь, назвал цифру.

— Недорого, — усмехнулся я еще нахальнее.

— Мы не наживаемся на таких вещах, — улыбнулся он еще благодушнее.

Смотри-ка, за словом в карман не лезет!

— Анатолий Иванович! — наконец возопила Танька. — Саша мне мешает брать интервью, хамит... Я в него сейчас диктофоном кину!

— Все, все! Никого не трогаю, починаю примус, — засуетился я, изображая испуг и ныряя в рукописи. — Извините, был неправ, свои прошлые ошибки заглажу новыми... Вы, Афанасий Петрович, не сердайте, я дико извиняюсь за свое плохое воспитание...

— Александр, кончай паясничать! Татьяна, стоимость диктофона, если что, вычту из твоей зарплаты! И вообще — уволю всех на хрен! — Шеф проснулся и бушевал, как разъяренный Зевс, чем произвел впечатление на «уникума».

— Да с вами тут не соскучишься! — засмеялся он. Так же вальяжно, как выглядел. Интересно, он и сам на четвереньках ходит или только других заставляет? — В общем, завтра я приду сверить текст, да, Татьяна Сергеевна? В принципе, мы ведь уже закончили, не так ли?

Расстроенной Татьяне оставалось только кивнуть. На меня же она взглянула как на смертельного врага. Я мило улыбнулся в ответ. Афанасий Петрович пожал Иванычу руку, Танину ручку галантно поцеловал, мне кивнул — и с достоинством удалился.

Так и катился этот рабочий денек под откос. Телефон Сереги не отвечал. Дома все было спокойно. Интересных посетителей в редакции больше не появлялось. Танька дулась, Галка и Света переглядывались — когда же шеф подастся из редакции, Наташа хмуро сводила свои бульдо с салдо, а те, судя по ее вздохам, никак не сводились. Иваныч, проснувшись, заработал как трактор, и мы с ним вдвоем вычитали практически весь номер. Оставались последние новости на второй полосе, которые лучше добить завтра, и разворот под окончание «Заговора обезьян», которое пока так никто и не принес.

— Саша, — мрачно посмотрел на меня Иваныч, — если завтра окончания не будет, ты у меня, как Матросов, ляжешь на амбразуру! Закроешь дыры собственными материалами. Твой все-таки товарищ, тебе и отдуваться! Макет в «Советскую Сибирь» везем вечером, а обезьяны чтобы были в обед!

На этой оптимистической ноте мы все стали прощаться и разбегаться по домам.

В буквальном смысле разбегаться, потому что «тучи над городом встали», как поется в известной песне. Чтобы не попасть под ливень, я, вместо того чтобы ехать на рейсовом автобусе, как делаю обычно, прыгнул в маршрутку и уже через полчаса, в рекордно короткое время, был в родном сельскохозяйственном научном поселке. В свой подъезд я мчался уже под первыми каплями. И, как оказалось, не зря мчался.

Тревожный звонок прозвенел в голове, когда я остановился под бетонным козырьком и собирался открыть дверь в подъезд. Звук ли какой, шорох, шепот, — не знаю, это воспринималось на интуитивном уровне. Наш тренер учил нас не бросаться сломя голову навстречу опасностям. Так можно и по голове получить, говорил он, сканируйте пространство глазами, ушами, шестым и седьмым чувством, пусть в вас всегда работает сторожевая программа, когда вы идете по улице, когда входите в подъезд... Она и сработала у меня на автомате, хотя я уже давно бросил заниматься.

Я прислушался. Было тихо. Но так же явственно, как надвигающаяся гроза, ощущалась опасность там, за дверями. Если бы не Наташка, я

бы сдал назад. Но женщины — это наше слабое место, ахиллесова пята, и никуда от этого не деться. Мы, мужики, их приручаем, и нам за них отвечать.

За томительную минуту созрело решение — тоже в духе уроков нашего тренера. Он обозначал это как принцип Колумбова яйца — искать нестандартное решение, которое трудно предугадать. Не каждый ведь поставит куриное яйцо вертикально, а Колумб поставил... Ну да ладно, мы ребята простые, и Америк нам не надо открывать. Всего-навсего надо забраться на козырек подъезда, где уже неделю разбито окно, ведущее на площадку между лестничными пролетами. Подтянуться, зацепиться ногой и с козырька потихоньку, чтобы не звякнуло битое стекло под ногами, глянуть, что делается внутри, пробраться туда и помягче спрыгнуть в подъезд. Что я и сделал, уже оценив ситуацию и не изображая из себя Брюса Ли. Вместо того чтобы бежать и вырубать ждавших меня внизу, я, наоборот, мягко и скачками рванул вверх, где виднелась приоткрытая дверь в нашу квартиру и откуда слышался непонятный пока шум.

Я скользнул в щель и, услышав голоса и топот снизу, просто захлопнул ее за своей спиной. Щелкнул замок. Пробежав по коридору, я вылетел в зал — и вовремя. Какая-то темная фигура хватала мою Наташку своими лапами и старалась зажать ей рот, а Наташка кусалась и отчаянно брыкалась. Тут мне помогла стихия. Громыхнул гром, заглушая шаги, я незамеченным преодолел полкомнаты, и тут молния все высветила. Черная фигура обернулась в последний момент перед моим прыжком — на меня смотрела оскаленная морда черной обезьяны из моих снов...

Я, зажав в кулаке связку ключей, которыми не пришлось открывать квартиру, врзал по этой морде... без какого-либо ущерба, будто попал во что-то мягкое и упругое. Да это же маска Кинг-Конга, боже ты мой! Такие продают умельцы на рынках...

Маска ответила мне сокрушительным ударом ноги, от которого я отлетел на пару метров. Во входную дверь начали ломиться. Наташка наконец заорала, да так отчаянно, что обезьяну, похоже, поразил акустический удар. Она не стала добивать меня, оставила в покое мою супругу и помчалась к балконной двери. Неужели во второй раз у них пройдет этот номер с бегством через балкон?! Я погнался за своим неведомым противником, забыв про все наставления тренера: некогда было думать, прыгать надо было.

И мы прыгнули с балкона: вначале он, а потом я. Метил в него ногами, но Кинг-Конг неожиданно ловко откатился в сторону, и на меня, упавшего на бок, уже смотрел ствол пистолета.

Не надо недооценивать противника, учил нас тренер... И это было последнее, что мелькнуло в моей глупой голове. Затем он выстрелил. Я не успел ничего сделать, и струя газа ударила мне в лицо.

Глава 19



Минут через десять, длившихся как час, весь в соплях и слезах, подерживаемый Наташкой, чихая и ругаясь, я поднялся в квартиру и промывал в ванной глаза холодной водой от едкой дряни.

— Что происходит? — со страхом спросила моя благоверная. — Что за образина ворвалась к нам в квартиру?

— А зачем ты открыла?

— Я думала, это ты...

О доверчивые женщины! Кажется, наша двухлетняя совместная жизнь должна была научить ее осторожности, но в этом вся моя беспечная Наташка — училка литературы в школе и по совместительству не наигравшаяся еще со студенческих времен «хищница».

— Саша, ты не переводи стрелки. — Она проводила меня на софу в спальне — единственном месте, не подвергшемся пока ремонтному погрому, — и положила мне на глаза мокрые холодные ватные тампоны. — Объясни все как есть, а не вешай мне лапшу на уши. О ком ты на этот раз написал?

— «Саша»! Как официально, никаких «зайчиков», никакой жалости, — проворчал я. Ну что, про обезьян ей рассказывать?.. — Уй, как больно, больно-то как...

— Давай скорую вызовем.

— Нет!

Все, я пришел в себя. Объяснил, как мог, про исчезновение Витьки, который моей Наташке был симпатичен, в отличие от Сереги, хотя и не являлся почитателем Толкиена. Ей нравилось, что он не от мира сего, что он такой необычный... Ну, например, он коллекционировал биографии наших поэтов и писателей, считал, что мы о них почти ничего не знаем и что они гораздо интереснее написанных ими книг. У него был целый стеллаж с папками, в которых он хранил разные сведения о них, и я частенько пользовался этой информационной базой. Когда Витек начинал рассказывать о ком-нибудь из своих любимцев, Наташка, как литератор, млела и говорила, что это преступление, что такие люди, как он, не идут в школу воспитывать подрастающее поколение. Мы иногда засиживались так за полночь в нашей маленькой уютной кухоньке и трепались за жизнь и литературу.

В общем, я рассказал жене обо всем, кроме обезьян. А в конце задушевно предложил:

— Натаха, давай ты к маме съездишь в деревню денька на три?

Нет, она рвалась в бой! А я еще неосторожно рассказал о мнимых «хищниках». Ее это задело, и она решила призвать на помощь целую армию настоящих, чтобы защитить доброе имя Толкиена. Если еще и с ее мужеподобной подругой во главе — я с разбегу буду биться головой о стену...

— Завтра на работу не ходи, — продолжала заботиться обо мне Наташка.

Подкладывала мне подушки под голову, готовила чай с тостами в постель, чтобы я перестал заводить разговор о ее поездке к маме. Кончилось все постельной сценой, после которой мое согласие было так выврано в обмен на разрешение, что я пойду на работу.

Как же мне туда не идти? А кто будет караулить того, кто принесет рукопись?

Тут в дверь довольно громко ударили. Возможно, ногой. Потом еще пару раз...

— Что это? — испуганно спросила Наташка, успевшая уснуть на моем плече.

— Это счастье стучится в наши двери, — мрачно пошутил я и пошел посмотреть, кто там ломится.

В глазке виднелся недовольный Серега, про которого я, нехороший человек, забыл.

Я вышел к нему.

— Что, Наташка приехала? — сразу догадался он.

— Угу.

Мы спустились на лестничный пролет ниже, закурили и поделились новостями о событиях сегодняшнего дня. Честно скажу, Серый офонарел от того, что я ему рассказал. Сам он проездил весь день, как дурак, с риелтором Вадимом, владельцем «тойоты-короны», вроде как квартиры смотрел, а в конце, когда тот поставил машину на охраняемую автостоянку, они еще по пиву ударили.

— Не он, гадом буду! — буркнул Серега. — Еще и потому, что, пока вы тут с Кинг-Конгом развлекались, мы в пивном баре сидели. А вот про рукопись — это круто, старик! Значит, все-таки обезьяны, а не другие какие крокодилы... Будешь завтра в редакции сидеть, отпускной ты наш. А я разберусь с этим военно-спортивным клубом, с их командиром. Рукопашный бой, мордобойные искусства... Вон как тебя этот черный уделал! Спец, сразу видно. И тот наверняка спец... Потом наведуось в Андрюхину фирму. Может, попросишься у своего Иваныча в клуб? Мол, хочу патриотический материал написать. А то вдруг меня тоже побьют?.. — Серега зло рассмеялся.

— Сейчас, отпустил он, разбежался! — огрызнулся я. — Это когда мы номер сдаем и Витькин материал может в черную дыру превратиться? Караулить буду этого товарища, который рукопись принесет...

— Он что, с елки упал — так светиться? Знает же, что ты уже в курсах. Пошлет кого-нибудь. Да с той же курьерской службой отправит.

— Я думаю, он может попробовать сделать все тихой сапой. Курьерская служба — это тоже светиться. Запомнят ведь его, да и бумажки какие-то там надо заполнять.

— Много народу в редакции бывает за день? — поинтересовался Серега.

— Когда как. Человек десять-пятнадцать частенько бывает. Авторы идут косяком, кто-то работу ищет, кто-то темы предлагает...

— Ну ладно, ты его сильно не бей, если попадетсЯ, — дубово пошутит Серега. — За ним лучше проследить, чтобы выйти на Витька. Тихо, мирно, как в частном сыске, когда за женами следят, чтобы выяснить, откуда у мужа рога растут.

— Не учи Тараса Бульбу, как сына воспитывать. Кстати, после того, как рукопись попадет в редакцию, Витька им больше не будет нужен. Может, отпустят...

— Или грохнут, раз он им на мозоли любимые наступил, — как всегда, обнадежил Серега.

— Типун тебе на язык! До завтра.

— Чао-какао!

И мы, бросив недокуренные сигареты в банку на окне, расстались, каждый пытаясь предугадать, что нам грядущий день готовит.

Глава 20

НесмотрЯ на последний день перед выходом газеты, а может, именно поэтому все сползались в редакцию «МиРа» как сонные мухи. Особенно хороша была Галка Ушанова, которая засиделась вчера до ночи, макетируя поздно поданные полосы: под глазами, красными, как у кролика, зелень — не надо никакой косметической тени наводить.

— Ну что, последний рывок, бабоньки! — призвал редакционных женщин к трудовому героизму Иваныч. — А потом все в загул на две недели. Галка — на Канарские острова, Света — в деревню картошку окучивать... Наташа нам уже отпускные начислила. А Саша, — он сурово посмотрел на меня, — если сегодня не будет материала от его друга, поедет в зоопарк у обезьян брать интервью — что они, падлы, думают о заговоре...

Огрызаться с утра никому не хотелось. Вместо утренней зарядки подымили в «курытнике». Только шеф привилегированно курил свою любимую «Приму» за рабочим столом, стряхивая пепел в пепельницу-акулу, наверное символизирующую «акул пера», и перебирая бумаги из стопки перед собой.

— На Канарские, как же... — тихо прошипела Галка, косясь на полоткрытую дверь. — Скорее, в скорбный дом на Владимировскую... Вчера несколько раз менял заголовки в уже готовых полосах! На фиг надо — переделывать все по нескольку раз! У меня уже крыша едет от всей этой лабуды, которую насобираала Татьяна. И Иваныч ведь все ставит... Любимица, блин! Вон задерживается, отсыпается — и ничего, ни слова...

— Галочка у нас за всех отдувается, особенно за некоторых отсутствующих мужиков, — хитро и одновременно простодушно сказала Света Сигаева, мать двоих взрослых непослушных сыновей и бессменная наборщица со дня основания газеты. Похоже, цитировала шефа. — Она наша гордость и надежда.

— Что, Света, зубы отпустило? — кисло спросил я. — Поделись рецептом, вчера только кивать могла, а сегодня...

— Чеснок надо к пульсу на руке прикладывать, с другой стороны от больного зуба, — честно поделилась Сигаева.

— Ни фиги себе! И помогло? — заинтересовалась Галка. — Может, мне голову тоже чесноком обложить? Болит, зараза, не могу...

— Ну, я еще анальгина упаковку за ночь съела... и какое-то импортное лекарство... — призналась Света.

Разочарованные в народной медицине, мы с Ушановой тронулись из «курятника». Света призадержалась — курила и ловила кайф оттого, что зубы не болят.

Постепенно день входил в обычную колею. Каждый занимался своим делом. С утра, как обычно, посетителей не было. Потянутся они ближе к обеду. Иваныч на удивление сосредоточенно корпел над последними материалами. Я, памятуя о его угрозе, что в форс-мажорных обстоятельствах буду затыкать амбразуру собственным телом, стал перебирать бумажный редакционный хлам. На глаза попала стопка газет, которые остались от нашего прежнего коммерческого директора Женьки Кострикова. Он был большим любителем бульварной прессы. «Экспресс-газета», «Скандалы», «СПИД-инфо», «Комок»... Время от времени Иваныч, когда не было ничего другого под рукой, выискивал что-нибудь отсюда и, слегка видоизменив, ставил в номер. Журналистская этика, господа, это для каких-нибудь юнкоров, которых он иногда собирает вокруг себя на платных курсах журналистики.

«Я — бывшая... мужчина!», «Сегодня женщина дешевле ишака» — это из «СПИД-инфо».

«Земфира снялась в порно!», «Если ребята решат заняться групповым сексом — это их дело!» (о передаче «За стеклом») — «Комсомольская правда».

«Инопланетяне уже на Земле! Разоблачена агентурная инопланетная сеть» — «Голос Вселенной» (Печатный орган Высшего Разума Мироздания).

«Все мы немножко людоеды» — «Скандалы»...

Наверное, у них засилье обезьян в редакциях, невесело подумал я. Покосился на Танечку — как она еще не обнаружила эти «сокровища»? — и потихоньку бросил их в черный мусорный мешок.

Глава 21

Стал разбирать свои бумажные залежи в столе и на столе, соображая, чем же можно заменить «Заговор обезьян» при худшем развитии событий. Но мысли, как в известной восточной истории о краснозადой обезьяне, о которой нельзя думать, крутились как раз вокруг нее. Вспоминалась «Планета обезьян» Пьера Буля, в которой обезьяны сменили человека в процессе эволюции, «Обезьяна приходит за своим черепом» Домбровского, даже Зоценко что-то писал про обезьян... С ума они все походили с этими обезьянами!

Краем глаза и краем уха я не забывал следить за посетителями. Сегодня они выглядели вполне обычными, удивляться было нечему.

То ли дело потомок Льва Толстого, про которого я уже упоминал. Или скромная с виду девушка-медсестра, что принесла нам для публикации порнографические рассказы, которые писала на ночных дежурствах. Агата Кристи в подобных обстоятельствах сочиняла детективы, а эта... Впрочем, что с нее взять: молодое поколение по-обезьяньи перенимает то, что ему предлагают старшие литературные «учителя». Она, кстати, не испытывала ни малейшего смущения перед нами, мужиками.

Несли рукописи авторы. Забрел подвыпивший сантехник, но это он промахнулся: путь его лежал в бойлерную — что-то там проверить, подкрутить... Пришли школьники — шеф занимался с ними два раза в неделю журналистикой, растил молодую смену. Сегодня он их отправил восвояси. Настроение у него было хреновое, понятно почему. Сидел, бросал на меня иногда, отрываясь от бумаг, взгляды-молнии — этакий Зевс-громовержец в миниатюрном и безбородом варианте. Но впереди еще был день, так что утро стрелецкой казни переносилось по техническим причинам как минимум на вечер...

Забегал муж к Свете Сигаевой. Они собирались после работы на родительское собрание в школу к сыну, о чем-то пошептались. Приходила пара рекламщиков — пожилой дядечка из какого-то НИИ и важная дама с неизгладимым отпечатком принадлежности к торговле на лице и одежде. Переговорив с Ушановой, они пересаживались к Наташе заключать договор о размещении рекламы.

Никто не был похож на гонца от обезьян. Ну и рукопись, естественно, после них с неба не падала.

В обед позвонил Серега из Андрюхиной фирмы. Прямо из приемной, где он ждал, пока его примет директор. Он так и доложил. Я понял это как Серегину военную хитрость — чтоб знали, что он не один, что нас много на каждом километре.

— Если что, разнесите эту халабуду вдребезги и пополам, задействуйте вариант «Зет», — внушительно сказал мой друг. — И если я не вернусь, не считайте меня коммунистом.

Представляю, какими глазами смотрела на него секретарша в приемной!

Однако десантуре, похоже, нужна была поддержка... Придется оголять фронт здесь, усилить там, мало ли чего. Да и неважноту уже было сидеть, ожидая у моря погоды. Ну ничего, надеюсь, не случится за час-другой.

— Иваныч, — подъехал я к шефу, заметив, что его взгляды стали менее пожароопасны. — Я сгоняю пообедаю в офицерскую столовую побыстрому...

— Отлыниваешь от работы, — желчно молвил Иваныч и свел совиные брови к переносице. — Я вон с собой сухпак прихватил, могу поделиться.

— Так всего две последних полосы остались и разворот под обезьян! И не хочу я начальство обирать, хочу горячего супчика хлебнуть, а то живот слегка побаливает.

Мы с шефом поспорили, как в пинг-понг сыграли: шарик туда — шарик сюда...

Звонок. Движимый нехорошим предчувствием, я первым схватил трубку.

— Эй, это ты недавно говорил по этому телефону?

— Я. А в чем дело?

— Товарища твоего в «травму» отправили, вел себя плохо. Будете лезть к нам не по делу, и тебе рога обломаем. Усек?

Шмяк! Бросили трубку. Опоздал...

Иваныч посмотрел на мою мрачную физиономию и решил-таки отпустить меня в столовую. Попросив Светку не в службу, а в дружбу держать под контролем ситуацию с рукописью, я рванул в травматологическое отделение клиники, которая располагалась неподалеку от Андрюхиной фирмы. Слава богу, всего минут пятнадцать на автобусе.

Когда я заглянул в кабинет, Серега лежал на кушетке и ругался с пожилой врачихой. Судя по тому, что голова у него была забинтована, первую помощь ему уже оказали. Судя по перепалке, от второй помощи он упорно отказывался.

— Ну так укладываемся или нет? — сурово вопрошала врачиха. — У вас сотрясение мозга. Полагается две недели постельного режима.

— Только если с вашей медсестричкой! — отбивался Серега.

Молоденькая белоснежная медсестра, потупив взор, заполняла за столом бумаги. Судя по румянцу смущения на юной мордашке, она на дежурствах всякой гадости не писала.

— Вы к кому?! — рявкнула на меня врачиха. — Посторонним нельзя!

— Я не посторонний. Это мой брат, — соврал я. — Он недавно выписался из психушки. Так что его туда надо класть, если что, а не к вам... Да и какое там сотрясение мозга, когда нечего сотрясать!..

Медсестричка посмотрела на меня и Серегу испуганно. Врачиха — неприязненно. Серега — одобрительно, хотя и с долей сомнения.

— В общем, я забираю его под свою ответственность, — выдал я. — Готов расписку написать.

Судя по гамме чувств и работе мысли на лице много повидавшей в своей жизни врачихи, можно было огрести и неприятности, но, взглянув на мое честное да еще украшенное дружелюбной улыбкой лицо, она решила уступить. Нам были даны необходимые медицинские рекомендации, и после этого Сереге разрешили отправляться домой.

— Психушка, значит, по мне плачет? — спросил он, когда мы оказались на улице, и тотчас закурил. — А если бы она выяснять начала?

— Ну не начала же, — парировал я. — Ты давай рассказывай, что там в Андрюхиной фирме произошло.

— Нет, не они... Падлы, похоже, не они. — Серега задумчиво потряс головой. — Больно, зараза!.. Охрана у них крутая, ничего не скажешь. Я наехал на их генерального, они мне и настучали по чайнику. Ничего мужики. Грубоватые, правда. Но потом пожалели, в «травму» дорогу показали... И тебе вон позвонили.

— Не будем им морды бить? — невинным голосом поинтересовался я.

Серега посмотрел на меня подозрительно, но издевки не заметил.

— Не-е, — честно сказал он. — Это профессионалы. С ними без ствола нечего ловить, а со стволом может быть еще хуже.

Небывалое дело: мой товарищ признал, что коса нашла на камень, что есть и на него управа! И не рвется к вендетте... Уговаривать его на постельный режим я не стал — знал уже, что бесполезно.

В редакцию мы приехали вместе. Я решил прихватить Серегу с собой, чтобы больше не наломал дров. Шеф покосился недовольно, но ничего не сказал: наверное, повязка его смутила. Дамы бросали на бравого десантника заинтересованные взгляды. Я сунул Сереге два последних номера «МиРа», и он с обалделым видом стал изучать Витькино творчество.

Я же, подсев к Свете Сигаевой, пробил потихоньку по телефонной базе адрес Афанасия Петровича. Не знаю уж зачем. На всякий случай. Хорошая штука эта телефонная база — по фамилии можно узнать не только телефон, но и где человек живет.

Никто не принес рукопись. Облом. Номер был готов за исключением разворота.

— Ну что, Саша, делать будем? — Голос шефа не сулил ничего доброго. — Последний срок — завтра в обед. Чем готов заменить?

— Иваныч, есть у нас в городе один военно-патриотический клуб, — как можно проникновеннее сказал я. — Можем с братом съездить к ним, возьму хороший материал...

После того как мы поторговались, как на восточном базаре, шеф дал добро. И мы опять отправились к злополучному подвалу...

Глава 22

— Ну и наворотил же наш писатель! — поделился по дороге впечатлениями Серега. С уважением, между прочим, что меня даже удивило. — Неужели из-за этой хренотени кто-то на него зуб заимел?

Подъезд как подъезд. То же расписание висит на подвальной двери. Вот он и клуб «Вымпел». И тренировка сегодня. Повезло? Или наоборот?..

Мы с Серегой зашли, как белые люди, через дверь.

Подвал оказался не тот, как оба мы с удивлением заметили. Одна комнатка была оборудована под спортзал, но никаких мишеней и восточных макивар не наблюдалось. Висела пара боксерских мешков.

Разминались обычные парнишки — кто в кимоно, кто в камуфляжной форме, — знакомых уродов не наблюдалось. Тренера пока не было... Серега остался ждать, а я вышел проверить возникшую догадку. Сказал — покурить. Пришлось обойти дом, пока нашел и прочитал номер и название улицы. Нет, Афанасий Петрович жил, к сожалению, не здесь...

Проходя мимо подвального окна, в которое мы так неудачно забирались с Серегой, я обратил внимание, что оно забито фанерой. Что-то подтолкнуло меня наклониться — может, звук, может, предчувствие — и заглянуть в щель... Внутри мелькнул свет.

Кто-то там есть. Сходить за Серегой? Нет, взгляну тихонечко, а уж потом...

Отжал лист фанеры, вполз горьковским ужом.

У них было что-то вроде коллективной медитации. Сидели человек десять на коленках. Глаза закрыты, морды дебильные. Вроде как где-то в астрале коллективно тусуются. А вот и их гуру собственной персоной — Афанасий Петрович! В позе лотоса восседает, надо же. В тренировочном костюме «Адидас».

Вначале они шумно дышали. Ну, этим нас не удивишь: йога, пранаяма, то да се... Очень по-нашему, по-российски — в грязном подвале прану набирать и чакры открывать.

— Дышим нижним дыханием, животом! — Голос у Афанасия Петровича был другой, властный, даже грубый. — Это естественное дыхание, это наша природа. Теперь — рык!

И вся толпа начала рычать каким-то нутряным, негромким, но внушительным рыком.

Так мы когда-то гудели в школе, изводя нелюбимых учителей.

— Вы наполняетесь жизненной энергией, — внушал Афанасий Петрович. — Вы будите ваше истинное «я», вашу природу, вашу силу!

От их угрожающего рычания, кажется, даже затхлый подвальный воздух завибрировал. От него закладывало уши и мутилось сознание. Интересно, слышат ли это безобразие жильцы первого этажа? Думают, поди, какой-нибудь трансформатор гудит.

Потом они принимали какие-то замысловатые позы, затем начали ходить на четырех конечностях.

— Почему у животных нет болей в спине? Они ходят на четырех лапах, — рокотал голос гуру. — Мы тоже не были рождены для прямохождения. Походим как животные, избавимся от комплексов. Позвоночник параллельно земле — он разгружается!

Все опять замерли на коленях с закрытыми глазами. Афанасий Петрович выкрикнул какую-то непонятную резкую команду. Все десять его учеников упали: кто набок, кто ничком, а кто навзничь — тела их сотрясались в конвульсиях. Ни фиги себе! Просто привет Кашпиоровскому! Это они раскрепощаются, освобождают свои тела от контроля, который до этого у них был.

Афанасий Петрович улыбался, глядя на своих подопечных — они все были в его власти. Он ввел их в транс и готов был ими управлять.

...И тут я опять получил по своей дважды глупой голове (второй раз по ней достается). Сзади. Вспышка, провал в беспамятство — темнота.

Пришел в себя оттого, что меня лупили по щекам. Открываю глаза, а куда деться... Вот они передо мной, родные до слез, — фальшивые «хищники». Кучерявый с бородкой скалится. Это он меня по щекам лупит.

— Ну вот ты и допрыгался, козел! — радуется.

Афанасий Петрович, наоборот, крайне недоволен: раскрыто его инкогнито, не спрячешься уже под маской. И ученики его прячутся на меня с любопытством.

— Сам ты обезьяна!

Ладно хоть не блатное «За козла ответишь!», но все равно немного стыдно. Как-то сами собой вспомнились школьные годы чудесные, общение со шпаной...

Кучерявый мгновенно взбесился — с первой попытки я задел его больное место.

— Ах ты, гад! — зарычал он и попытался меня пнуть, размашисто, как хороший футболист.

Но я не был похож на мяч и уже немного пришел в себя. И парировал удар встречным — стопой по голени. Он скривился от боли, и это его отрезвило, а мне дало время вскочить на ноги.

— Крутой, да?.. Сейчас по-другому запоешь...

Я отступил к стене, прохладная бетонная поверхность надежно прикрыла спину. Явную стойку принимать не стал, это все для показухи. Просто слегка согнул колени, опустил руки и расслабился. Стойка ожидания это называется, ребята, если вы не знаете. Готов к труду и обороне, хотя и толпа передо мной, и все пути к свободе перекрыты.

— И не стыдно, молодой человек? — после некоторой затянувшейся паузы издевательски спросил Афанасий Петрович, скрывая растерянность от моего появления здесь. — Пришли к нам без спросу и еще хамите.

— Зато вы джентльмен выше всяких похвал, — тут же отозвался я. — Особенно когда кучей на одного. Трусоваты, батенька, хоть и корчите из себя гуру... подвального.

Хотел зацепить словом и зацепил — умею. Вывести противника из душевного равновесия — этому меня еще мой тренер учил. Вот только ученик у него бестолковый оказался. Толковые в такие дурацкие ситуации просто не попадают.

Глазки обезьяньего учителя загорелись нехорошим огнем. Но он сдерживался. Ему нужно было сохранить лицо перед своей обезьяньей стаей.

— А вы из себя, Александр Степанов, никак героя корчите? — усмехнулся он. — Сталкивался я уже с одним таким героем, вашим товарищем, так он потом сопли по щекам размазывал: «Не обижайте, дяденька!»

Вот это да! Проговорился, скотина, когда я его самолюбие задел. Значит, несладко нашему Витьку в гостях пришлось.

Я тоже самообладание потерял... на миг. Чуть не бросился на Афанасия Петровича. Неплохой он психолог, ничего не скажешь. Но нет, извините, уважаемый... нет, неуважаемый, у вас этот номер не пройдет. Ведь тогда ваша стая меня просто по стенке размажет.

— Это про нашего друга Виктора, которого вы похитили? — с расстановочкой спросил я. — Между прочим, это преступление и подпадает под действие Уголовного кодекса.

Так, еще словесный удар, в расчете на публику. Кое-кто из ребят глазами захопал — не в курсе, значит. Даже кучерявый обеспокоенно посмотрел на учителя, на своих. Надо ковать железо, пока оно есть. Да и время потянем. Может, Серега появится, как в боевиках, на помощь...

— Справиться с нашим Витей, который муху не обидит, смелости много не надо. — Теперь мой голос звучал издевательски. — А сами-то, поди, пацанам лапшу на уши вешаете, какой вы всемогущий.

Сюрреалистическая, конечно, ситуация, и разговор соответствующий. Как они еще меня на куски не порвали? Может, пока не совсем потеряны для нормальной жизни его пацаны? Или просто команды «фас» не было?

Те, что со мной уже были знакомы, несколько завелись. Кучерявый даже шагнул вперед, но замер, глядя на шефа: каков будет приказ?

— Ладно, — раздумчиво молвил тот. — Достали вы меня, Александр Степанов. Преподам я вам урок, да и не только вам... Посмотрите на него, ребята! Это бумагомарака из дешевой газетенки «МиР». Думаете, он собой что-то представляет? Четвертая власть, да? «Кто владеет информацией — владеет миром...» Смешно! Они пишут то, что им скажут, продажные твари. Вторая древнейшая профессия...

— Что ж вы тогда к нам на поклон ходите, Афанасий Петрович, чтобы мы у вас интервью взяли, какой вы интересный и замечательный? — спросил я, перебивая поток его речи, которая начала уже гипнотизировать колеблющихся пацанов. — Кстати, парни, куча народа видела, как ваш учитель к нам в редакцию приходил. И вычислят вас без проблем, если что... Тюрьмой все это пахнет.

Еще очко отыграл. Расправа явно затягивалась. Хорошо, хоть дурь ребята не употребляют. А из состояния транса, в котором их учитель ими управлял, они уже вышли.

— Афанасий Петрович, дайте его мне! — загорячился неугомонный бородатик.

Поздно, кучерявый. Похоже, остальные твои друзья в сильном сомнении, да и сам гуру погрузился в задумчивость, просчитывая ситуацию. Как я его понимаю — столько ненужных свидетелей! Только бы про Серегу не брякнуть во время нашего задушевного разговора...

— Ну и что вы предлагаете? — усмехнулся Афанасий Петрович.

Уступил инициативу.



— А разойдемся, как в море корабли. Отпустите Виктора, и все забудем... — беспечно предложил я.

Вдруг срывается? Бывают же чудеса на свете.

— Э, нет, господин бумагомаратель! — скривило обезьяньего учителя. — Товарищ ваш сильно нам дорогу перешел...

Ну и дурак же он, хотя и строит из себя умного. Открытым текстом при всех во всем признается.

— Должок за ним, а долги надо возвращать, — продолжал Афанасий Петрович.

А может, это я дурак и он меня начал переигрывать? С моей-то больной ударенной головой немудрено.

— Деньги, что ли, он у вас занял? — спросил я. — Отдадим, если так.

Напряженная атмосфера. Воздух вокруг вроде даже вибрировать начал. Кажется, словами такие ситуации все-таки не решаются. Где же этот гад Серега?! Чего не мчится, как Чип и Дейл, на помощь? С тренером балакает? Я мысленно послал SOS сквозь все подвальные перекрытия. Нет ответа...

— Короче, — принял соломоново решение обезьяний гуру, конечно, с расчетом на воспитательный эффект для своих гавриков. — Ты парень рискованный и не трус... в отличие от некоторых. — Усмешка, взгляд на замершую пацанву. — Предлагаю такое решение вопроса. Посиди у нас денек в подвале, а потом гуляйте с вашим Виктором куда хотите. Пользуйтесь тем, что я добрый.

Что-то я ничего не понимаю... Кроме того, что ему зачем-то нужен этот день. Чтобы оставшуюся часть «Заговора» опубликовать? Так и я за это обеими руками! Но и для него какой-то резон в этом есть, пусть и непонятный для меня.

— Другое предложение, — возразил я. — Мы с вами сейчас, если вы не трус, устроим бой без правил, один на один. Уложите меня — посижу у вас в подвале, а лучше — с Витьком. А если я вас — отпустите нас на волю, и мы вас простим. А иначе...

— Пугать вздумали, Саша? — в глазах Афанасия Петровича снова загорелись нехорошие огоньки.

Только начали мирно разговаривать... Вообще-то, затянулась наша словесная дуэль, а ведь, как писал Антон Пальч, если ружье висит на стенке... Вон у них макивары висят. Зря они их бьют, что ли?

— Видиков насмотрелись?

— Ага, насмотрелся.

А уж ребята тем более, им нынче хлеба не надо — зрелищ подавай. Стойка ожидания моя стала напряженнее.

— Петрович, давай я его сделаю! — Это неймется бородатику, похоже главному помощнику Афанасия: ишь как фамильярно обращается.

А прочий народ безмолвствует, прямо как в «Борисе Годунове» у Пушкина. И не понять, хорошо это или плохо.

— Ладно, — принял решение обезьяний гуру. — С Диггером разомнетесь, я посмотрю.

— А потом с вами? — упорно гнул я свое.

— А потом со мной. — В голосе Афанасия Петровича наконец прозвучала мужская решимость.

— И отпустите, если я вас уложу?

— Отпущу.

Ну что ж, похоже, договаривающиеся стороны пришли ко вполне дурацкому решению. Создатели пошлых боевиков, на вашей улице праздник, вы завладели нашими умами!

Одна большая подвальная комната у них была, видимо, специально предназначена для боев. Серегу я из головы выбросил, полагаться приходилось только на свои силы. Состояние было нервное, и я успокаивал себя разминочными упражнениями. Кучерявый Диггер разминаться не собирався и зло сверкал на меня глазами. Пацанва ожила: предстоящее зрелище их простодушно радовало. Они заняли места в проходах и у стен — глазенки горели: еще бы, такое кино! Я бы и сам подобное посмотрел. Со стороны.

Правила мы не оговаривали, я же сам сказал — без правил...

Диггер прыгать бездумно не стал: уже знал, что я чего-то стою. Начал какой-то замысловатый танец. И не карате, и не школа обезьяны, а непонятно что, даже интересно... Кружит вокруг меня, как черный ворон. То подскочит, то отскочит, а не бьет.

— Бальными танцами занимался? — так же то отходя, то подходя, полюбопытствовал я, привычно стремясь вывести противника из душевного равновесия.

Вывел, на свою голову. Он влепил мне хорошую плюху после сложных финтов, и я отлетел к стене. В мозгу как будто петарда разорвалась. Пацаны одобрительно загудели. В моей голове зашумело тоже. Спокойствие, только спокойствие, как говорил мой любимый книжный герой детства. Непрост оказался Диггер, и удар у него неслабый.

Опять мы закружили в танце, и опять бородастик оказался быстрее. Решил отвесить такую же плюху после такой же, как предыдущая, комбинации. Но на этот раз мне все же досталось полегче, я почти ушел, потому что... разнообразнее надо быть, дорогой товарищ. И мой встречный в солнечное сплетение сбил его наступательный порыв. Он согнулся. Воздуха ему не хватало. Я ждал. Пацанва тоже ждала.

Одобрительных возгласов я не дождался. Зато бросок Диггера был стремительным и неожиданным, а серия ударов вполне хороша. Первые я парировал, а один пропустил. Падая, я тоже зацепил его, махнув ногой. «Удар хвостом тигра» это называется. Попал ему пяткой в грудь. Он опять присел, задыхаясь. Я мотал ушибленной в очередной раз головой.

Гробовая тишина повисла в подвальном воздухе.

— Диггер, ты как? — спросил кто-то обеспокоено.

— Нормально, — ответил он, и я его даже в этот момент зауважал.

За стойкость.

Что не помешало мне, впрочем, через минуту сбить его подсечкой и врезать от души добивающим «цуки».

Тишина стала еще гробовее. Или, может, это была минута молчания по мне, еще не павшему, — заранее?

По-моему, симпатии были явно не на моей стороне. Двое бывших «хищников» оказывали первую помощь своему товарищу.

А прочие начинающие шимпанзе и гиббоны уже готовы были пройти по мне, как асфальтовым катком, и закатать в земляной пол. Я отпрянул к стене и приготовился подороже продать свою жизнь...

— Стоп! — Голос Афанасия Петровича был спокоен. Его ученики замерли, подчинившись останавливающему жесту. — Мои аплодисменты вам, Саша. Где вы так научились драться?

— Не у вас в подвале, — ответил я, слушая колокольный звон в голове. — У хорошего учителя. Который говорил, что просто махать кулаками — много ума не надо. А лучший бой — это несостоявшийся бой.

— Ну-ну. Классика и миф одновременно, — прокомментировал Афанасий Петрович. — Сами древние мастера крошили друг друга почему зря. Почитайте «Речные заводы». Реальная жизнь жестока. И учить надо жестоко. Я вам сейчас покажу, как это делается.

В отличие от Диггера он стал разминаться, и это дало мне несколько минут передышки. И еще я посмотрел, как грамотно он это делает. Похоже, пролетаю я, как фанера над Парижем, ребята...

Серег, ау?!

Школа у Афанасия Петровича была обезьянья, без дураков. Самые настоящие их ужимки и прыжки. Солидный на вид дядечка чуть ли не по стенкам бегал. В кино подобное я видел, а у нас в городе такому, по-моему, нигде не учили. Он запутывал меня замысловатыми каскадами движений похлеще, чем Диггер, и доставал, доставал... То по башке, то по плечу — по раненому плечу, между прочим, и он это делал специально. В глазах темнело, ноги подкашивались, мои удары не достигали цели. Пил, курил, вел нездоровый журналистский образ жизни — и вот результат: уступаю по всем статьям...

— Вот вам, ребята, школа обезьяны против школы журналиста, — как будто читая мои мысли, издевательски комментировал избиение Афанасий Петрович, наслаждаясь моим позором.

Я боялся смотреть на лица его учеников, чтобы не отвлечься, но вокруг мне чудилось сладострастное одобрителное сопение и возгласы восхищения.

Воспитательная беседа, уже не словами и, увы, уже не в мою пользу, подходила к концу. Я проигрывал, а он забавлялся со мной, как кошка с мышкой, — непривычное и унижительное для меня положение. Я только старался не падать. Все-таки упал, перекатился в сторону кувырком, врезался в стену. Пацаны засмеялись. Никакого второго и третьего дыхания я не дождался, как и Серег.

Как Афанасий Петрович меня вырубил, я не понял. В голове взорвалась даже не петарда, а суперпетарда, и я погрузился в спасительную темноту, где нет боли.

Глава 23

Я пришел в себя на чем-то мягком. Маты. Сколько я на таких пере- занимался...

Руки были связаны за спиной. Отталкиваясь ногами, я отполз к стене и сел. И ноги связали. Молодцы! Ладно, жив остался, хотя чувствовал себя, прямо скажем, хреново. Хорошо отделал меня Афанасий Петрович! Все болело, особенно голова и плечо. Это в горячке боя действует своеобразная внутренняя анестезия, а сейчас она проходила.

В тусклом свете я осмотрелся и понял, что нахожусь все в том же злополучном подвале, только где-то в его дальнем закоулке. Вон и комплексы ушу на стенке... Кстати, именно школа обезьяны.

Где-то вдалеке неразборчиво бубнили голоса. Может, это стая бандерлогов решала мою участь? Хотя сказано же было, я им нужен всего на один день, а потом отпустят... Скорее всего, сейчас Афанасий Петрович заканчивает с ними воспитательную беседу и распустит по домам. А мной займется персонально, тет-а-тет. Не бросят же меня вот так, бесхозного, без охраны. Должны же хотя бы сказать «спокойной ночи, малыши» и упаковать понадежнее?..

А ведь это шанс, что пока бросили... Как там лягушка из известной сказки, которая упала в сметану, — до последнего не опускала лапки и спаслась? Чем я хуже этой лягушки?

И я пополз было к гипотетической свободе, но вовремя почувствовал запах табачного дыма. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить: охрана таки есть, она за стенкой и курит. И это, похоже, как раз та потайная комнатка, которую мы видели с Серегой.

Ну что, какие у нас еще варианты, если сквозь стены проходить я не умею? Да только вступать в контакт с противником. Что я и сделал, прокашлявшись, хриплым голосом:

- Эй, бандерлог, дай сигарету!
- Чё? — Ко мне заглянул один из «хищников».
- Закурить, говорю, дай.
- Перебьешься.

Чуть не скрылся, но я успел еще сказать беспронимательное:

- Боишься, что ли?

И он, посомневавшись, сунул мне в рот сигарету и щелкнул зажигалкой, чтобы я прикурил... Нет, вырубить его никаких шансов: здорово спеленали.

— Хорошо ваш Афанасий Петрович дерется, — пустил я в ход язык, главное оружие в арсенале журналиста. — В Бразилии научился?

— Почему в Бразилии? — обалдел охранник, который собрался уже покинуть меня, а тут снова остановился.

Ну не будешь же говорить ему, что в Бразилии много диких обезьян. Еще не так поймет, обидится за учителя...

— У них там культивируется школа черной храмовой обезьяны. Бразильские жрецы специально вывели такую породу — бойцовых обезьян.

Те у них служат телохранителями. Если что — рвут на куски без лишних разговоров.

— Врешь! — Что-то мальчишеское, нормальное прорвалось у «охранника».

Конечно, вру! Зато есть контакт. Языками зацепились...

— Я сам статью об этом писал.

Мне бы побольше времени, но не повезло. В нашу сторону уже шли. Мой страж шмыгнул за стенку. Я выплюнул сигарету подальше и встретил пришедшего насмешливым возгласом:

— Ба, какие люди — и без охраны!

Афанасий Петрович закончил занятие и удостоил меня посещением. С Диггером на пару. Интересно, что он наплел остальным?

Присев на корточки, обезьяний гуру молча и изучающе стал буровить меня своими глазками. Как будто медитировал... Ощутимо повеяло шизой. Мне стало не по себе.

— Вы, должно быть, умный человек, — сказал я как можно мягче. — Давайте договоримся. Скажите, что вам нужно, и отпустите меня и моего друга. Мы, конечно, не Рокфеллеры, но, если вам нужны деньги, скажите сколько, мы попытаемся собрать...

Обезьяний шеф так же молча пялился на меня и, кажется, думал о чем-то нехорошем.

— ...и разойдемся с вами, как в море корабли, — продолжал я уже напряженнее, но в той же тональности. Ладно, хоть голос не дрожал. — Обойдемся без милиции, обещаю.

Афанасий Петрович хмыкнул, но опять ничего не сказал. Вместо этого он постучал кулаком по подвальной стене. Тут же из-за нее появился «хищник», с которым я только что разговаривал. В руках у него был шприц. Выглядел перенек несколько смущенно: неудобно, наверно, ему было. Диггер же, наоборот, довольно скалился.

— Не надо, — сказал я, и голос все-таки дрогнул.

Что там у них — яд, снотворное или наркотик, — мне узнавать опытным путем не хотелось. Веревки держали крепко, но я приготовился отбиваться ногами.

Однако Афанасий Петрович действовал непредсказуемо. Жестом фокусника, достающего кролика из цилиндра, выхватил из поданного Диггером дипломата белый лист с текстом и ручку. Приблизил бумагу к моим глазам.

— Подпишите, Саша, и, считайте, мы расстанемся друзьями.

— Расписка, — тупо прочитал я. — Я, Степанов Александр, паспорт такой-то... занял у Ерошкина Николая, паспорт такой-то, тысячу долларов... Обязуюсь возвратить долг через неделю... В случае задержки... проценты... Число, подпись... Да вы что, сдурели? Я не буду этого подписывать! Даже если вы мне эти баксы дадите!

— Разбежался, — усмехнулся Диггер. — Баксы мы тебе, конечно, не дадим. А расписку подпиши, или мы тебе килькидром сделаем. Давай,

не будь дураком, сам же предлагал деньги! Потом мы тебя выпустим под честное слово, что ты перестанешь делать резкие движения и своему столу то же скажешь.

— Он меня может не послушать, — возразил я, соображая, что к чему при таком раскладе. — И нам наш друг нужен живой и невредимый. Где он у вас?

— На даче отдыхает! — засмеялся Диггер и вдруг поперхнулся.

Неужто проговорился?

Афанасий Петрович одарил его неласковым взглядом. И молча ждал, так же сидя на корточках, как сфинкс, мрачный и невозмутимый. Гипнотизировал, что ли? Нервы у меня напряглись до предела. Вот сейчас все и может решиться...

И тут я неожиданно получил удар от Диггера и не знаю уже, поставили они мне укол или нет.

Когда я пришел в себя, похоже, была глубокая ночь. Темнота — лампочку вывернули, тишина — только журчала вода в трубах. Рот мне заклеили скотчем, чтобы я не звал на помощь — все-таки люди наверху. Подергавшись, я понял, что меня распластали, как лягушку, на мате и прибинтовали к нему, не пожалев скотча — того самого, широкого, который продается в каждом газетном киоске. В отчаянии я замычал и замотал головой. Происходящее напоминало дурацкие американские фильмы. И Серега куда-то запропал. Просто Бермудский треугольник получается — только сухопутный, — в котором все пропадают! Может, эти уроды какие-нибудь сатанисты, которые специализируются на похищениях людей?

«Стоп, Саша, не продолжай, — остановил я себя, — это уже последствия удара по голове. Нечего накручивать. Важнее для здоровья — понять, поставили они мне укол или нет и мог ли я под его воздействием подписать расписку. Ага, а потом забыть все благополучно... Не бесчувственный же я чурбан, с которым можно сделать что-то против его воли. Да и не связывается все это во что-то разумное, объясняющее. Просто я не вижу выхода из этой ситуации и моя беспомощность порождает отчаяние — вот откуда все эти экзотические, совершенно не типичные для реальной жизни бредни!..»

И все-таки происходящее связано с Витькой и его рукописью, по-прежнему подсказывает моя интуиция. И причина, скорее всего, какая-то прозаическая. Ну не мистические же обезьяны, в самом деле, здесь замешаны, о которых наш самодельный писатель сварганил злобный памфлет!..

В ночной тишине на меня вдруг накатило ощущение жути. Это мне кажется или нет? Как будто чьи-то глаза уставились на меня из темноты. Я действительно ощущал чье-то враждебное присутствие. Тело сковало ледяным ужасом, даже волосы на голове зашевелились, а я-то всегда думал, что это книжные преувеличения... Нечто невидимое, нечеловеческое, казалось, изучает меня, и я был открыт перед ним и беспомощен...

Может, это Большая Черная Обезьяна, их обезьяний царь? В пронизывающих меня насквозь глазах был бездонный мрак...

Такого ужаса я не испытывал еще никогда в жизни. Меня как будто парализовало.

«Господи! — внутренне вскричал я. — Помоги! Помоги мне, Господи!»

Я бы даже перекрестился, если бы не связанные руки. Вот так мы и перестаем быть атеистами.

«Господи, спаси и сохрани!..»

Чужой взгляд пропал. Невидимое, нечеловеческое, ледяное перестало ощущаться — как будто его унес ветер. Я лежал в оцепенении и продолжал твердить про себя неумелые молитвы, хотя все уже закончилось.

«Господи, помилуй...»

И тут раздался шаг. По стенам забегал луч фонарика. Что это — гибель или спасение? Я широко раскрытыми глазами смотрел в сторону приближающегося шума и готов был сопротивляться до конца.

Глава 24

— Саша, проснитесь!

Афанасий Петрович опять сидел передо мной на корточках и смотрел с исследовательским любопытством. С виду вроде нормальный человек, не подумаешь, что с большим прибабахом. Неужели это он своим гипнозом нагнал на меня ночную жуть?..

Диггер с двумя другими «хищниками» согнули мат, подтащив его к стене, и я оказался в положении сидя. Скотч с моего лица содрали. В квартире наверху гремел телевизор: «С добрым утром, страна!» А между прочим, для кого-то это утро вовсе не доброе.

Апофеоз нашего недружеского общения...

Двое «шестерок» стояли по бокам своего обезьяньего учителя, как почетный караул. Кучерявый курил на стреме за стеной.

— Подписывайте, Саша, — как и вчера, предложил Афанасий Петрович. — У вас было время подумать.

Я кивнул, и мне осторожно освободили правую руку. Афанасий Петрович подал ручку и сразу отодвинулся. Вчерашним жестом фокусника извлек из дипломата знакомую расписку, протянул левой рукой. А правой из-за спины достал... знакомый пистолет.

Это уже неприятная неожиданность. Это в наши творческие планы не входило.

— Подпись, — с теми же интонациями приказал Афанасий Петрович и направил ствол мне в лицо.

Ну не будет же он здесь стрелять: наверху люди, услышат. Какой же здесь подвох? Шантажировать будут распиской, держать на крючке, чтобы не дергался. Если что — на счетчик поставят с хорошими процентами... А может, им подпись нужна? Андрюха ведь тоже расписался

под своей предсмертной запиской: мол, прошу никого в моей смерти не винить... Фиг вам, ребята, а не моя подпись!

Я кинул ему в морду шариковую ручку, жалея, что она не железная и не причинит ему никакого вреда. Зато то, что я из положения сидя выбил у него из руки пистолет, когда он отшатнулся, оказалось для них полной неожиданностью!.. Я же должен был быть связан и беспомощен!

— Финита ля комедия, Афанасий Петрович! — сказал я довольно спокойно, поднимаясь с мата.

Обрывки подрезанного скотча опутывали меня, как подохшие змеи — Лаокоона, но не сковывали движений.

«Что-то тут не то!» — наверно, пронеслось в головах моих мучителей.

И они были правы.

— Всем оставаться на местах! Руки в гору! — раздался бодрый командирский голос.

Мелькнула тень в камуфляже. Мягкое кошачье движение — и лежащий бесхозно пистолет оказался в руке у крепкого, квадратного такого парнишки.

Немая сцена, как у Гоголя.

— Все нормально, Саша?

— Все в порядке, Леша!

От этой обыденности наших переговоров обезьянообразные несколько пришли в себя, и в их головах, скорее всего, проклюнулась та же мысль, что и у меня недавно: не то место подвал в жилом доме, чтобы здесь стрелять из пистолета. Но они ее пока переваривали и накапливали решимость.

— Где Диггер? — спросил Афанасий Петрович.

— А где Виктор? — вопросом на вопрос ответил парнишка. — Диггер ваш за стеночкой лежит, я его там пристроил отдохнуть.

Я хотел было сказать ему, что эта обезьянья морда довольно опасна, но не успел. Афанасий Петрович кинулся прямо на пистолет, одной рукой пытаясь отвести его в сторону, а другой нанося удар в лицо Алексея Белова, руководителя военно-патриотического клуба «Вымпел». К общему изумлению — и моему тоже, — тот играючи шагнул в сторону и просто ткнул напавшего стволом в солнечное сплетение. И все! Никакого шумного голливудского мордобоя или долгих восточных боевых танцев. «Шестерки» сразу поняли всю серьезность парнишки в камуфляже и замерли, прижавшись к стенкам.

— Кто ж с голыми руками на шашку прыгает? — усмехнулся Белов.

Я присел перед скорчившимся обезьяньим гуру и, как он давеча, изучал его взглядом.

— Это что за стиль такой? — спросил я руководителя «Вымпела», пока целитель и учитель смысла жизни приходил в себя.

— Русский, Саша, русский, — усмехнулся тот. — Восток — дело не только тонкое, но и темное. А мы ребята простые. Мы ведь китайцами



не станем, сколько глаза ни щурь... А сейчас давай похоронную команду позовем. Братскую могилу копать.

Юмор у него, конечно, был мрачноватый. Я-то, правда, уже немного привык к нему, все же мы проговорили полночи. А вот обезьянообразным можно было только посочувствовать.

Алексей Белов достал из нагрудного кармана переносную рацию и сказал в нее пару фраз.

— Ну что, возвращенцы к природе, — обратился он к деморализованной компании Афанасия Петровича. — Колитесь, где Виктора прячете? И учтите, что чистосердечное раскаяние облегчает безвременную кончину — она будет не такой болезненной...

Раздались быстрые шаги, опять заиграл фонарик по стенам. Это спешили к нам товарищи Белова — двое таких же камуфляжных и крепких ребят, только помоложе. Тем же проторенным путем, каким он сам пробрался сюда ночью, чтобы спасти меня. Они притащили с собой упакованного кучерявого Диггера с кляпом во рту.

Следом притопал сумрачный Серега, который должен был совершить рейд в квартиру, которую я пробил по базе. Об этом мы говорили сегодня ночью, когда они с Беловым отыскиали меня.

— Нашел, Серый? — с надеждой спросил я.

— В квартире пусто. Не знаю, где они его держат.

Холодная ярость ослепила меня. В таком состоянии, наверное, люди способны прошибать стены или бросаться под танки.

— Ну что, Афанасий Петрович... — приблизился я к обезьяньему учителю. — Вы нам ответите на несколько вопросов, не правда ли?..

Он посмотрел мне в глаза и понял, что лучше ответить.

Глава 25

До появления милиции мы устроили маленький военный совет и решили, что хорошо бы Витьку в это дело не впутывать.

— Послушайте, Афанасий Петрович, — обратился я к обезьяньему шефу. — Давайте договоримся на этом берегу. Не будем добавлять головной боли ни вам, ни нам, ни ментам. И срока вам лично не будем добавлять. Замнем для ясности вашу бредовую затею с «Заговором». Дайте нам адрес, мы сами достанем оттуда Виктора и будем дружно молчать об этом, чтобы не усугублять ваше и так тяжелое положение. Считайте сами: вымогательство денег, разбойное нападение и похищение журналиста, а также незаконное владение оружием. Этого уже и так хватит под завязку.

Афанасий Петрович, надо отдать ему должное, удар держать умел. И хотя какие-то сдвиги по фазе у него явно были, они проявлялись все-таки время от времени, а не постоянно. Достаточно спокойно он просчитал ситуацию.

— А может, вообще обойдемся без ментовки? — спросил он с некоторой надеждой. И обвел нас всех внимательным взглядом. — Я обещаю,

что ни у кого из замешанных в эту историю неприятностей больше не будет. И тысячу долларов уже не в долг, а просто вам отдам. Воспринимайте это как возмещение морального ущерба.

— А может, проще тебя с твоими придурками здесь и похоронить, в подвале? — мрачно поинтересовался Серега.

— Нет, Афанасий Петрович, так не пойдет, — рассудительно молвил Белов, одобрительно глянув на Серегу. Видимо, такие приемы у вояк входят в психологическую обработку противника, а рыбак рыбака видит издалека. — Во-первых, вы должны ответить за то, что сделали, — по закону высшей справедливости...

Видели бы вы, как скривился обезьяний учитель жизни!

— Во-вторых, веры вам лично — нет. Решите, что можете еще отыграться, мирных граждан опять станете обижать... Словом, и по человеческому закону придется ответить. За «колючкой» будет время понять, что не надо кидаться на людей, если вам не нравятся их взгляды.

Жаль, я раньше не был знаком с этим Алексеем Беловым. Он мне все больше и больше нравился.

В общем, мы договорились. И ключи оказались у нас, и адрес.

Попутно в ходе разговора выяснилось, что обезьяноподобных на Витьку нечаянно навел Костя Андросов, рассказав Афанасию Петровичу, с которым был знаком, о «Заговоре обезьян». А потом испугался, увидев, что из этого получилось, и на всякий случай слинял.

«Мент», который приходил к Витькиной матушке, был, разумеется, наш обезьяний учитель. Смерть Андрея Токмакова с этой историей никак связана не была. Хотя Витька за несколько дней до его смерти приходил к нему на работу, хотел попросить денег, чтобы издать полный вариант «Заговора обезьян» книгой. Но Андрюхи на месте не оказалось.

Серега попал в больницу после столкновения с «крышей» Андрюхиной фирмы, потому что ее заботливо предупредил о возможном визите наш общий обезьяний «друг».

Все странности с телефоном были связаны с тем, что Афанасий Петрович разбирался в технике — работал когда-то телефонным мастером и с помощью какой-то аппаратуры слушал наши разговоры, а временами и вмешивался в них, создавая помехи или прерывая связь.

Так что никакой мистики, господа. Кроме того ужаса, который причудился мне ночью в подвале...

— Александр Владимирович, вы мне обещаете, что напечатаете то, что должен был дописать ваш друг? — обратился ко мне в самом конце разговора бывший Кинг-Конг. — Сегодня как раз срок, я хотел принести вам рукопись, когда приду к вашей Татьяне Сафроновой...

И, показалось мне или нет, в глазах его мелькнуло что-то победное, не соответствующее положению проигравшего.

— Обещаю, — легко согласился я.

И он успокоился.

Когда прибыла милиция, с меня взяли показания, заставили написать заявление о нападениях и похищении с целью вымогательства денеж-

ных средств, благо расписку, так мной и не подписанную, нашли тут же. Сгодится как доказательство. Придется также пройти медицинскую экспертизу — «на предмет физического воздействия», как сказали менты.

Едва выдалась свободная минута, я сбежал к телефону-автомату и позвонил Наташке, чтобы она не беспокоилась. Здесь меня и настиг Серега.

— Ну что, — сказал я бодро, пока он не начал, по обыкновению, грубить, — отправляемся извлекать на свет божий нашего кавказского пленника?

И мы отправились выручать Витьку. А Белов задержался выяснять что-то еще с участковым Колей Вольтовым.

Витьку этот гад держал в подвале у себя на даче, в пригороде. Вооруженная до зубов (одни только зубы) охрана в виде молодого, коротко стриженного отрока крепко дрыхла на раскладушке на веранде.

Когда он проснулся от шума открываемой двери и увидел совсем рядом наши с Серегой добрые глаза, то тут же испуганно залопотал что-то матерно-обезьянье, косясь на Серегины кулаки. В переводе с их языка это значило: «Пацаны, я здесь ни при чем, меня заставили!» Мол, я готов быть не обезьяной, а человеком, пусть меня научат. И летел он от нас пулей — наверное, торопясь начать новую, приличную жизнь...

Когда мы с Серегой спустились в подвал, куда вел люк из кухни, Витька мирно спал на деревянной кушетке. Мы сели на колченогие табуретки и осмотрелись.

Там был оборудован вполне приличный схрон — длинная такая комнатешка с низким потолком, зато с мебелью: шкафчиком, тумбочкой и даже с холодильником, кухонной утварью и телевизором. На столе, который, судя по всему, выполнял роль и кухонного, и письменного, стояла чашка с недопитым кофе, тарелка с чайными сухарями, лежала в беспорядке исписанная бумага. Потайная комнатка в городском подвале была куда менее приличной.

Я взял стопку листов сверху. Это было оно самое — окончание «Заговора обезьян».

Витек спал как ни в чем не бывало, даже посапывал. Серега мрачно посмотрел на эту идиллию.

— Слушай, а может, и не надо его отсюда вытаскивать? — не выдержав, буркнул он. — По-моему, ему и здесь хорошо.

— Вставайте, граф, вас ждут великие дела! — толкнул я в бок нашего злополучного друга.

Так слуга будил каждое утро Александра Дюма, чтобы тот садился за литературные труды.

От звука моего голоса Витьку как пружиной подбросило. Он сел на постели и уставился на нас, еще ничего не понимая.

— Я уже написал, — быстро сказал он голосом, напряженным от волнения.

И я понял, что пребывание его здесь медом не было. Видок у Витьки был еще тот: бледен, небрит, глаза нездорово блестят, поэтические кудри всклокочены и нечесаны.

И тут до него дошло.

— Сашка? Серега?.. — не веря своим глазам, пробормотал он.

Вскочил, бросился ко мне и обнял, чуть не уронив с табуретки, — хорошо, я успел подняться... Пока он выплакивался на моем плече, железный Серега в смущении опустил глаза. Он-то у нас супермен. Ему-то, как Железному Дровосеку из известной сказки, нельзя плакать, чтобы не заржаветь — то есть не порушить свой суперменский имидж. А у меня у самого в глазах предательски защипало.

— Все нормально, Вить, — стал я успокаивать друга, глядя по плечу. — Все нормально...

— Все ненормально! — возразил он. — Весь наш мир ненормален. Сколько времени я здесь? Этого психопата арестовали?

— Он тебя бил? — подал голос Серега.

— Нет, он довольно умная сволочь. Он ведь хотел, чтобы я дописал «Заговор», как ему надо. Он даже о моем относительном комфорте позаботился, чтобы мне было удобно работать. Вы ведь уже знаете?

— Знаем. В общих чертах, — глухо сказал я.

Может, зря мы на тормозах это дело спустили? И Витьке теперь нужна помощь психолога? Пепел Клааса запоздало застучал в мое сердце.

— Он даже поначалу не издевался надо мной. Спорил. Убеждал, что все не так плохо, как мне кажется. Что грядет новая эпоха и человечество будет другое, а я, мол, этого не понимаю, а вижу только накипь, которая сверху... Мол, люди должны пройти через очистительный огонь греха, чтобы преобразиться в какого-то нового человека...

— Да где ты ему дорогу-то перешел? — искренне не понял Серега.

— Он прочитал несколько глав моего «Заговора обезьян» в «МиРе», узнал, где я живу, встретился со мной. Я думал, ему это близко... А у них, оказывается, что-то вроде секты, и он там гуру. Они живут по принципу «что естественно, то не безобразно». Особенно ему не понравилась глава «Обезьяны и секты». Он решил, что я что-то о них знаю... Кстати, у него ведь и фамилия обезьянья — Мартышкин...

— Стоп, мужики! — перебил Витькин словесный поток грубый Серега. — О всякой мистической ерунде поговорим снаружи. А то сидим, как дураки, в погребе. Вот сейчас какая-нибудь обезьяна, которая осталась на воле, закроет нас здесь...

— Молчи, дурак! — взвился Витька.

И точно, накаркал Серый. Люк в подвал с грохотом захлопнулся. Как будто от сквозняка, потому что никаких других звуков мы не слышали: ни шагов, ни голосов. Наш доблестный десантник в темпе рванулся к лестнице, как будто собрался вышибать запоры головой. Но тут люк, к нашему облегчению, снова открылся и мы увидели улыбающуюся физио-



номию Алексея Белова. Шутить оне изволят! Только в последнее время у нас, с нашими издерганными нервами, и с чувством юмора стало напряженно.

Эвакуация из подвала напоминала бегство. Скорее на свежий воздух! На свободу! Домой!

Наш путь домой проходил через «винаповский»* отдел продуктового магазина.

За стол мы сели у Сереги, потому что его Машки не было дома: она уехала в гости к матушке. И хорошо. Зачем женщины нужны в таких делах?

— Ну ладно, Витек, колись дальше. — Серега булькнул всем в стаканы «Старорусской» и нарезал вареной колбасы в тарелку.

И мы дослушали Витькину историю. Мы — это я, Серега и Алексей.

В общем, пока у них с Афанасием Петровичем Мартышкиным шли идеологические споры в духе убеждения, все было ничего. Правда, Витька все равно доработал продолжение по-своему и, от греха подальше, отправил его почтой, а не повез сам в редакцию. И на всякий случай отправил еще экземпляр мне. Опасения его оправдались. Подручные Афанасия Петровича до этого просто пасли его, околачиваясь рядом, а после выхода второй порции «Заговора» в «МиРе» вначале неудачно напали на нас, а на следующий день подкараулили Витьку, взяли под белы ручки и доставили прямым мартышкинскую дачу, в подвал. Здесь и состоялся уже серьезный мужской разговор. Мол, Витя, если хочешь, чтобы тебе голову не открутили, сделай некоторые поправочки, убери местные конкретности, добавь хохмы и вообще закончи тем, что все это розыгрыш с целью поугатать общественность, пощекотать ей нервы.

— Он сказал: «Это же бред — все эти заговоры! Мы же умные люди. Даже неприлично как-то о таком...» Я не стал спорить. Он же, между прочим, несколько раз в психбольницах лечился, не смотрите, что он такой спокойный и рассудительный. На него иногда как накатит...

— Написал? — спросил мрачно Серега.

— Написал, — ответил лаконично Витька.

Ну что ж, дело-то серьезное, и ребята оказались с серьезной придурью. Киньте в Витьку камень, кто сам без греха! Мы не стали кидать: это, в конце концов, его личное дело, а может, даже вопрос жизни и смерти... Все мы смелые, пока перед нами не поставят жесткий выбор. А Витька — он же самый незащитный из нас. Его даже Нянька может обидеть, если захочет.

Вы внимания не обращайтесь на мой стиль. Я пьяный, да. Мы от радости, что все хорошо закончилось, очень основательно выпили. Больше, кстати, никаких ушу, шушу, карате — попрошу Леху научить меня русскому стилю. Похожу к ним, позанимаюсь, напишу про них... Да, на-

* ВИНАП — завод по производству винно-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков в Новосибирске. Ликвидирован в 2007 году.

брался я, ребята. И не только от радости, но и от расстройства. Это что же, если вот такая скотина, как Афанасий Петрович, решил, что у него самая верная точка зрения, то он вправе ломать человека, который думает иначе, через колено? И навязывать ему свое обезьянье понимание жизни? И заставить его сказать: «Человек — это, может, и звучит гордо, но обезьяна — перспективнее»?! Нет, я не виню Витьку, что он уступил... Мне просто за державу обидно. Куда мы идем? Сколько среди нас уже обезьян развелось? А сколько заморских обезьян учит нас (и вовсе небескорыстно) жить по-своему, по-обезьянью... Зачем мы строим это обезьянье общество?.. Пусть в чем-то Витька и преувеличивает, но этот его гротеск, он же для того, чтобы мы лучше поняли, что нам угрожает!

Сергея докопался до Лехи, и они пошли на улицу выяснять, что эффективнее — школа десантного сапога или русский стиль. Интересно, как Сергей будет управляться со своей загипсованной рукой?..

Я уложил пьяного Витьку в постель баиньки, и он тут же вырубился: намаялся, бедняга, со своими злоключениями... А я сел за стол, подвинул к себе исписанные листы, чтобы посмотреть наконец раздел «Обезьяны и секты» — что там могло зацепить Афанасия Петровича. Ну и вообще узнать, чем там все дело закончилось.

Глава 26

Обезьяны и секты

«...Одно из самых опасных искушений, которые подстерегают человека и человечество во все времена, — это искушение тайным знанием. Издревле людей влечет к загадочному, необычному, исключительному — сулящему власть над обществом, природой, миром — в соответствии с принципом “запретный плод сладок”. Поддавшись первыми соблазну опасного любопытства, пали в раю Адам и Ева. Наелись, глупые, плодов с дерева познания добра и зла. Змей-искуситель пообещал ведь Еве: “Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло”. Так, пожелав стать “как боги”, первые люди лишились блаженной райской жизни и бессмертия, потому что выперли их из Эдемского сада.

К сожалению, история мало чему учит нас, людей. Все равно лезем, куда не просят. Раз нельзя — значит, очень хочется! Вся история человечества — поиски запретного. Все хотят стать волшебниками, всем нужны волшебные палочки и учителя по жизни. Мы стали как обезьяны: наши ужимки и прыжки все больше отключают в нас не только интеллект и голос совести, но даже инстинкт самосохранения. Причем подражаем мы чаще худшему, потому что подражать лучшему — труднее.

Чего обезьянам и надо!

Мало людям главных мировых религий, им подавай что-нибудь особенное, экзотичное. Лучше всего ловить нас с помощью сект. Там обезья-

нього издевательства над человеческой глупостью можно даже не скрывать.

Вспомнить только последователей Порфирия Иванова, которые постоянно обливаются холодной водой, “Белое Братство”, объявившее конец света и чуть не организовавшее массовые самоубийства, секту Виссариона, который ухитрился основать в Саянах Город Солнца, где все женщины перманентно беременны, не иначе как от самого “солнечного” гуру... Это у нас, в России. А на Западе — церковь Муна, “Аум Сенрикё” Секо Асахары и множество им подобных.

Не отстают от этого обезьяньего поветрия и в Новосибирске. Есть, например, у нас секта — “Назад к природе”. Правда, вернее ее назвать “Назад к обезьяне”, потому что ее руководитель Афанасий Петрович Мартышкин, некогда бывший простым телефонным мастером, проповедует раскрепощение человека. Он считает, что, отказавшись от естественного (читай — животного) поведения, мы в обмен на блага цивилизации приобрели кучу болезней. Мартышкин — адепт хождения на четвереньках, ведь так мы возвращаемся к истокам...»

Ну и дальше в красках о том, что я уже слышал от самого Афанасия Петровича Мартышкина и видел в его подвале.

С ума сошел Витек! Писать такое, сидя в плену у обезьяньего гуру...

«...Первыми, как мотыльки на огонь, летят на все эти приманки наши ищущие интеллигенты. Готовы отдать, почти не задумываясь, деньги, квартиры, да саму душу бессмертную за экзотический духовный путь, за истину в последней инстанции, которая все на свете объяснит, за расширение сознания, за паранормальные способности, которые поднимут их над серой массой. А ведь лапшу им на уши вешают зачастую люди безграмотные и почти всегда беспринципные. Вот так мы и идем по пути, который наметили нам обезьяны...»

Так, ладно, теперь к самому финалу... Энду, который не хеппи. Что там Витек наваял по настоянию добрейшего Афанасия Петровича?

Я вытянул из стопки последний листок.

«...Обезьяны на протяжении всей истории человечества пытались принизить в ней роль человека, его природу. Да, в человеке есть животное начало, но человеческого — больше. А самое главное, в человеке есть еще Божественное начало. Он же создан по образу и подобию Божьему.

Человек, конечно, слаб, но он может идти в своем развитии как вниз (назад к “природе”, к мифическому “равенству”, которое примитивно, как безусловно функционирующий муравейник), так и вверх — душой в высшие сферы. К свету, к чистоте, а не в грязь... Только тогда мы, люди, обретаем высший смысл существования. Да, конечно, нас воспитывали в атеизме, но сейчас многое изменилось и мы можем сделать выбор: либо идти к Создавшему нас — в вечность, либо — к его вечному противнику, которого называют обезьяной Бога. Третьего не дано, свет не смешивается с тьмой, душа, чтобы не испачкаться, должна избегать грязи

и стремиться к нравственной чистоте. Тогда обезьянье, животное в ней уступит место человеческому и — Божественному. И никакие “заговоры” нам будут не страшны!»

Я даже протрезвел, читая все это. Хотел разбудить Витьку, чтобы пожать его мужественную лапу... нет, руку! Но пожалел: пусть отсыпается и во сне залечивает свои душевные раны.

Вместо этого я прочитал последний кусочек вслух подошедшим Сергею и Алексею.

И мы, здоровые мужики, которые могут, если что, физически постоять за себя, в отличие от некоторых наших спящих товарищей, выпили за мужество такого слабого и такого, как оказалось, нестигаемого человека, как Витька.

А потом я повез шефу третью часть «Заговора обезьян», чтобы успеть поставить ее в номер. Вместе с бутылкой водки, потому что «потрезвому» Иваныч может и пойти на попятный, прочитав ее. Все-таки бывший коммунист и атеист, что с него взять.

Вместо эпилога. Несколько лет спустя

Когда я сажусь писать, почему-то все необходимое для этого теряется. Я же вчера остановился на самом интересном... Быстрее к столу! По утрам я пишу что-нибудь не газетное, пока есть часок-другой перед работой. Но нужные черновики как корова языком слизнула. Не иначе, кот или домовый приложили свою лапу к тому, чтобы я не ваял бессмертные произведения, а зарабатывал на кусок хлеба. С жены тоже станется... Все они заодно в том, что от хозяина, отца и мужа должна быть польза для домашнего хозяйства! Ишь, взял моду — марать бумагу то поздно ночью, то рано утром за-ради литературы, а не газетного заработка!

Ладно, это я понарошку брюзжу, потому что сам же не встал вовремя по зову боевой трубы — будильника: не хотелось вылезать из теплой постели. Оставшийся час не решает ничего, раз не покатило...

С завистью гляжу, как сладко спит Наташка — у нее сегодня уроков нет. Ладно, жить надо не будущим, а настоящим.

К настоящему же, а не к бесплодным мечтаниям о литературной славе и лавровых венках относится и мое последнее журналистское задание — взять интервью у заезжей знаменитости, то ли чукчи, то ли коряка... Шеф сказал, что это страшно крутой шаман с Камчатки. Если бы он не бил в бубен все время, то наши давно бы продали японцам Курильские острова. А пригласили его к нам местные экстрасенсы, чтобы он поделился с ними на семинаре своими оккультными знаниями и поражающей воображение магической силой.

Спасибо дорогому Иванычу! Спасибо заболевшей Танечке Сафровой, которая обычно пишет у нас на мистические темы! Придется опять закрывать грудью (к сожалению, не ее) амбразуру. Как же «МиР» может обойтись без феномена шаманизма, столь злободневного в наше не-

легкое время! Ведь и все наши экономические реформы, если разобраться, — сплошное шаманство...

Проверяю, заряжены ли аккумуляторы в диктофоне, в блокноте помечаю, какие вопросы буду задавать. Бреюсь, одеваюсь, наскоро за-втракаю кружкой кофе с бутербродом — и все одновременно. Пока еду в автобусе, бессовестно сплю, чтоб потом, в нужный момент, быть готовым к труду, а может, и к обороне.

Бдительная вахтерша у входа в библиотеку, где собрались камлать заезжий шаман и местные экстрасенсы, окинула подозрительным взглядом меня, мою сумку, мою бороду и волосы, собранные сзади в пучок.

Вопрос, террорист я с взрывным устройством или нет, сразу решило красное удостоверение с золотым тиснением «Пресса», и мне с приветливой улыбкой было сказано, что оккультное общество оккупировало небольшой актовый зал на первом этаже.

Там шли спешные приготовления к приему дорогого гостя. Уже от дверей я увидел знакомые лица. За столом, уставленным пластиковыми бутылками с минеральной водой, хлопотал, перекладывая какие-то бу-мажки, валяжный здоровяк с ухватками американского проповедника и пронзительными глазами-буравчиками — известный всей Новосибирской области благодаря подвижническому труду на радио и телевидении астролог Михаил Подзвездный. Когда-то он преподавал философию в техническом вузе, писал фантастику и носил старовеческую бороду лопатой. Потом почувствовал свое предназначение свыше и резко переменялся: бороду сбрил, вместо русского мужика стал походить на иностранного жулика и принялся, как манной небесной, осыпать всех астрологическими прогнозами, неплохо на этом зарабатывая.

Помогал ему готовиться мой старый знакомец Костя Андросов, экстрасенс, подрабатывавший коррекцией биополей и мануальной терапией. Он развешивал на школьной доске позади стола красочные плакаты с человеческими фигурами, похожие на анатомические пособия, только вместо печенок-селезенок там были изображены сияющие звезды вдоль позвоночника — чакры, однако, — и вихреобразное движение энергий вокруг.

И конечно, группа агни-йогов в первых рядах. Как же без них на таких мероприятиях! Привезли даже дедушку Замкова, местного патриарха Живой Этики!

Пройдя сквозь стайку некрасивых женщин с фанатичным блеском в глазах, я поздоровался за руку с Подзвездным, Андросовым, еще с одной-двумя «жертвами» моих давних материалов на мистические темы и с как-то затесавшимся сюда риелтором Вадимом Ведерниковым, невысоким крепышом в кожаной курточке, с забавными маленькими усиками. Мы с ним познакомились во время истории с похищением Витьки и изредка встречались, когда я писал о жилищных проблемах и мне нужна была консультация.

Мы с Вадимом сели в первом ряду, как раз напротив трибуны, чтобы мне удобнее было записывать и фотографировать.

— Ты как здесь оказался? — поинтересовался я, готовя к работе перо и прочее оружие журналиста.

— Клиента одного возил смотреть квартиру. Увидел объявление. Дай, думаю, схожу, — щурясь, как довольный кот, отозвался Вадим.

— Проблемы, что ли, финансовые хочешь решить с помощью этих ребят? — продолжил я допрос, пока было время.

— Да нет, — отмахнулся он, — с финансами все тип-топ. Хочу на настоящего шамана посмотреть. Я же погранцом был на Дальнем Востоке, а так ни одного и не увидел... Как там Серега с Витьком поживают?

— Серега открыл свою охранную фирму на ОбьГЭСе. Важный стал, занятый, встречаемся только на вечерах выпускников. Витек поступил в Литературный институт, сейчас живет в Москве. Перезваниваемся — с Новым годом да с днем рождения поздравить...

Минут десять мы с Вадимом трепались о том о сем: об общих знакомых, о семьях, о том, что надо бы почаще встречаться, хотя бы за прлавильным пивом, если не чем-то покрепче...

Зальчик заполнился наполовину. Участники действия рассказывались группами единомышленников, переговаривались — как будто гудел пчелиный рой, шумно приветствовали знакомых. Начало явно затягивалось — никак не могли дождаться дорогого гостя и наконец решили начать первое отделение без него.

Костя Андросов позвенел в колокольчик и объявил программу и темы докладов.

Первым выступал, конечно, Михаил Подзвездный. Тема доклада: «Грядущее столетие глазами астролога». Я щелкнул диктофоном и нацелил его на оратора. Времени там было часа на четыре, и боезапас можно было не экономить. Речь астролога была напористой, эмоциональной, слегка сбивчивой и сопровождалась театральными эффектами — игрой голосом, паузами, размашистой жестикуляцией.

— Друзья мои, — начал Подзвездный. — Принято считать, что астрологи предвидят будущее. Это, мягко говоря, не так. На самом деле задачи более актуальны и важны, они вовсе не связаны с тем, чтобы заглядывать под подол судьбы и смотреть, куда там ветер нас всех понесет... Когда-то меня из писателей неудержимо потянуло в астрологи, и сегодня я к вам обращаюсь с просьбой — считайте меня засланцем в стан оккультистов из числа действующих писателей...

— Во загибает, засланец! «Под подол судьбы»! — восхитился невоспитанный Вадим, толкая меня локтем под бок. Я посмотрел на него и подумал, что он, наверное, никогда не видел не только шаманов, но и живых астрологов. — Пошли курнем, Сашок?

— Неудобно, — отрезал я. — Попозже.

Вадим, вздохнув, достал газету «Экспресс» и стал читать. Михаил Подзвездный вещал дальше, от доверительных интонаций взмывая голосом к громкой митинговой речи.

— Теперь о том, что у нас происходит с Россией. Вы знаете, что сейчас в Водолее — знаке, отвечающем за Россию, — столпился Нептун? Сейчас там апогей лунной орбиты, страшная фигура, сейчас там Уран и, обратите внимание, Юпитер. Вот тоже знаменательная вещь: как только какая-то большая планета переходит из знака в знак, сразу включаешь радио и ждешь, какие события могут быть... Братцы, у меня такое ощущение, что вот-вот должно прийти время России! Должна же судьба выдать нам какой-то билет! И быть может, сбудется предсказание, данное многими властителями дум и прорабами духа, о том, что придет время — и будут востребованы лучшие качества России. А Россия чем всегда прирастала? Правильно, Сибирью... И проблемы духовного опыта шаманизма, как никогда ранее, злободневны в эпоху Водолея!

Вообще-то я люблю иногда послушать Подзвездного. Может он, черт языкастый, произвести впечатление на аудиторию. Но Вадим-то, Вадим! Даже неприлично на него смотреть — рот раскрыт, голова набок. Толкаю его, а он чуть не падает... Заснул! Надо же, с открытыми глазами!

— Ты что, дрыхнуть сюда пришел? — спросил я его, пока Подзвездного провожали с трибуны аплодисментами. — Выгонят ведь!

— Слушай, пойдем все-таки покурим, — виновато предложил Вадим. — Загрузили по полной программе. Непривычный я к такому.

Мы покурили три раза. Шаман все не появлялся. Костя Андросов время от времени звонил по мобильнику (могли ли мы еще несколько лет назад представить такие роскошные средства связи?) и сообщал взволнованным голосом: поезд из Владивостока прибыл... шаман отвез вещи в гостиницу... вот его уже везут на такси, но он попросил заехать в кафе перекусить... потом он решил покормить голубей... Потом след его на время затерялся.

А выступления продолжались. Агни-йоги, как обычно, говорили, вслед за Подзвездным, что Россия поведет за собой народы. Старенький Замков вспоминал несущественные подробности своей последней поездки в Индию. Но особенно хороши были некий, как его окрестил скептический Вадим, «чакровед» и народная целительница Мурмалайкина. Первый, похоже, во время оно подрабатывал в обществе «Знание» лекциями о том, что Бога нет, а сейчас переквалифицировался и так же самоуверенно и косноязычно рассказывал о тонких телах человека и его энергетических центрах, демонстрируя плакаты.

Мурмалайкина же, молодая баба с лицом стервы и злыми глазами, представилась как экстрасенс, предсказательница, контактер, мистик и похвасталась, что имеет три высших образования. Она развесила поверх анатомических пособий чакроведа свои «картины» — яркую мазню то ли фломастерами, то ли пастелью — и, вода указкой, объясняла, где что нарисовано.

— Мы все проводники каких-то энергий — электричества и так далее, — делилась Мурмалайкина своими откровениями. — Если бы мы

были резиновыми куклами, мы бы тогда не страдали, мы могли бы в розетку пальцами подключаться!

На меня напал нервный смех, который я старательно маскировал под кашель. Диктофон давно лежал в сумке. На Вадима вообще было страшно смотреть, его аж перекосило. Откровения мистиков и контактеров явно шли вразрез с его прагматичным мировоззрением.

— Над нашим залом сейчас стоит десять летающих тарелок, — сыпала словами Мурмалайкина. — Не смейтесь! Не смейтесь! (Это она, наверно, в нашу сторону посмотрела.) Они наблюдают за нами! Они помогают нам! Не надо никаких учебников! Я уже давно никаких книжек не читаю, мне это не нужно. Я все из информационных потоков черпаю. Однажды на таком же семинаре мы с англичанкой общались. Я по-английски ни бум-бум, а понимали мы друг друга с полуслова. Был у меня контакт с архангелом Михаилом, который дал мне схему пространства и времени...

Сидящие в зале внимали бреду ораторши как откровению. У многих глаза горели, хоть пожарников вызывай...

Да где же этот чертов шаман?!

Что-то заставило меня обернуться, и я первым увидел его, вошедшего в боковые двери, замершего на проходе. Очень северный такой дедушка, весь в бороде и меховых одеждах, несмотря на весну. Бубна при нем почему-то не было. И почему-то он уставился своими немигающими глазами-щелочками на нас с Вадимом. Что-то ужасающе знакомое почувдилось мне в его мохнатой фигуре...

Тут зал встал и разразился рукоплесканиями. Шаман приветственно помахал рукой и направился прямо в президиум, больше на нас не глядя. Обезьянья его фигура и походка вызвали во мне то, что называется чувством дежавю.

Афанасий Петрович Мартышкин собственной персоной! То ли отсидел уже свой срок, то ли сбежал — и теперь переквалифицировался, но не в управдома, а в северного шамана.

Гляжу на него, на зал, уже переполненный, ревуший от восторга, и мне видится большая стая гиббонов, макак, шимпанзе, которая приветствует своего будущего царя, чтобы возвести его на престол. И я вдруг понимаю, что оккультные дороги вовсе не смешны и не безобидны, что они ведут не в Рим, а к Ее Величеству Обезьяне.

Похоже, Витька был прав и заговор обезьян действительно существует.



Владимир АЛЕЙНИКОВ

К ОБЛАКАМ ОБЛАКА

* * *

Годы прежние были — с бегущей рекой
с темнотой под мостом и рукой под щекой

а осталась теперь под рукой темнота
берегов высота и мостов пустота

ты уймись высота — я не вижу воды
берегов под мостом и беды за труды

где стояла звезда и сбегала вода
к берегам подошли облака без труда

без труда подошли без конца без конца
где беды дождались и не знали венца

и звезды не узрев разошлись берега
чтобы больше сюда не ступала нога

и вода подошла бы вплотную к годам
где звезду в высоте никому не отдам

и года не ушли и слетаясь к звезде
расплескались круги в облаках на воде

и плывут облака и все шире круги
приплывают к ногам и не видно ни зги

и стоят берега и вбирает река
за звездою к звезде к облакам облака.

* * *

Флоксы украсили сад
словно исход карнавала
там где ветвей водопад
с пагодой позднего бала
яблонь сиреней и груш
бабочек горлиц и вишен
с переселением душ
виден и обнят и слышен —
и многоярусен тон
лиры — и спутаны тени
сна во смятении крон
тянущих к небу ступени

ах восхитили опять
флоксы в китайских гирляндах!
и фонари зажигать
будем и мы на верандах
чтобы за ними пришли
розы и астры и лица
и воплощенье земли
в лепете стало бы длиться
преодоление знать
долю предвидеть и дали —
и говорливую рать
помним в минуты печали.

* * *

Ирис дымчато-лиловый
как Изидины глаза —
в нем за синею основой
горизонта бирюза
голубиная головка
ловкий ласточки полет
где лукавая плутовка
завлекает и поет

стебель издавна зеленый
словно знамя мусульман
где пустынею хваленой
ходит лени караван
мимолетность остролиственность



и подверженность луне
обожаемая близость
и шептанье в тишине

гребень жалобы Прованса
на ушедшее давно
навеваемые вальсы
да искомое окно
зажигаемое рано
за растениями в ряд
где Изольды и Тристана
кольца юные горят.

* * *

Костра единого я вижу торжество,
Рождение неистовое дали,
Где села длинные в томленьи и печали
Приветствуют растерянно его, —
Посланца грозного багровое надбровье
Мне говорит о летнем полнокровье,
А жилки частые на дымчатых висках —
О будущих снегах.

И пламень сей объемлет тополя,
Корит иль время продлевает,
Горящей нитью преодолевает
И реки, и поля —
Простор оправданный и ветер суеверный
Ему чем далее, тем боле достоверней
Поспешно отданы, — и, явлен наяву,
Он руки простирает в синеву.

А там, за облаком, недолго и узнать:
Далече ковылей белеющее знамя,
Где имя Господа над нами
Во славе не замедлит воссиять, —
И весь костер в единстве золотом
Молитвой осени восстанет,
Что нас, не разумеющих, застанет
В грядущем и в былом.

Модест МИНСКИЙ

ГРИША

Р а с с к а з

- Гриша, привет.
- Привет.
- Как дела?
- Нормально.

Утро. Гриша на скамейке у подъезда. Птицы поют. Распускаются листья. Солнце ласкает лучами прохладную росу.

Дом странный, а может, обычный. Это я «чувак с прибамбасом». Возле прежнего дома такого не было. Там исполкомовские граждане, серьезные — носики задраны и черные очки от Витторио Риччи. Машины служебные к подъезду, белые рубашки, галстуки. Туалетная вода на любой вкус — в лифте носу щекотно. А здесь Гриша на лавке. Безобидный, приветливый, ежедневный. Во всем сером, с серым лицом. Сорри, плиз. Небритый.

- Привет, Гриша.
- Привет.
- Как дела?
- Ты уже спрашивал.

Возвращаюсь, виновато улыбаюсь. Быстро вернулся. С полным пакетом из ближайшего магазина. Глупо столько на продукты тратить. И вообще, нормальные люди в будний день лишь к вечеру возвращаются.

Вроде недавно здоровались. Это так, для приличия.

- Сегодня один?
- Сейчас подойдет.
- Уже послал?
- Сашка пошел.
- Хромой?
- Да.
- А ты чего?
- Сердце болит.

Летом всё в зелени. Жильцы первых этажей рыхлят землю. Цветочки, растения. Вокруг душистая сирень. Она уже отцвела, и два невысоких куста непонятного вида переплелись с непонятным деревом. Летом хорошо, душевно, природа. Только опасно. Не сразу видно, что и как.



А бутылку легко спрятать, если нарисовались товарищи в форме. Только шумно, но можно допоздна, не как осенью или зимой. Одинокие соседи спешат домой — лифт, кнопка, этаж, поворот ключа. Молодежь на качествах. Громко смеются, разговаривают, будто только и ждут ночной тишины. Но это наши соседи, наши дети. Наш тестостерон. Ночные птицы с яркой окраской. И когда навстречу, то обязательно — «здравствуйте, дядя...» и по имени. Здесь важно, что дядя и имя. Необычно. Вероятно, так поступают там, где никогда не был. А если выпьют, обязательно добавят: «Я вас уважаю». Понять бы за что.

— Гриша, все сидишь?

— А что делать? Телевизор уже смотрел.

Как школьник — кино в отведенное время. Мама не отругала? Что-то из туманного детства. Не моего.

— Привет, Гриша.

— Привет.

— Как сам?

— На больничном. Делают болючие уколы. Еще неделю колоть.

— А что у тебя?

— Опухоль. Почку удалили. Сейчас в городскую онкологию езжу. Амбулаторно. Это в центре. Вот, вернулся. Одолжи пять рублей. До вторника.

Гриша хороший, обязательно отдаст. Будет бегать, искать, но отдаст. Переживает. Всегда говорит:

— Я бегал, искал. Весь день на лавке ждал. А домой к тебе заходить боюсь. Ты предупреждал. Да и звонок твой не фурычит.

Приходить ко мне бесполезно, он знает. Знают все. Отключил звонок и домофон. Чтобы не надеялись. Но Гриша ответственный. Вот Леша, тот да. Тот десятку второй год отдать не может. Встречаемся, руку жмет и молчит. Раньше обозначался, типа — я должен, помню. Киваю в ответ — говорить вроде не о чем. А сейчас просто жмет и быстро исчезает. Совесть, видно, мучает. Всякий раз пересчитываю десятку через курс. Про себя, конечно.

И Федя — красавчик. Не отдает чуть меньше. Это по номиналу. Но срок больше, и помнит всегда. Делает скорбное лицо, говорит: «Прости, друг, помню, пятерку должен. Не могу сейчас, нет, извини». И так три года. Собака тебе друг. Но улыбаюсь. Я добрый. Это внутри война воюет.

Если Гриша выпил — впрочем, это норма, — то рассудительный, не звереет, как отдельные личности. Для него спиртное — продолжение жизни, не выяснение отношений. Судьба. Цикличность. Утро, скамейка, друзья. Работа, скамейка, друзья. Больница, скамейка, друзья. Там несколько однотипных схем с одинаковым концом. Но скамейка — главная. И дружба. Как без нее.

Смотрю в окно — Гришу несут. Через двор по диагонали. А до этого с деревом боролся. С тонкой березой. Ломал через спину. Та тряслась, возмущалась листьями. За березу обидно. Молоденькая еще. А у Гриши лапищи, иссеченные жизнью. И страшно. С его-то сердцем и отрезанной почкой! Даже плохое подумал, но обошлось.

Утром интересуюсь:

- Как ты?
- А что?
- Так, узнать, как дела.
- Нормально.

Гриша тоже добрый.

— Я тебя всегда уважаю, — говорит.

И это не из-за денег или чего-то еще, у него личное — желание оповестить мир о человечности и сострадании. Потому что любой человек хочет уважения от любых людей, не думая о положении устойчивых признаков мироздания и количестве выпитого. Грише от этого становится лучше. Будто высвобождает сгусток энергии, как солнце, что дарит тепло.

Я не люблю его истории. И он не рассказывает. Хотя в их компании история обязательна. Не молчать же. Если молчать, тогда все неправильно, тогда до драки.

Чувствует, что мне не интересно. Так и говорит:

— Была со мной история, но тебе неинтересно.

А я не нахожу времени выслушать. Эгоизм. Лень. Или стыдно. Нет, это не мое. Там трудные истории в своей простоте.

В деревню его не берут. Семья уезжает, он остается. Лишь машет рукой вслед отъезжающей машине.

— А что там делать? — говорит. — Там старший брат. Им есть чем заняться.

— А ты чего? С братом поругался?

— Я — с братом?

В этом месте глаза крайне выразительны. И сразу понятно, как он уважает брата. Но в деревню ни ногой.

— Славка сейчас принесет беленькую. Ты будешь? Но мы без закуски.

И дети, еще не женаты, но с приличными щетинами. Завлекают родителя в дом. Как маленького. Ребята хорошие.

— Ну пап, ну пошли! Там мама кушать сделала. Картошка с подливой.

Он слушается. Неохотно, но слушается. Не сразу. Еще ждет чего-то. А вдруг? Ему в жизни только и осталось, что ждать.

Старший живет с разведенкой. У той двое детей от прежних мужей, и сама в приличном возрасте, очередное цветение, ночует то тут, то там.

— Как у них? — говорю.

— Живут, я не знаю. Не вмешиваюсь.

Это правильно. Зачем портить жизнь детям, когда своя ни о чем.

К вечеру прохладно. Снова скрипят качели. Девочка с собакой проходит мимо. Вроде спокойно. Если не считать застрявшую в межгалактическом пространстве фигуру.

— Дай рубль! — кричит дурным голосом тень.

Это Федя, должник с первого этажа. Хорошо приложился. Кричит каждому, даже мне умудряется. Даже той девочке с собакой. Мне за что? У него и кличка — Дай Рубль. Выпьет — ничего не помнит. Лишь обозначает территорию, как мулла с минарета. Еле на ногах держится. И что за рубль сейчас купишь? Чепуха какая-то.



Двор как двор, вполне обычный. Как и те, что раньше, только люди другие. Чужие. Или я не такой.

Утром огромная машина. Шумит, сигналист, ранние звуки эхом между домами. Гриши еще нет. Видно, завтракает или телевизор смотрит.

В детстве я любил такую машину. Приезжает, а люди с мусорными ведрами во дворе. Проморгал — пеняй на себя, трамбовать тебе газетные портреты вождей с отметками испражнений. Это в старой жизни. В самом первом дворе. Где начало — от родного лица и первых звуков. Приятно туда возвращаться, даже в мыслях.

И косцы начинают свою ораторию. Моторы ревут, жужжат. Вж-ж-ж-ж... Вж-ж-ж-ж... Плотно закрываешь окна, все равно — вж-ж-ж-ж... вж-ж-ж-ж... Подушку на голову — вж-ж-ж-ж...

После запах скошенной травы. Наркотический дух. Сгрести бы в стог, лечь и смотреть в небо. Пролетают самолеты, прыгают кузнечики над головой. Выбрать сухой стебелек и жевать, доставая последние капельки сока. А вокруг высотные дома. И люди на балконах курят или развешивают серое от стирок белье.

— Серега, ты куда?!

— В магазин.

— Сейчас выйду...

— И у нас в деревне так, — говорит Гриша, пихая ногой подсохшую траву.

— А ты чего?

— Там брат. Старший. Я туда не ходок.

Потом пауза расстоянием в два подъезда.

— Знаешь, за что я тебя уважаю? — говорит.

— За что?

— Ты не такой, как они. Не жадный. И то, что дрался с отдельными, твое дело. Я в это не лезу.

Что характер вздорный, это есть. Дискомфорт от неправильного восприятия жизни. Эти на лавочке задницы шлифуют, а у меня язык еще тот, закипаю.

— Колхозники, — говорю им.

Они в драку.

— Ты так не говори, — просит Гриша.

Если чужак, да еще о прошлом, крепко переживают. Потому что уже другие, одеваются прилично, а нелюбовь — это природное, нравственное, обоюдное. Как это — в кармане хрустит, а сухой? Неправильно. Ненавидят.

А Гриша всегда спокойный. Уравновешенный. Рассудительный.

Зимой не сидит на лавке. Лишь чистит от снега, но не садится. Стоит рядом, курит. Потому что соединенные в конструкцию зеленые доски не просто ощущение своего — сакральный смысл бытия. Зона понятная и духовно близкая. Пойти на соседнюю скамейку — как предательство. Можно посидеть, выпить, поговорить, если угощают, но всегда обратно тянет магнитом. Как к тому месту, где родился.

— Смотри, — говорит. — Птицы прилетели. Как поют! Значит, весна скоро.

- Ты бы книжку почитал, — говорю. — Сидишь, скучаешь.
- Я все прочел.
- Все?
- Что надо, прочел.
- Тогда да.

Он щурится, смотрит в точку. Паузы — это нормально. Потом оживает мимика, лоб морщится, чуть заметная улыбка.

— Видал Дай Рубля? С подбитым глазом. Зацепился возле магазина. Дурак. Сопьется. Говорю: «Завязывай так пить». А он: «Пока всю водку не выпью, не успокоюсь». Разве можно выпить всю водку?

- А ты чего?
- Я меру знаю.

На этом погружается обратно в иные миры. Он не хочет всю. Лишь то, что положено. Знаю точно.

Жена его со мной тоже здороваается. С ней на «ты», хотя с остальными исключительно с высоты формализма, кроме молодежи. Те больше наши, чем их, вырываются, превращаются из гусениц в бледных мотыльков.

Несет тяжелые сумки, останавливается продышаться.

- А чего Гриша не поможет? — говорю.
- Ты что, у него сердце и почки. Еле ходит.

Про другое не спрашиваю, это как осиное гнездо разворошить — с последствиями.

А еще у них хромая собака. Что-то с лапой, частично ампутирована. Выскакивает, лает на прохожих, будто все четыре в порядке. Считает подъезд своим и немножко хозяев. Остальные — враги или полувраги. Противная собака. Компенсатор по доброте и ненависти. Смотрит исподлобья.

Вечером разворачиваю газету — до сих пор люблю бумажную широту на длину вытянутых рук, — включаю телевизор. Ем ванильные сушки с чаем или лимонные вафли. Что творится на улице — не интересно, если не доходит до скандала или драки. Иногда смотрю в окна напротив. Люблю подглядывать за чужой жизнью. Не нарочно. Пусть шторы плотные вешают. Прохлада перемешивается с дневным зноем, и молочная теплота растекается по телу, дышится по-особому. Мысли тогда хорошие.

Все у нас по-старому. Весна сменяет зиму, лето — весну, осень — лето, день — ночь. Окна то заклеиваешь, то моешь. И зонт не беру. Если дождь, то просто иду, и все. Не смылюсь. До метро пешком четыре остановки в любую погоду.

Когда Гриша на лавке, стало вдруг неуютно. Пришла боязнь ненужных диалогов.

- Ну что ты все один да один? На боевом посту.
- Ай...
- Ну бывай.

А потом Гриша умер, и скамейка опустела. Собака перестала лаять просто так. Одиноко стало.

Лишь качели скрипят. Даже когда никого. От ветра скрипят. Просто так. Особенно поздней осенью.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ

С 24 по 26 сентября прошло очередное, ставшее уже традиционным Межрегиональное совещание авторов Сибири и Дальнего Востока. Организаторами его выступили редакция журнала «Сибирские огни» и министерство культуры Новосибирской области. В этом году, как и в предыдущем, совещание проходило в формате онлайн — что связано, конечно же, с пандемией. Однако это обстоятельство никак не помешало плодотворной работе секций, бурному обсуждению рукописей, общению авторов и руководителей совещания.

В секции поэзии были рассмотрены стихотворные подборки авторов из Новосибирска, Иркутска, Читы, Амурской и Кемеровской областей, из Забайкальского и Алтайского краев.

В предыдущем номере журнала мы печатали стихи иркутянки Елены Перетокиной. Сейчас предлагаем вашему вниманию стихи еще трех участников прошедшего совещания.

Константин ГРИШИН

Село Мамонтово, Алтайский край

* * *

Тонкий запах ранета, сирени.
Умирающий май за окном.
Наполняется счастьем весенним,
Тихой музыкой маленький дом.
Я проснусь в тишине, на рассвете,
Прогоню на прогулку кота.
Только листья огромные эти
И спасительная красота.

* * *

...А в планах — болдинская осень,
Лип царскосельских полумрак.
Уехать в Бонн, как Пауль Госсен...
Был мал — не знал, что будет так.

С тобой утихнет перекличка,
 Погаснет отраженный свет...
 Любовь — опасная привычка,
 Как дым болгарских сигарет.

* * *

На московских вокзалах
 Отменить поезда,
 В синем сумраке, алом
 Не гулять никогда.
 Есть куда торопиться,
 Чем легко пренебречь.
 Молодая черница,
 Кольхание плеч.
 Это будет непросто:
 Не текут реки вспять.
 Здесь Васильевский остров.
 Приходи — умирать.

* * *

Я чувствую: времени мало,
 Оно безвозвратно уйдет.
 Пиши некролог запоздалый
 И сам отправляйся в поход.
 К чему эта вечная спешка,
 Усмешка нервических губ?
 Я пешка, обычная пешка.
 А ты говорил: правдоруб.

* * *

Мне нравится нелетная погода,
 Туманное густое серебро.
 Я выхожу гулять с моим народом.
 Я снаряжен вытряхивать ведро.
 Какая тишь в любимом переулке!
 Молочный сумрак. Бархатцы в цвету.
 Люблю sentimentальные прогулки
 И тихую земную красоту.

* * *

Живу и надеюсь на чудо,
 Блаженным и сырим под стать.
 Не мучаюсь творческим зудом,
 Стесняюсь с утра выпивать.

Советы подальше уехать
 Встречаю понятной тоской...
 Послушай: я все-таки эхо,
 Я призрак, я шум городской.

Вера ДОРДИ

Новосибирск

Выбор

Ты говоришь, снега и маябри
 забудутся, лишь дверцу отвори,
 что видимо-невидимо широких
 путей туда, где людям повезло,
 и проклинаешь весело и зло
 страны моей несметные пороки.

А я нарежу сыр и черный хлеб
 и не скажу, насколько ты нелеп,
 когда кричишь про свой нелегкий выбор.
 Послушал бы, как в сумраке густом
 стихает лес за стареньким мостом
 и гулко отмечает: «Выбыл, выбыл».

Пока рассвет еще неразличим,
 давай на посошок и помолчим.
 Остаться — невеликая причуда.
 Я, может, и уехала бы, но
 зачем же сокрушаться об ином —
 что все не то, чем кажется отсюда.

А ты, когда истают фонари,
 соври мне, обязательно соври,
 что где-то там, в своем любимом кресле,
 хоть ненадолго станешь уязвим,
 когда шепнет залетный серафим:
 «А если бы остался ты, а если?»

Что нежностью затопит до виска —
 почудится, до явности близка,
 отчизна. И, простив ее изъяны,
 сорвешься перетянутой струной —
 увидеть бы не рай свой островной,
 а этот лес и мостик деревянный.

Лидия ШАРКУНОВА

Иркутск

* * *

Себя в себе не слышу отчего я?
Пространство тут совсем безречевое,
Без окон, без дверей и без начала —
И потому я тоже замолчала.

Чужие мысли рядом проплывали,
Но внутрь меня они не проникали —
Ни отзвук, ни вибрация, ни шепот...
И я перенимала этот опыт.

* * *

Человек, не знающий покоя,
Произносит легкое такое,
Легонькое, легонькое, лё...
Слово отправляется в полет.
Слово отправляется, отпра...
К неизвестной точке невозвра...
Точка растворяется как дым.
Говорим зачем-то, говорим...

* * *

Вот я пишу о своем сокровенном, о личном...
И понимаю, насколько все это вторично,
И понимаю, насколько все это, насколько...
Слов не хватает, одни междометия только...
Вот я пишу и рифмую себя наизнанку,
Будто вскрываю забытую детскую ранку,
Что-то черкаю и вдруг замечаю привычно —
Даже изнанка моя
почему-то вторична...

ПРЕОДОЛЕТЬ ЗИЯЮЩИЕ ПУСТОТЫ

Беседа с Капитолиной Кокшенёвой

«Преодолеть зияющие пустоты» — такое название интервью дала Капитолина Кокшенёва — известный критик, главный научный сотрудник Института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, доктор филологических наук и научный редактор уникальной книги, о которой мы и поговорили. Институт Наследия издал «Избранные произведения. Философия. Психология. Культура» Петра Евгеньевича Астафьева (1846—1893) — классика русской философии.

Петр Астафьев — русский философ-спиритуалист, психолог и публицист из плеяды национальных мыслителей-классиков конца XIX века — родился 7 (19) декабря 1846 года в деревне Евгеньевке Воронежской губернии в богатой дворянской семье.

В 1864 году Астафьев поступил на юридический факультет Московского университета. Уже в студенческие годы Астафьев обнаружил склонность к философии. Окончив университет в 1868 году, Астафьев в течение двух лет пробыв кандидатом на судебные должности, а в 1870 году был зачислен в стипендиаты Демидовского юридического лицея в Ярославле для подготовки к получению профессорского звания. В 1872-м издал свой первый философский труд «Монизм или дуализм» и в течение трех лет читал курс философии права в ярославском Демидовском лицее в звании приват-доцента.

В 1876 году Астафьев оставил лицей и в период общественного оживления, связанного с русско-турецкой войной, занялся публицистикой. В течение двух лет Астафьев занимал должность мирового посредника в Подольской губернии. В этот период он занимается составлением обзоров экономической жизни губернии, сотрудничает с «Киевлянином» — газетой консервативно-монархического направления, издаваемой В. Я. Шульгиным, отцом знаменитого русского националиста В. В. Шульгина.

В 1881 году Астафьев был приглашен М. Н. Катковым на должность заведующего университетским отделением Императорского лицея памяти Цесаревича Николая (так называемый Катковский лицей) и занял в нем кафедру философии, где преподавал гносеологию, психологию, этику и логику. С 1885-го Астафьев при содействии Каткова становится также цензором в Московском цензурном комитете.

В эти годы Астафьев был одним из самых активных участников Московского психологического общества — крупнейшего философского общества России — и сотрудничал с журналом «Вопросы философии и психологии».

По своим общественно-политическим убеждениям Астафьев был идейно близок к «Московским ведомостям» М. Н. Каткова и неославянофильскому кругу журнала «Русское обозрение».

С 1890 года и до последних дней жизни Астафьев трудился приват-доцентом историко-филологического факультета Московского университета.

Астафьев скончался 7 (19) апреля 1893 года в Петербурге в возрасте 47 лет от разрыва сердца.

— Почему «зияющие пустоты»? Вы отсылаете читателя к книге Александра Зиновьева «Зияющие высоты», запрещенной в СССР, в которой критиковалось общество «реального социализма», с оптимизмом поддерживающее миф о светлом будущем — коммунизме?

— Понимая, что такая ассоциация возможна, я, тем не менее, хотела бы этим названием сказать, что в современном культурном и гуманитарном пространстве (как и в обществе «реального социализма») нельзя не заметить серьезных подмен: всевозможные «новые технологии», новые слова от культуры цифры, разросшаяся во все стороны информационность и наше многознание уводят нас все дальше и дальше от понимания друг друга, даже если мы находимся в одном профессиональном поле. Вот эта разнополосица и разноголосица прикрывает часто ту самую «зияющую пустоту», которая очень тревожит. Гуманитарий потерял центр — ему равно нравится Фрейд и Вл. Соловьев, Иван Ильин и Деррида, Пушкин и Бродский. Но я живу и пишу в согласии с иной позицией. Суть ее в том, что только на отеческой (русской) почве может вырасти большой художник и великое произведение. Следовательно, изучение самой «почвы» (ее «питательности» или «отравленности»), национальной природы человека (здоровой, больной, искаженной, способной к выздоровлению, творческой), внимание к философскому фундаменту как основанию понимания себя и своей культуры — просто обязательно для гуманитария.

— Не кажется ли вам, что сегодня уже нет того довольно массового внимания к философии и философам, которое наблюдалось, например, в начале девяностых годов, когда были открыты так называемые религиозные философы, когда все журналы перепечатывали то наследие, в том числе и русского зарубежья, которое было от нас сокрыто: от Солоневича и Тихомирова до Лосского и Бердяева?

— Да, кажется. Массовым было внимание именно к Серебряному веку и его «философским исканиям» в лице Вл. Соловьева, Вяч. Иванова и к русскому зарубежью (Г. Флоровскому, например). Сегодня это внимание явно ослабло. Но давно и упрямо шла иная работа — по возвращению классиков русской философии, которые не были в эмиграции и не являлись деятелями Серебряного века, но среди которых, безусловно, весомо и важно наследие Петра Евгеньевича Астафьева. Он написал свои главные труды в последней четверти XIX века. Чтобы написанное в ту пору обрело жизнь и более-менее широкий круг читателей, исследователей и последователей, нужно время. А его вдруг

не стало — не стало потому, что случился октябрь 1917-го и все те русские философы, которые, как Астафьев, любили «больше всего *Бога, жену и философию*», оказались попросту под спудом. Ну никак не представить себе философа с такими приоритетами на кафедре Коммунистического университета им. Я. Свердлова. Огромный вклад в формирование национального взгляда на философию внес наш современник — петербургский философ Н. П. Ильин, который недавно выпустил монографию о П. Е. Астафьеве «Истина и душа. Философско-психологическое учение П. Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями». Он же является главным составителем, автором вступительной статьи и комментатором нашего тома его «Избранных работ». Безусловно, его заслуги тут трудно переоценить.

— **Какова структура книги?**

— Книга вполне академическая, но живая и пульсирующая мыслью. Первый раздел состоит из основополагающих философско-психологических работ Петра Евгеньевича. Это — «Страдание и наслаждение жизни. Вопрос пессимизма и оптимизма», «Идеал и страсть», «Перерождение слова», «Последние тени прошлого», «Генезис нравственного идеала декадента» (о Ф. Ницше), «Нравственное учение гр. Л. Н. Толстого и его критики», «Чувство как нравственное начало», «К вопросу о свободе воли», «Национальность и общечеловеческие задачи».

Для думающего читателя совершенно понятна актуальность всех тем, о которых говорит Астафьев. Вот только так строго, последовательно и полно мыслить мы, увы, разучились. Состояние нашего знания замечательно точно описал другой петербуржец — Николай Калягин. «Представьте себе, — говорит он, — некую шахту, в которую люди спустились однажды за новым знанием — и разбредлись, потеряли друг друга. Но в остальном все идет по плану. Искомое новое знание добывается днем и ночью, шахта разрастается, во всех ее штольнях и ответвлениях трудятся замечательные специалисты — вот только докричаться один до другого давно уже не могут. Объединить их может только обвал и общая могила».

Мы нашей книгой все же дерзаем докричаться.

Второй раздел тома — «Современники о П. Е. Астафьеве как человеке и мыслителе». Здесь помещены замечательные воспоминания Н. Я. Грота, В. П. Якубовского, Л. А. Тихомирова, А. А. Козлова. В «Приложении» даются три работы Н. П. Ильина, объединенные названием «Искусство понимания» и дающие пояснения к нескольким статьям Астафьева.

— **Мы могли бы поговорить более обстоятельно о какой-либо статье, помещенной в том «Избранных произведений»?**

— Я бы обратила внимание читателей журнала на статью Астафьева «Перерождение слова». Напечатана она впервые была в «Русском вестнике» в 1892 году. Название статьи весьма актуально — но будем помнить, что перед нами статья философа, которая с первых абзацев указывает на *слово* «как на творческую, созидающую, всеобразующую и мировую *духовную силу* (здесь и далее выделено мной. — К. К.), а не простое условное средство выражения готовой мысли, передачи ее “с рук на руки” от одного человека другому, ради тех

или других нужд, удовлетворяемых в общежитии». То есть, указав, что для всех древних народов именно *слово* было «источником и образующим, устрояющим началом всей жизни», Астафьев переходит к современности.

Мне бы хотелось, чтобы читатели услышали голос самого Петра Евгеньевича, почувствовали ход его мысли, ее ясность. Он говорит об удешевлении слова, которое вызвало книгопечатание, и о новых веяниях, с этим связанных. Внимательно прочитаем его размышления — и представим, что книгопечатание заменено новыми цифровыми технологиями, которые катастрофически ускорили все те процессы, что описаны нашим философом: «Книгопечатание, благодаря техническим усовершенствованиям нашего века, дает возможность с почти *невероятною* быстротой и в *страшных* массах ежедневно доставлять всё новые и новые произведения слова всем, кому они могут быть доступны; а *доступность их, с распространением начального образования и путей сообщения, стала почти безграничною*. Число неустанно выбрасываемых чудовищными новейшими скоропечатными машинами на рынок *произведений слова* ежегодно возрастает в такой громадной пропорции, что в недалеком будущем уже должны возникнуть вопросы о том, как и где хранить эти горы печатной бумаги для возможности пользоваться ими нашим детям. Уже теперь с этой *страшной* массой *произведений слова* не в силах *сладить самый сильный и трудолюбивый отдельный ум*. Следить за текущею литературою в ее целом стало уже невозможно отдельному лицу, не специализируясь все более и более в одной какой-нибудь области ее. Но и для этой задачи скоро уже потребуются целые учреждения, особая литература книг о книгах, особые обозрения обозрений, каталоги каталогов и особые для них библиотеки! Параллельно с этим *безграничным размножением произведений слова, в подавляющей массе которых все труднее становится современному человеку разобраться, сделать сколько-либо сознательный, неслучайный выбор своего чтения, возросло уже до десятков миллионов и число питающихся этою, по-видимому, изобильной духовною пищею читателей и — до десятков тысяч число писателей, имена и особенности которых также быстро и бесследно поглощаются в общей массе, как и особенности их произведений*. Пути сообщения и быстрый рост мировой промышленной и торговой жизни, уничтожая преграды расстояния, всяких национальных и бытовых особенностей, связуя между собою самые отдаленные центры умственной, политической и экономической жизни и создавая для современника массу общих интересов с людьми самых различных стран, рас, культур и государств, создают для него и необходимость непрерывно следить за всеми событиями и течениями их жизни. Становится делом первой важности знать все, на нее так или иначе влияющее и умственно, и экономически, и политически. Создается для огромных масс необходимость в ежедневных отчетах о всех явлениях этой жизни, более или менее захватывающей каждого в свое течение; *создается и ежедневная печать, удовлетворяющая этой никогда не отдыхающей, ни на чем не успокаивающейся потребности*. Развивается журналистика, специальное назначение которой — знакомить читателя исключительно с изменяющимся состоянием важнейших вопросов *текущей* жизни, для возможности участвовать в ней, со значительными общественными фактами и господствующими в данный момент направлениями общественной мысли об этих текущих, “злободневных”

вопросах. Образуется и выделяется из образованной массы и специальная разновидность читателя, обращающегося к литературе не с вопросами мыслителя или любителя искусства, не в поисках идеи и художественного образа, не томимого задачами мировоззрения и вечно волнующими живой развивающийся дух вопросами глубочайшей внутренней жизни, но единственно за справками о состоянии вопросов, составляющих злобу дня, о фактах, их рождающих, и о том решении этих вопросов текущей жизни, которое составляет содержание и задачу “общественного мнения”. Подобный читатель, не могущий прожить дня без газеты, изредка и на досуге заглядывающий в толстый журнал и почти никогда — в книгу, ищет в той литературе, которая ему жизненно-необходима, не того, что могут дать ему мыслитель или художник, но лишь того, чему он может научиться от репортера, корреспондента, хроникера и высказывающего решения “общественного мнения” публициста. *Ему нужны в литературе не идеи, но факты, не мировоззрения, но программы.* <...> Чтение для него жизненно-необходимо, но задача литературного слова для него всецело разрешается журналистикой и преимущественно газетой. Его мысль постоянно озабочена массой вопросов и интересов, но все эти вопросы и интересы — исключительно вопросы и интересы “злобы дня”, текущей жизни, занимающие “общественное мнение”, и за которыми для него не существует более глубоких вопросов мировоззрения, вечной истины, правды и красоты. *Не требует он и никакого законченного мировоззрения и глубоких идей от того писателя, к которому обращается за нужным ему поучением, никакого духовного средоточия мысли и чувства, которого и в нем самом нет, в котором он и не чувствует даже внутренней потребности. Он слишком быстро живет, его душевные силы слишком поглощены вихрем быстро сменяющихся и разнообразных задач настоящей минуты, чтобы оставить ему досуг очень глубоко вдумываться в эти задачи, обсуждать смысл своей “деловой” жизни и вчитываться в свою литературу, с которой он только по мере надобности справляется, в которую только мимоходом заглядывает.* Полнота и точность сведений репортера и хроникера, определенность тенденции, ясность и согласие с господствующим направлением общественного мнения у публициста — вот все, чего только требует он от своих “учителей слова”. *Никакой глагол, конечно, не может “зажечь сердца”, глубоко и плодотворно взволновать духовный мир подобных читателей, за отсутствием в них самих запросов сердца и мысли, сердечной теплоты и духовной глубины при обращении к поучению слова.*

Астафьевым ухвачена суть процесса, в котором мы узнаем и себя. Только вместо газеты — социальные сети, вместо новости репортера — пост в фейсбуке; слово обслуживает неприхотливые потребности в фактах и злободневности. Эту информационную среду Петр Евгеньевич называет «миром летучей журналистики». Но уже тогда, а тем более сейчас, именно в этом мире (социальных сетях и массовых СМИ) формируется общественное мнение. А вот тут внимание!

— Я, честно сказать, удивлена теми точными прогнозами, которые более ста лет назад заключены были в статье Астафьева. Мы сегодня так дорожим общественным мнением, развиваем гражданское общество, а вот Астафьев настроенно к нему относится?

— Да, это так. Он довольно определенно осуждает так называемое «общественное мнение». И делает это потому, что общественное мнение начинает доминировать, подчинять себе «духовную жизнь отдельного лица»: «Все значение слова в этом мире интеллигентных читателей, ищущих только справок, но не нуждающихся в мировоззрении и идеях, — мире летучей журналистики и общественного мнения, исчерпывается *полезностью* этого слова и *необходимостью для нужд текущей общественной, но не более глубокой, внутренней личной жизни человека*». То есть, с одной стороны, он говорит нам, что фантастически растет количество пишущих, кто обеспокоен исключительно тем, чтобы это самое общественное мнение выражать, а с другой стороны, именно их-то произведения и ничтожны: «Давая читателю своему лишь то, что не требует от них самих ни законченного определенного мировоззрения, ни глубины мысли и чувства, ни личного творчества — одни наблюдения, факты и протоколы жизни, они все более входят в роль простых докладчиков о текущих событиях и выразителей общественного мнения, сами все более обезличиваются и обеспложиваются. Писательство из высокого и тяжелого служения, призвания — обращается в более или менее прибыльное, но отнюдь не поглощающее всех духовных сил и стремлений писателя, не требующее их крайнего напряжения, как и не придающее ему какого-либо особо высокого личного достоинства, — ремесло. <...> Стремление творить что-либо долговечное... — все более покидает их производство литературного товара, требующегося на срок и срок очень краткий. *Дух все более оставляет и их самих, и их протокольные произведения*».

— То есть Астафьев связывает «перерождение слова» с вот такой «протокольной литературой»?

— Да. Такую литературу потребляет «интеллигентная масса», и деградация слова становится следствием того, что она удовлетворяется простейшей функцией слова — способностью его *сообщать* новости и факты. Но ведь слово (с древности) было *творящим*, несло огромное мысленное содержание, к которому больше нет внимания у читающей массы. Слово «справочной и протокольной литературы» стало под стать модным течениям века — позитивизму и утилитаризму, критике которых посвятили многие страницы русские философы. «Безымянная, анонимная и псевдонимная, лишенная всякого отпечатка личной творческой мысли и оригинального таланта, — пишет Астафьев, — справочная и протокольная, чуждающаяся всех вопросов, не входящих в круг вопросов мимолетной злобы дня и забот общественного мнения, как праздных и недоступных, богатая не идеями, но фактами, не системами, но программами и тенденциями общественных партий, — эта литература интеллигенции, летучей журналистики и общественного мнения, конечно, и не уважается, и не глубоко захватывает жизнь души. Она столь же характерна для умственной жизни конца нашего века, как и то громадное значение, какое приобрели в его социальной и политической жизни эти три новые могущественные силы последней: интеллигенция, журналистика и общественное мнение. Эти силы развиваются в теснейшей взаимной связи». Слово само становится утилитарно, если его используют для сообщения фактов, интересующих общественное мнение, и не нагружают его серьезными мыслями, которые, конечно, требуют усилий личного

понимания. Как говорит Н. П. Ильин в своей книге об Астафьеве: «Именно проблема *понимания* является центральной проблемой той “философии языка”, которую набрасывает Астафьев в своей статье». Произведениям протокольным он противопоставляет «произведения творческого слова».

В наше время чаще всего акцентируется внимание на вербальной коммуникации, на профессиональной языковой коммуникации, на моделях речевой коммуникации и так далее. Для Астафьева, не принимающего (потому что хорошо понимающего) давления общественного мнения как заглушающего работу личностного самосознания, слово, язык прежде всего важны как *развивающие человека духовно*. Философ говорит, что слово необходимо «для перехода мысли от непосредственного, неустроенного хаоса восприятий и представлений — к мышлению о представлениях, мышлению сознательному, рефлектирующему». Он подчеркивает не только образовательное, просвещающее, но и «устраивающее призвание слова», столь необходимое для самосознания. Ведь мы и к самим себе (а не только вовне себя) обращаемся с речью!

— Видимо, Астафьев был внимателен и к психологии? Ведь для объяснения творческой силы слова психологическое знание ему было важно?

— Для русской философии, а тем более для Астафьева, давшего нам чеканную «формулу» русской культуры — «душа всего дороже», — слово, конечно, связано с внутренним, душевным самопознанием: «Понимание произведений слова, как и произведений других искусств, поэтому у каждого, как основанное на его собственной душевной самодеятельности, субъективно, индивидуально, не вполне тождественно с пониманием другого, хотя и все слышат совершенно тождественные возбуждающие деятельность понимания звуки и видят тождественные образы».

Я бы обратила внимание тут на *самодеятельность*, потому что, говорит философ, знание мы усваиваем пассивно и безлично, а вот понимание — «дело душевной, свободной самодеятельности» и всегда имеет «личный оттенок».

Я бы хотела, завершая наш разговор, привести еще одну цитату Петра Евгеньевича, очень тонкую и удивительно точную, отражающую суть его философии: «Я только в той мере действительно передал мою мысль — с какой бы ясностью и полнотой сам ни сознавал ее — моему слушателю или читателю, в какой *последний сам ее мыслит*, сам *собственную деятельность* вносит определенность и полноту содержания в тот намек на мысль, который я дал ему своим словом, знаком, картиною: *человек лишь постольку понимает другого, поскольку понимает себя*». Я, конечно, опустила тут подробную систему доказательств, которую в статье приводит философ. Его работы позволяют нам правильно видеть себя и сознательно воспринимать многие процессы, которые характерны для современной культуры. Ведь весь новейший постмодернизм и посттеатр учат нас совершенно другому — с точностью до наоборот нам внушают, что нужно понять другое (чужое), чтобы понять себя и свое, а при таком акте сознания и происходит вытеснение, замена, подмена, поглощение присущего тебе — чужим.

Лично меня очень огорчает низкая философская культура наших писателей, публицистов, режиссеров (особенно последних, так как я погружена в современный театр). Если все же считать, что именно человек есть центр культуры, то тонкое, точное и глубокое описание процессов понимания и самосознания русскими философами становится жизненно необходимо.

Беседовала Елена Богданова

Народные мемуары

Александр САВЧЕНКО

ПОД ЗНАКОМ СОЁМБО

*Воспоминания советского специалиста**

Верный способ

На этот раз мы возвращались из Улан-Батора. Водитель уверенно рулил по изгибам сайров. Сайры — это сухие русла горных рек. Их длина может достигать нескольких десятков и даже сотен километров. Они в обычное время, как дорога, ровные, накатанные, но не автомобильными шинами, а пронесшимися во время ливней огромными валунами. Сайры спят до дождя в горах. А время дождей наступает в конце лета.

...Рассказывают, что в годы войны с японцами одна наша часть расположилась в междугорье на ровной, чуть покатой площадке. Вечер был тихий, а в полночь разразилась гроза. Ливень попер с верховьев гор. Тысячи кубометров воды катились по мелким и крупным сайрам, сливаясь в один ураганный селевый поток. В это время люди мирно спали в палатках, лошади дремали на привязи... Тут же находились зачехленные пушки, походные кухни.

По сайру, где располагались военные, пронесся сокрушительный вихрь. И вскоре на земле уже не было ничего — все было смыто, разрушено, искорежено и унесено за десятки километров от подножия гор... Трагедии бы не случилось, если б среди наших бойцов находились местные жители или специальные проводники.

А в хорошую погоду — экзотично проскочить по сайрам, сократив большое расстояние, сэкономив время и горючее. Так мы однажды ехали из Улан-Батора. Но все равно ночь застала нас, как только спустились в низину. На пути оказался небольшой поселок Средне-Гобийского аймака.

— Давай туда! — приказал водителю наш попутчик, сотрудник редакции «Гобийских новостей» Тудэв.

Возле кирпичной гостиницы стояло несколько автомобилей. Две легковушки и три или четыре грузовика. Во дворе при свете фонариков передвигались люди.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2021, № 10.

— Сайнбацхану (по-монгольски «здравствуйте»)! — громко поздоровался я.

Мне ответили по-польски:

— Добры вечур!

Мужчина в широких штанах и белой майке стал рассказывать, что они палеонтологи, ищут останки каких-то завров.

— Были в пясках, — подытожил он и добавил, что сейчас будет общий дружеский ужин.

Это оказалось кстати: у нас разыгрался звериный аппетит от тряски по каменистым дорогам.

Из отдельно стоящей палатки вылезли еще пять человек — двое в майке и шортах, трое в светлых футболках и трико.

— Вот и кстати русский брат, — подал руку седовласый мужчина в очках. — Я профессор Юлиан Кульчицкий, а это мой коллега Казимир Ковальский. Надо отметить встречу.

Ну кто же откажется от таких теплых слов и от такой компании?.. Я знал, что по Гоби разъезжает польская экспедиция в поисках костей динозавров. Слышал от наших геологов, что миллионы лет назад на месте Гоби бушевало голубое море. Но случилась глобальная катастрофа. То ли столкнулась с Землей комета, то ли на нее упал обломок другой планеты. Но море здесь исчезло, осталась выжженная до красноты поверхность мертвой почвы. Хвостатые бедолаги, жившие на берегу моря, в один момент погибли. Но кое-что от них сохранилось.

В начале века здесь почти всю округу прочесали американцы. Но дальше им путь закрыла Народная революция под руководством Сухэ-Батора. Теперь по межправительственному соглашению палеонтологические ценности искали поляки...

Из спиртного была какая-то мерзкая водка. Видно было, что поляки привезли запасы с далекой родины. Из еды — лапша с мясом. Необыкновенную вкуснятину подавала пожилая женщина из obsługi гостиницы.

После второй стопки стал клеиться настоящий разговор, хотя мы говорили на плохой смеси русско-польско-монгольских слов. Вскоре спрятался серпик луны, и мы стали расходиться по своим местам.

Проснулся я с рассветом. Вышел во двор. Из палатки поляков разносился тягучий храп. Остановился возле стола, где стояла немытая с вечера посуда. В каждой алюминиевой чашке среди недоеденной лапши торчали черные овечьи волосы.

— Наелись по темноте... — усмехнулся я про себя.

Но тут же мое удивление погасло. Мало ли этих волосев я наглотался за проведенные здесь полгода. Это — как пыль полей, как аромат садов. Овечий волос сопутствует в Монголии человеку на каждом шагу. Так повелось от века... Он лежит везде. Пусть это будет блюдо из рыбы или курицы, но маленький, почти невидимый волосок обязательно встретится в еде. И почти всегда даже в чае... От этого никуда не денешься. Такая специфика быта. Ведь овца для монгола — это изначально все. Баранина — основная пища народа. Здесь из двадцати миллионов скота 60 % — овцы. Из овечьей шерсти изготавливаются ткани, войлок для юрт, войлочная обувь. Из овечьих шкур шьют шубы, дубленки и другую теплую одежду. И еще следует учесть, что при извечном дефиците воды мясо в быту не промывается водой. Монголы свято верят, что вода уносит из мяса все вкусовые качества и полезные свойства. И что вы еще хотели после этого?

...Наш водитель, молодой парень, от усталости и от выпитого крепко спал. Тудэв безуспешно тряс его хилотное тело. А солнце начинало быстро карабкаться в высоту.

Я вспомнил наш старинный способ выведения человека из похмелья.

— Поддай пиалу с холодной водой! — попросил я Тудэва.

Взял сосуд за донышко и плеснул весь заряд воды в лицо безмятежного водителя. Пиала, к сожалению, выскользнула из моих рук и вместе с водой уткнулась в лицо парня. Тот, словно и не спал, резко вскопился и, ничего не понимая, сел на коричневое шерстяное одеяло.

— Пожалуй, надо ехать? — догадливо выдал он.

— Надо, надо, — по-монгольски ответил Тудэв. — Явна! («Поехали!»)

Поляки еще дрыхли, когда мы отчалили домой.

...А через полмесяца Тудэв признался мне:

— Хороший способ у вас пьяного отрезвлять. У меня недавно сосед тоже сильно набрался. Ничего на него не подействовало. Я взял пиалу. Правда, воды под рукой не оказалось. Ну и врезал ему по лицу. Соскочил дружок, как маленький...

Какой же я был дурак: не растолковал в первый раз Тудэву старинные русские секреты.

Кто первый после человека?

В Монголии это, конечно, конь. Особая любовь человека к лошади известна давно во всем мире. В какой-то мере есть она и у нас — возьмите казаков или цыган... Но у монголов связь человека с лошастью окутана особой аурой, которую мне постоянно приходилось видеть и чувствовать.

Неслучайно лошадь считается традиционным подарком мальчику и преподносится на третий его день рождения. Из пяти видов стадных животных, встречающихся в Монголии, лошади обладают самой высокой ценностью. Но, как ни странно, монголы не дают своим лошадям имен. Они различают их по масти, клейму, шрамам и другим меткам. Более пятисот слов в монгольском языке описывают разные черты и повадки лошадей.

Едем в машине. Доржсурэн рассказывает:

— Наш человек без лошади — это ничто. И лошадь без него — просто животное. Ты заметил, что монгольский человек из юрты в юрту к соседу не ходит пешком? Даже если другая юрта находится на расстоянии тридцати метров... Монгол без коня — что птица без крыльев.

Монгольская порода низкорослых пузатых лошадей действительно необыкновенна. Феномен этот создан природой самой Монголии. Здесь самый сухой климат на планете, и поэтому каждое живое существо просто обязано иметь свои отличительные черты. Монгольские лошади всегда коренастого сложения, с относительно короткими ногами и большой головой. Они весят около 270 килограммов, имеют некоторое сходство с лошадью Пржевальского, но, в отличие от последней, их грива и хвост очень длинные (их волосы часто используют для плетения канатов и как струны для смычкового музыкального инструмента моринхура).

В отличие от наших лошадей монгольские родичи совсем не умеют ходить в упряжке. Так что груженные обозы вы здесь никогда не увидите. Для этих нужд есть верблюды.

Монгольские лошади скромны, выносливы и безопасно ходят по пересеченной местности. Но у этой породы животных есть слабое место — колени. Поэтому араты, зная такие особенности своих любимцев, зимой обходят глубокий снег, чтобы не застудить их коленные суставы. Почти все животные содержатся на воле. Лишь небольшое количество верховых животных ловится и привязывается. Никаких конюшен, например, таких, как у нас, в Гоби нет. Табун лошадей обычно кочует вокруг жилища хозяина на расстоянии нескольких километров. Но животные на воле могут выбрать для себя и другое пастбище, и бывает, что хозяева лошадей тратят на их поиски несколько дней...

Даже самая тихая, хорошо обьезженная лошадь неласково подпускает к себе чужого человека. А что говорить о скакунах, безмятежно бороздящих просторы Гоби... Вы, конечно, можете подойти к такой лошадке в косяке почти вплотную. Она только с осторожностью глянет на пришлого человека, пожеывая траву. Вы даже можете дотронуться до разгоряченной шеи гривастого красавца. Наконец, ласково почесывая его шею, постараетесь не промахнуться, сноровисто накидывая на зубастую морду недоуздок.

И в этот ответственный момент лошадь озаряет вас своим огненным взглядом и стрелой отбегает в сторону. Так можно вечно переходить от одной лошадки к другой и не достичь своей цели.

Но тут появляется табунщик — чародей, маг и волшебник пустынного края. В его руке длинная жердь с утончающимся концом, на котором прилажен полукруглый жгут из сыромятной кожи. Табунщик садится на своего коня и вскоре, нагнав намеченную жертву, накидывает на ее шею *ургу* — простейший монгольский аркан. А дальше передает лошадь на ваше усмотрение, справляйтесь сами — так принято в Монголии. Ловля необузданного коня здесь особое искусство. Им должен владеть каждый юноша.

Можно считать бедой, если норовистый конь унесет с собой ургу. Тогда лучше не показывайтесь на людях! Монгольские мужчины такую оплошность считают тяжким грехом. Поэтому молодые ребята, когда рядом нет взрослых, долго и тайно тренируются с ургой в дальнем табуне. Интересно вот что: лучшим обьездчикам лошадей, то есть профессиональным ургачам, в Монголии может присваиваться звание мастера спорта...

Когда лошадь научится нести наездника, она становится спокойной, дружелюбной и очень надежной. Пастухи считают своих лошадей формой богатства — это для них транспорт, еда и питье (молоко и кумыс). Кочевые араты с большим количеством лошадей считаются зажиточными, у них обычно животные находятся в хорошей форме — можно не только с ветерком прогуляться по степи, но и получить призовое место на скачках, а это бывает приличная сумма в тугриках.

Лошади юга Монголии не знают вкуса овса, они, как правило, живут за счет скудной растительности и требуют очень мало воды, что важно при выживании в условиях Гоби. Пьют они всего раз в сутки. С приходом зимы копаются в снегу, чтобы добыть остатки травы, а вместо воды едят снег. Летом кобыл доят шесть раз в день, через каждые два часа. Молоко используется для приготовления кисломолочных напитков типа айрака и кумыса. Конина весьма почитаема и считается самым здоровым и вкусным видом мяса.

Монгольские лошади широко использовались в армии Чингисхана. Лошадь помогала монголу добывать еду, воду, обеспечивала его передвижение, из ее

кожи делали доспехи, обувь и украшения, из гривы — тетиву и веревки, она помогала воину в охоте, а в случае его смерти — увозила в загробный мир.

Воины предпочитали ездить на кормящих кобылах, потому что они могли употреблять в пищу их молоко. В голодные времена конники даже перерезали небольшую вену на шее лошади и выпивали несколько глотков крови животного. Лошадь монгольского воина приходила на его свист и следовала за ним, словно собака. Воин приводил с собой в войско от трех до пяти лошадей и использовал каждую в свой черед, чтобы всегда под седлом было свежее транспортное средство...

У монголов существует много историй, песен, сказов, пословиц и поговорок, связанных с лошадьми. Лошадь с древних времен играет роль священного животного, и в быту сохранилось множество поверий, связанных с ней. Например, считается, что грива содержит дух и силу лошади; поэтому грива жеребцов всегда остается необрезанной. Кобылье молоко (особенно в виде кумыса) в прошлые времена применялось в церемониях очищения, при сотворении молитвы и благословении. Теперь оно продолжает использоваться во множестве церемоний, связанных с гонками и другими спортивными соревнованиями. Считается, что у лошадей есть духи, которые могут помочь или причинить вред своему хозяину после смерти...

Среди монголов раньше не было традиции подковывать лошадей. Это было связано в основном с тем, что при каждом воине находилось до пяти лошадей. В армии численностью свыше ста тысяч человек нужно было иметь сотни передвижных кузниц. Такого удовольствия завоеватель мира тогда не мог себе позволить.

...Но пролетели века. Во время Великой Отечественной войны на фронт отправилось несколько тысяч монгольских добровольцев и более четырех тысяч русских, проживавших тогда в Монголии. Наши ветераны часто вспоминают, как им в окопах приходилось открывать заграничные консервы и пробовать экзотику — американскую тушенку. А вот родная бийская, но из монгольского мяса, была повседневностью. Настоящая дорога от Улан-Батора до Бийска была протоптана скотом из Монголии. Бийский мясоконсервный комбинат в годы войны ежедневно перерабатывал до двух тысяч голов скота. Была здесь и монгольская конина.

Поставка самых лучших лошадей стала одним из основных видов помощи Монголии нашей стране во время войны. Их мы получили без малого полмиллиона голов. Эти лошади намного лучше были приспособлены для фронтовых условий, чем их европейские сородичи. К 1943 году каждая пятая лошадь на фронте была «монголкой». В Красной армии вплоть до появления моторизованных частей и соединений монгольских лошадей использовали как основную тяговую силу — они «служили» в кавалерии, тянули через болота пушки, вывозили в безопасное место раненых...

Участники войны отмечали исключительные качества монгольских лошадей: полудикие, неприхотливые, выносливые; сильные и не знают усталости; в коротких перерывах между боями сами щиплют траву, грызут кору деревьев и всегда готовы вступить в бой. Не случайно дважды Герой Советского Союза генерал Исса Плиев написал в своих воспоминаниях: «Монгольская лошадка рядом с советским танком дошла до самого Берлина».

За гранью жизни

Признаться, на монгольских похоронах я не бывал. Не был и на их погостах. Все это скорбное и не любопытства дело...

Запомнился хмурый осенний день в соседнем аймачном центре. Мы из-за непогоды остановились с ночевкой в местной гостинице. Пережидали мелкий, как из сита, дождик. Было позднее утро пятницы.

За окном послышался клекот трактора — легкое тарактенье двигателя «Беларуси». Трактор с включенными фарами медленно тянул тележку, на которой одиноко лежал гроб, сбитый из досок, — скорее всего, просто длинный ящик, предназначенный для хранения хозяйственного инвентаря...

За прицепом семенили двое унылых мужчин в мокрых шляпах. И все... Не знаю, кем был бедняга, заканчивавший свой земной путь под тарактенье трактора...

Смерть — предмет для размышлений у каждого человека. Загадка. Монгольский поэт Дашдоргов написал такие строки, выразив суть явления, которое мучает людей всю их жизнь:

Что значит смерть? — Человек
 Не знает, пока живет.
 А тот, кто ушел навек,
 О ней рассказать не придет.

...Перед этим у самого большого партийного руководителя в нашем аймаке Чимида умерла жена. Онкология не разбирается в рангах и достигнутых человеком высотах. На похоронах присутствовал Слава Черный. Он хорошо знал скончавшуюся женщину. Прощаться приходил вместе со своей женой Валентиной. Покойная лежала в отдельной, наскоро сооруженной юрте. Она полностью была накрыта белым покрывалом, так что лица ее никто не видел. Старший из родственников Чимида вручал каждому пришедшему символические подарки — вещи, которые остались после умершей. Кто-то получил ароматное мыло, кто-то большой коробок спичек. Славе досталась массажная щетка, а его Валентине — ножнички для обрезания ногтей. Только не подумайте, что все эти предметы действительно принадлежали покойной. Они совсем недавно лежали на полках ближайшего магазина...

На территории, предназначенной для захоронения, все происходило так же, как и у нас. Были слезы, искусственные цветочки, черные ленты, горькие слова. Когда гроб опустили в могилу, над ним установили прочный деревянный настил. Потом появился самосвал, и из него вылилась порция жидкого бетона, образовавшая в могиле толщу больше полуметра.

Что это обозначало, Слава так и не понял — либо часть общего ритуала, либо действие, сопровождающее проводы весьма чтимого человека в иной мир. Или еще что-то другое...

Говорят, что раньше у монголов не было обычая предавать умершего человека земле. Многих лам бальзамировали, а покойника из простонародья заворачивали в саван и с началом ночной темноты укладывали на спину животного (лошади или верблюда), которое отгоняли прочь. Где-то в степи, в пустыне или в горах труп скатывался с животного, и оно возвращалось домой. Иногда животные приходили к юртам со своей поклажей. Это было плохой приметой. Люди

в этом случае оставляли покойника на месте, разбирали юрты и вместе со скарбом и скотом перекочевывали в другие места... Но это не значило, что память умерших живущие не чтит. И быть похороненным на просторах своей страны считалось большой честью для каждого монгола...

Однажды я услышал легенду о похоронах Чингисхана. После торжественного прощания специальный отряд отвез тело покойного хана с его сокровищами и любимыми лошадьми в далекое труднодоступное место. Выкопали большой могильник, куда захоронили великого повелителя, его большие богатства, включая сорок самых лучших и любимых коней...

Могильник закопали, сровняли с землей и несколько раз прогнали по нему большой табун лошадей, чтобы скрыть следы погребения. Когда отряд возвращался назад, его поджидала засада — это был другой отряд, который полностью уничтожил тех, кто участвовал в непосредственном захоронении великого хана.

Вскоре по прибытии в лагерь был уничтожен и второй отряд, чтобы полностью скрыть не только место, но и направление к могиле повелителя.

К счастью (или несчастью), вышло, что недалеко от того места, где похоронили Чингисхана, случайно оказался простой паренек-арат — пас там свой скот. И он, зная страшный, но великий секрет, нес его в себе всю жизнь и только у порога могилы передал сыну. Так в одном роду из поколения в поколение потянулась эта тайна из тайн.

Когда барон Унгерн после революции в России захватил Ургу (нынешний Улан-Батор), к нему явился невзрачный человек, пожелавший за определенное вознаграждение раскрыть место тайного захоронения великого завоевателя. Естественно, того гражданина тут же припрятали в одиночку, чтобы он никуда не улизнул. Но войска красных неожиданно подступили к Урге. И унгерновцам ничего не оставалось, как застрелить бедолагу. Так трагически закончилась чья-то жизнь, заодно погибла с ней и многовековая тайна... А может быть, красиво завершилась легенда о знаменитом человеке и его несметных сокровищах...

Печенка из костра

Поездки в самый отдаленный сомон Ноён были всегда долгими и тягомотными. Приходились они, как правило, на конец месяца и длились всю рабочую неделю или дольше. Аймачный гидротехник Сухэ был невысоким парнишкой, окончившим недавно техникум. Большим авторитетом в своем управлении он пока не пользовался. Поэтому мне приходилось ездить с другими специалистами — либо с главным зоотехником аймака Агваном, либо с главным ветеринаром Доржсурэном. Они досконально знали всю подноготную края, места, людей. Их тоже знали все жители юга — ведь на этих людях держалось животноводство Южной Гоби.

Мне всегда было интересно с ними. Оба сносно говорили по-русски. А это много значило. Везде их искренне ждали и торжественно принимали. И в юртах простых аратов, и в юртах сомонного начальства — как правило, у председателей сельхозобъединений и у местных партийных руководителей.

Агван и Доржсурэн были совершенно разными людьми, но, отдать должное, оба слыли великолепными специалистами своего дела.

Агван — низкорослый, плотный мужчина лет сорока пяти. С узкими острыми глазами, типичный монгол. Резковатый, строгий человек. Мне кажется, он немного недолюбливал меня. Слава Черный тоже жаловался, что Агван отно-

сится к нему с заметной неприязнью. Но там была своя подоплека — оба были зоотехниками высокого класса. Агван понимал, что он по своему статусу коренного жителя намного выше Славы. И в то же время знал, что Слава превосходит его по уровню общих знаний в животноводстве. А со мной, с гидротехником, — что было ему делить?

Агван нередко заговаривал о своем происхождении, считал себя истинным халха-монголом с глубокими гобийскими корнями. Помните Халхин-Гол? В переводе это название значит «река монголов», «монгольская река»... Слава порой с Агваном яростно спорил, даже дерзил, они были почти ровесниками, и это их еще больше раззадоривало. А мне не было и тридцати. Я часто молчал и внимал Агвану, когда он выражал свое мнение... И все-таки ему было лестно появиться с советским специалистом Сашей (имя Александр почти никто из монголов не мог выговорить), который был ни бум-бум в вопросах выращивания ягнят или окота коз, но зато приехал из Советского Союза и разбирался во многих проблемах местного водоснабжения.

Я обычно не встречал в разговоры Агвана с должностными лицами. Иногда в беседах с простыми животноводами задавал вопросы, связанные с моей работой: сколько водопойных пунктов у них в округе, далеко ли они, чем оборудованы, часто ли высыхают источники и т. д. и т. п. Мне полагалось оказывать помощь в обеспечении водой не только животных, но и людей... А местные условия нужно было знать как свои пять пальцев...

Доржсурэну было около пятидесяти. Спокойный, уравновешенный человек. Сухощавый, совсем не спортивного вида. Не спорщик, настоящий знаток — врачеватель животных. Он иногда по-доброму подшучивал надо мной и очень любил, когда в командировку мы попадали вдвоем, третьим, естественно, был наш водитель. Доржсурэн окончил в Улан-Баторе университет и жалел, что в нашей стране был лишь единожды, на стажировке.

Как-то среди песков на кочевом стойбище он пригласил меня на экскурсию. Огороженный загон. Небольшой навес под брезентом. Заходим. Оказывается, идет искусственное осеменение овец. Макет овцы. Сзади необыкновенно возбужденный баран. Дальнейшие подробности опускаю. Скажу, что на минуту появляется овца... Но она даже не увидит своего партнера. С ней колдуют специалисты со шприцем и пробиркой. Вот и вся любовь. Баран в переизбытке чувств таращит на присутствующих глаза, не понимая, что творят с ним люди. А в жизни аратов это обыденное, более того, плевое дело, поставленное на поток...

Агван не любит отвлекаться от работы, он и в мелких разговорах напряженно деловой и всегда куда-то спешит. Доржсурэн позволяет себе расслабиться и часто повторяет: «Еще до ночи далеко, успеем!»

— Это гора Ноён, — поясняет мне Доржсурэн, когда мы останавливаемся около возвышающегося каменного чуда среди пустыни. — Давай поднимемся. Не боишься?

Конечно, во мне возникает первородный страх перед неизвестностью. Мы медленно ползем вверх по ступенькам, оставленным тысячами людских ног. Пятьдесят или семьдесят метров до плоской вершины по самому пологому склону.

— Ноён — по-нашему «король» или «царь». Откуда взялась здесь такая гора, никто не знает, — с восторгом говорит Доржсурэн. — Жаль, Саша, что у нас нет крыльев!..

Доржсурэн — фантазер и оптимист, но мне от этого не легче.

— Ты гляди, гляди! — торжественно тычет он пальцем куда-то на север. — Там настоящие песчаные барханы. Наш автомобиль их никогда в жизни не одолеет. А вон там растянулось соленое озеро. Люди добывают хлористый натрий прямо с его поверхности. Соль, правда, не совсем чистая. В пищу ее мало кто употребляет. Но на другие нужды годится...

Я почти не слушаю своего попутчика — уже полностью наслаждался окружающими красотами, теперь с неким трепетом думаю об обратной дороге. Спускаться вниз оказалось намного труднее. Чуть повернешь голову в сторону — и сразу кажется, что мгновенно отлепишься от каменной стены и полетишь вниз... Прав был Доржсурэн, когда заметил с жалостью, что у нас нет крыльев. Ему-то, Икару, хотелось взлететь к солнцу, а мне — кое-как бы да побыстрее спуститься к грешной земле...

Долго и тщательно мы ползли по крутому склону, пока не коснулись гравелистой поверхности. Я пересилил свои недобрые чувства и спросил с наигранной веселостью:

— Мы на соленое озеро можем съездить?

— Да. Это в моих планах. Еще отправимся туда, где лежат горы песка высотой в несколько метров... Это наше природное чудо!

Доржсурэн сдержал слово. Все я увидел и, что называется, пощупал своими руками...

Теперь мы возвращались домой. Жара стояла издевательская. Водитель периодически останавливал свой газик и доливал из бурдюка воду в радиатор. Песок нагрелся до такой степени, что в нем можно было варить куриные яйца.

У нашего газика был двойной тент — под брезентовым полотном монголы натягивали покрытие из кошмы, поэтому солнце не прокаливало внутреннюю часть автомобиля. А через открытые окна пробивался легкий сквозняк, и зной под сорок градусов переносился более или менее терпимо.

Беда была в другом. В этот раз больше всего хотелось есть. Позавтракали очень рано и на скорую руку. А до дому еще пилить не менее трех часов...

На небольшом склоне, покрытом редкими кустиками колючей травы, машина остановилась. Было видно, что здесь раньше находилось стойбище. Но теперь вокруг ни единой юрты. А то можно было бы подъехать к любой из них и войти — есть ли дома хозяин, или вообще никого нет. По местному обычаю дверь юрты не запирается. И для случайного путника всегда найдется кусок хлеба, бутерброд хурута и стакан кипяченой воды...

Вдалеке в молниеносном беге проскочил небольшой косяк странных лошадей. Доржсурэн уловил мой любопытствующий взгляд:

— Куланы. Лошадь Пржевальского, по-вашему. Этих животных мало теперь осталось. Мы их не трогаем, и они к нам не идут. У них своя жизнь. А вон там несколько диких верблюдов... Хавтгаи. Таких друзей еще не на каждой машине догонишь...

Я уже знал, что хавтгай по всем параметрам отличается от домашнего сородича. Особенно, говорят, у него острое зрение и тонкий слух. Ну, и бегаёт на зависть одомашненному. Местные верблюдоводы в своих хозяйствах имеют самцов-метисов, которые не раз занимали призовые места на праздничных гонках...



А Доржсурэн, махнув рукой, перешел на другую, более важную в данный момент тему.

— Будем обедать, — улыбнулся он бодро.

Я тоже оживился. Война — войной, а обед — обедом. Мы отыскивали несколько кусочков дерева. Водитель принес охапку колючих стебельков, ловко соорудил и разжег костерок. Пламени почти не было видно. Только в сторону срывался легкий дымок и около огня нестерпимо жгло ноги.

Доржсурэн, как всегда медленно и молчаливо, достал из сумки газетный сверток. Развернул бумагу, под ней оказалась баранья печень, обтянутая пеленой бараньего жира. Когда костер начал прогорать, Доржсурэн освободил печень от бумаги и бросил ее в середину. С треском зашипела жировая оболочка, даже взметнулось крохотное пламя.

Через некоторое время водитель монтировкой сгреб остатки углей на шипящий комок. Он затрепал сильнее, костер полыхнул еще раз.

Я вопросительно посмотрел на Доржсурэна. Он как будто понял значение моего взгляда.

— Печень до этого была в рассоле. Минут через десять ты попробуешь любимое блюдо наших предков. Правда, народ теперь не ест печенку — почему-то считает бросовым продуктом...

Верилось с трудом. Но вот прошло назначенное время, и Доржсурэн наколот на большой тесак обуглившийся кусок мяса.

— Оно же все сгорело, — сказал я, сглатывая слюну.

— Ну, не совсем все, — улыбнулся мой попутчик.

Водитель расстелил газеты, сверху бросил кусок цветастой клеенки. Доржсурэн положил на клеенку почерневший, весь в светящихся угольках спекшийся комок мяса. Водитель, обжигая пальцы, отыскал край истонченной пленки. Приподнял ее, и под ней остался темно-коричневый кругляш, от которого исходил неимоверно стойкий и дразнящий аромат.

— Настоящая баранья печень, — щелкнул языком Доржсурэн, — Я, Саша, в этом деле толк понимаю. Как специалист заявляю: в ней никакого эхинококка нет...

Он разрезал кусок на тонкие пластинки. Я увидел, что в середине печенки еще булькает кровь.

— Хорошо, что так вышло, — сказал Доржсурэн. — Если в печенке нет крови, значит, ее передержали в огне. От такой еды пользы не бывает. Это мертвая пища...

Доржсурэн достал неначатуую булку белого хлеба (черный монголы не едят вообще). Отрезал несколько больших кусков и улыбнулся:

— Это вроде дорожного бутерброда.

Когда меня спрашивают, какое самое лучшее ресторанное блюдо я пробовал в своей жизни, я непременно отвечаю:

— Баранья печень с костра!

Наш водитель знал русский язык на троечку. Понимал почти все, но выразить по-русски свои мысли не всегда мог. То забывал, то путал слова. Обтирая носовым платком пальцы от жира, он периодически причмокивал от удовольствия и сладко повторял:

— Онодэр («сегодня») очень хороший печенье!

Высокая встреча

Вскоре после Нового года нам объявили, что через неделю ожидается приезд из Союза высокой правительственной делегации и наши специалисты должны присутствовать на этой встрече. Потом начальство уточнило, что в Монголию прибудет сам Леонид Ильич Брежнев. Всем, кто должен был участвовать в уличной церемонии, выдали красные флажки.

Было начало дня 12 января 1966 года. Вдоль проспекта Мира от самого железнодорожного вокзала до Дома правительства толпились тысячи людей. В этот день многие не работали. Присутствующих обурежала неясная радость.

Плохо было одно: стоял морозище за тридцать градусов. Да еще с ветром. А это, считай, прямая погибель человеческому организму... Подняты воротники, закутаны в шарфы носы, начинают мерзнуть руки и ноги. И томительно долго не появляется правительственный кортеж. Наконец, пронеслось несколько сопровождающих мотоциклов. Следом катила знаменитая «Чайка», за ней черной вереницей тянулись «Волги».

Кортеж двигался быстро. Но сквозь морозную дымку казалось, что он шел как в замедленном кино — словно пробивался сквозь спрессованный воздух. Низенький по сравнению с Брежневым Юмжагийн Цеденбал стоял слева от высокого во всех смыслах гостя. От мороза и встречного ветра широкое, типично монгольское лицо Цеденбала приобрело густой коричневый оттенок и еще сильнее сузились глаза. Выглядел он несколько утомленным и старше Брежнева, хотя был на десять лет моложе своего товарища...

Генсек КПСС оказался с той стороны, где толпилась мощная группа поддержки из советских специалистов. Леонид Ильич приподнял в приветствии руку в меховой перчатке и не опускал ее. Черное теплое пальто и знаменитая каракулевая шапка с моднейшим заломом на вершине тульи. В народе издавна такая шапка зовется «московкой» или «гоголем», если не имеет околыша. Она раньше фанатично почиталась коммунистической элитой СССР — придавала людям определенную статусность, а полнотелым вождям еще и стройность, и визуально прибавляла им рост. Брежнев просто не мог ехать в другую страну в какой-нибудь задрипанной ушанке. Выглядел Леонид Ильич, безусловно, выигрышней, чем когда-то его предшественник Никита Сергеевич Хрущев.

У советского руководителя то ли от мороза, то ли от специального крема против обморожения лицо казалось фиолетовым, он легонько потряс нам рукой, словно говорил встречающим: «Ша, ша! Хватит, ребята!»

Но это было не все. Апогеем встречи должна была быть фотография наших вождей. К сожалению, на морозе затворы фотоаппаратов не срабатывали. И почти каждый, имеющий при себе нужную фотоаппаратуру, держал ее за воротом верхней одежды, поближе к груди. Согреваясь от моей плоти, ждал своего часа взятый у коллеги старенький «ФЭД», а старенькая «Смена» институтских лет осталась дома на столе.

Как только от правительственного автомобиля до нас осталось не более пятнадцати метров, я быстро сдернул перчатку и сунул кисть под отворот пальто. И тут же почувствовал, как чья-то рука сжала мое запястье, и раздался тихий, но твердый голос, спросивший по-русски:

— Что у вас там?

Я не успел ответить, но в один миг вытащил фотоаппарат из-под шарфа наружу. Чужая рука обмякла и отстранилась. Я яростно наводил объектив в



нужную сторону. Щелк, щелк и еще раз щелк уже вслед проезжающей машине. Оглянулся. Вокруг стояли десятки людей с азиатскими и европейскими лицами... Здесь было много местных русских, в том числе и тех, которые никогда не бывали в Советском Союзе...

А шумная кавалькада понеслась дальше, в сторону площади Сухэ-Батора, где размещался Дом правительства Монгольской Народной Республики и ЦК МНРП (Монгольской народно-революционной партии). Встречающий люд, взбодренный скоротечной встречей с важным гостем, стал спешно расходиться. Присутствующие монголы в темпе сворачивали флаги и транспаранты, на которых чаще всего мелькало слово «найрамдал», что означало «дружба».

Брежнев тогда был на взлете своей партийной карьеры. Ему еще не исполнилось шестьдесят. В Монголии он выступил перед Великим народным хуралом, принял участие в подписании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и МНР, озвучил подарки советского народа монгольскому народу.

И конечно, побывал на знаменитом монгольском сафари. Здесь в полупустынных и гористых районах устраивалась популярная во все времена охота на дзеренов (мелких оленей, или, точнее, белохвостых газелей), на диких козлов и прочую бегающую и летающую живность... Были после этого обязательные, практически ритуальные чаепития. Высокий гость со своим окружением после жарких и успешных дел пил в юртах кумыс и принимал недорогие, но символические подарки. Обычно это была национальная верхняя одежда дэле с широким желтым или голубым поясом, головной убор и кожаные сапоги.

Все это хозяева юрт под радостное хлопанье в ладоши старались тут же натянуть на дорогого гостя. Кочевые араты не могли позволить себе дорогих подарков. В исключительном случае простой скотовод, кроме ездовой лошади, мог иметь чешский мотоцикл «Ява»... Да и большего ему не надо было — куда девать всякие прибабасы при кочевой жизни?

Многие тогда догадывались, что у руководителей Советского Союза была уже головная боль из-за отношений с Китаем. Перед этим я работал в Южной Гоби, практически на монголо-китайской границе. Последнюю группу советских военных метеорологов срочно вывели из приграничного Даланзадгада, где мы жили и работали. Но многие ожидали, что вместо нее может подойти крупное танковое соединение... Впереди осязаемо и всерьез назревал Даманский... Только в какой час и где будет конфликт — никто не знал. Так что Леонид Ильич тогда не только охотился на дзеренов, но и решал стратегические задачи...

Из трех кадров более или менее у меня получился один снимок. На память о той встрече я раздал друзьям около десяти черно-белых матовых фотографий. А у себя уже не нахожу ни одной. Да и стоит ли жалеть?... Интересно другое: кто меня тогда так некстати ухватил за руку? Неужели всесильный КГБ?

В гостях

Как бы ни говорили, что дружеская страна шагнула в социализм, минуя капитализм, в ее производственной сфере и особенно в быту еще торчали уши не столь далеких феодальных отношений... И хотя старый строй загнали в болото по самые ноздри, было видно, что его пережитки дают о себе знать. Социа-

лизм в принципе состоялся, но у наших братьев его было намного меньше, чем у «большого брата», то есть у нас...

В одну из командировок в *худон* (по-нашему — почти глухомань) я увидел такую картину. Около юрты на боку лежал новехонький мотоцикл «Ява» — железный конь из Чехословакии, светлая мечта почти каждого простого монгола.

Рядом с мотоциклом на стульчике (такие водятся в каждой юрте) натужно сопел парень лет двадцати пяти, пытавшийся напильником выцарапать бороздку на заготовке ключа к своему мотоциклу. Возле парня на песке валялось штук пять испорченных заготовок — бороздки на них были кривые, неглубокие и короткие. Явный брак.

Я решил помочь ему. Парень был излишне полноват и покрыт струйками пота, что говорило о его нездоровом организме. Ну как не помочь такому человеку!..

Попросил пассатижи, взял последнюю заготовку и согнул ее под углом девяносто градусов. Положил на край небольшой скамейки, трехгранным напильником прорезал сначала одну бороздку, потом другую. Снова перегнул заготовку в другую сторону. И снова проточил две параллельные канавки. Выпрямил заготовку, впрочем, это был уже настоящий ключ, который, к моему удивлению, почти сразу вошел в замок зажигания... После маленьких притирок мои мытарства закончились. Мотоцикл чихнул и ровно затрясся.

Из юрты вышел седовласый мужчина. По лицу было видно: отец хозяина мотоцикла. Мужчина, во-первых, дружелюбно поздоровался со мной. Во-вторых, сказал сыну что-то неодобрительное. И добавил по-русски:

— А еще университет окончил!

Парень, кстати, тоже неплохо знал русский:

— Так они ж свой путь капитализма прошли... А мы идем от феодала. Он умеет, а я не могу. Зачем ругаетесь, папа?

— Дурак ты, — определил отец и по-дружески добавил: — Спасибо скажи — есть у кого поучиться...

Мне стало стыдно за свое капиталистическое прошлое и за неразвитый социализм моих нынешних хозяев.

— Да ладно... У меня отец родился при капитализме, а ничего о нем не знает, — сказал я примирительно.

На этом мы закончили щекотливую тему. Оказалось, что старый монгол перед войной окончил в Томске артиллерийское училище и даже повоевал с японцами и немцами. Две войны закончились двумя ранениями.

Хозяин юрты пригласил меня с Доржсурэном к себе. Налил по большой пиале ядреного кумыса. Над кроватью на вешалке висел пиджак, увешанный советскими и монгольскими наградами.

— Мы с вашими ребятами много каши съели, — сказал мужчина задумчиво. — Поздно я женился, вскоре жена умерла. Я этого балбеса сам растил. Довел его до самого высокого образования, теперь главный зоотехник сомона. А ключ нарезать не может. Мне же, как отцу, хочется, чтобы он героем был...

— Не переживайте! — утешал я хозяина. — Какие годы у него... Все впереди. Да и не у каждого человека руки настроены, как хотелось бы. Кто-то мяч хорошо держит, кто-то — скрипку...

Мы долго пили кумыс. Старый монгол ударился в долгие воспоминания. Доржсурэн тоже слушал с интересом...



Когда покинули гостеприимных хозяев и оказались на проселочной дороге, подал голос Доржсурэн. Заговорил он о том, что не все большие начальники из Улан-Батора забывают о своих делах, но помнят о простом народе, который вознес их на государственные высоты. Назвал имена нескольких своих земляков, сидящих на ответственных должностях в столице.

А я вспомнил Славу Черного. Он рассказывал, что столичные гости действительно добираются до самых глухих мест. Особенно это происходит перед инспекторской проверкой Цеденбала. Лично я видел монгольского руководителя один раз. И то мельком. Но о нем ходило много разных слухов. Столько, что казалось, будто этот человек живет где-то рядом.

Как и у многих руководителей социалистических стран, у многих монголов жены были из русских. Учились руководящие товарищи, как правило, у нас. Чаще всего в Москве. И находили в Союзе себе подходящие пары. Женой Цеденбала, как говорили, была красивая женщина Анастасия Филатова, будто бы дочь коменданта Кремля, хотя многие знали, что это полная ерунда. Анастасия Ивановна среди монголов прославилась как активная общественница. Она много занималась вопросами воспитания и поддержки детей, в рабочей одежде часто бывала на новостройках, организовывала субботники и другие полезные мероприятия. Заодно иногда привлекала к этой работе своего мужа. Было в семье Цеденбалов два сына — Владислав и Зориг. Парни знали русский язык и говорили по-монгольски. Но тянуло их в дальние страны, благо что, в отличие от рядовых сверстников, для них были открыты все двери и границы...

Когда Цеденбал приезжал в Южно-Гобийский аймак (по-тамошнему Умнеговь), он обязательно ехал в самые отдаленные сомоны, на отгонные пастбища, где паслись лошади, верблюды, овцы и козы. Разговаривал с местным начальством, давал соответствующую «накачку», потом заходил в юрты к передовикам производства, к ветеранам революции, старым партизанам. Иногда просто жал руку какому-нибудь отличившемуся арату. Правда, бойкий помощник хозяина страны после этого быстро смачивал спиртом салфетку и протягивал ее своему боссу. Цеденбал протирал пальцы и выбрасывал салфетку в песок...

Потом в аймачном центре, то есть в нашем Даланзадгаде, случался шикарный банкет с участием узкого круга ответственных товарищей. И конечно же, с широким ассортиментом спиртных напитков.

Такие банкеты и более мелкие междусобойчики не пресекались, а, наоборот, поощрялись — как одна из форм человеческого, дружеского и даже партийного общения. Ходили слухи, что похмельный синдром руководителя партии и государства продолжался долго. На этом и погорел в конце концов монгольский руководитель.

Несчастный случай

Кто-то из нашего руководства в Улан-Баторе неожиданно раскопал, что в моем институтском дипломе указано: мол, я не только инженер-гидротехник, а еще и специалист по мелиорации.

Как раз в это время в ста десяти километрах от столицы развернулось строительство оросительной системы на базе госхоза «Борнурский». Одновременно шло проектирование, строительство и ведение авторского надзора. Вот там мне и предложили поработать...

Мы уже обжились, перезимовали в Гоби. Но никуда не денешься. Пришлось перебираться на север. Долоресса с детьми (к этому времени родилась дочь Лена) уехала в гости к родителям, а я начал заниматься проектированием каналов и сооружений. Начальство торопило — по теплу должны запустить первую очередь оросительной системы.

Квартира, которую недавно страстно сулили в столице, пока оставалась только мечтой. Поэтому около трех месяцев пришлось кантоваться в гостинице «Алтай». Со мной в номере проживали еще двое специалистов из Союза. Но их квартирный вопрос никак не занимал. Оба приехали на короткое время. Один из Москвы, настройщик роялей. Второй — из Перми, специалист по печному делу. Не помню их имен и лиц. Обращались друг к другу тогда попросту: Композитор и Архитектор. Меня за принадлежность к воде прозвали Моряком...

Стоит сказать, что за рубеж наши люди попадали разными путями. Были передовики производства, знатные специалисты, просто добросовестные трудяги. Но встречались и те, кто сидел на теплых местах в различных райкомах и горкомах и при случае имел возможность включить себя в число претендентов на заграничную командировку. Многие из них одновременно решали свои семейные, жилищные и прочие дела...

К весне мне выделили двухкомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажки. Вернулась семья. Мой сын Андрей подружился с немецкой девочкой, которую звали почти как его — Андрея. Ее родители приехали из-под Лейпцига, здесь отец работал на обувной фабрике. Долоресса быстро нашла общий язык с матерью Андрея, так как немецкий знала неплохо со школьных лет. А фрау Анна немножко понимала русский, плюс ко всему обе пару слов могли связать и по-монгольски...

С началом весны, как только оттаяла земля, я отправился в Борнур. Там с рассвета до заката работали канавокопатели, скреперы, экскаватор и другие механизмы. Наша группа советских специалистов в Борнуре насчитывала около двадцати человек. У многих семьи оставались в Улан-Баторе.

Палило солнце, но было не так жарко, как в Южной Гоби. Здесь жизнь во многом оказалась другой. Статус Борнура был ниже Даланзадгада, зато везде стояли деревянные дома и каменные сооружения. Среди местного населения встречалось много русских. Их предки когда-то по разным причинам оказались в здешних краях. Почти все они хорошо говорили по-русски, но в общении с нами всегда чувствовался налет осторожности и даже некая замкнутость. Сказывалось прошлое. В годы после монгольской революции, а потом и после войны многие из наших сородичей были репрессированы. Кто-то, оказывается, служил у атамана Семенова и у барона Унгерна, а кому-то, не разбираясь, «пришивали» связь с японской или английской разведкой...

Место для оросительной системы с высоты птичьего полета выглядело огромной равниной, протянувшейся вдоль небольшой речки Боро-Гол (Коричневая река). Территория была фигурно располосована длинными каналами, в которые в случае необходимости поступала речная вода. И словно огромные птицы с распластанными крыльями, между ними медленно передвигались дождевальные агрегаты ДДА-100МА, забирая воду из ближайшего канала и орошая изнывающую от жажды землю...

Надо отдать должное заместителю министра водного хозяйства Чогдону, который сумел организовать не только проектирование, но и одновременное строительство, и даже первый этап эксплуатации оросительной системы.

На каналах надо было построить множество различных сооружений: быстротокки, водобойные колодцы, затворы, регуляторы и прочее. Бетон готовили на месте в передвижной бетономешалке. На другой стороне реки в полукилометре от поселка работал наш экскаватор на пневмоколесном ходу Э-302, там находился гравийно-песчаный карьер.

А на полях работали монгольские рабочие и приезжие китайцы. Они успели высадить капустную рассаду. В другом месте из земли вылезали зеленые стрелочки лука. Все это требовало полива. Но вдруг в начале июня разразилась гроза, закончившаяся сильнейшим градом. Града было столько, что он, несмотря на жару, лежал в тени в течение нескольких дней. Почти вся капуста была уничтожена. Зато лук сумел выдержать натиск природы. Осенью на плантации, где он рос, прикатило несколько автобусов с улан-баторскими школьниками — собирать урожай.

Палило солнце. Экскаваторщик Иван Дудин из Ставрополя решил устроить себе комфортный бассейн. Возле карьера вырыл яму глубиной около трех метров, а от реки прокопал к ней неглубокую канавку. Вскоре вода заполнила резервуар. И Иван через каждые два-три часа работы в машинном пекле блаженствовал в водной прохладе.

Однажды он услышал детские крики. Оказывается, сюда забрели местные мальчишки, и один из них решил полюбопытствовать, что это за яма. Он приблизился к скользкому краю, гравий неожиданно осыпался, и мальчик стал тонуть...

Замечу, что многие монголы не умеют плавать. Река для них вообще священное место, возле которого они не проводят свободное время...

Иван выскочил из кабины, не раздеваясь, бросился в воду. Мальчик не успел даже наглотаться воды, но порядочно испугался. Вечером Иван рассказал нам о происшествии. «Ну, шо ж тебя понесло, дружище, в такое место?» — спрашиваю у пацана. А он протирает глазенки и только бормочет: «Баярла, авгах, их баярла, авгах!» («Спасибо, дядя, большое спасибо, дядя!»)

Мы знали, что у Ивана дома остались под присмотром тещи двое таких же гавриков. Поэтому случай с монгольскими ребятишками не давал ему покоя.

— Завтра же засыплю эту яму к чертовой матери!

Так он и сделал. Все вроде стало забываться. И вдруг телефонное сообщение. Дудина просят срочно прибыть в Улан-Батор по случаю, связанному с тонувшим ребенком. Иван принял сообщение с чувством полнейшей безысходности. Видно было, что человек не находит себе места.

— Я так и знал, что этим все кончится. Хотел, ребята, еще поработать с вами. Пользу какую-нибудь принести. Да, видно, не судьба. А мой дом в станице долго еще недостроенным стоять будет...

Мы сочувствовали своему коллеге. Он был самым старшим в нашем маленьком коллективе. Человек без особого норова, работал умело и безотказно. А тут мужик скис совсем.

На наши увещевания не обращает никакого внимания.

— Там же у них все запросто. Сроку дадут сутки. Билеты, мол, Иван Иванович, уже заказаны для вас и вашей супруги... И будьте здоровы!..

У всех было тягостное состояние. Кто-то подал совет пойти к родителям пострадавшего мальчонки. Я сказал, что могу переговорить с директором госхоза Очирбатом. Он здесь самый большой дарга — в одном лице начальник, бог и судья. Может как-то посодействовать. Но Иван только отмахнулся:

— Не надо, хлопцы. Найду работу дома. Я не люблю, чтоб за меня про-
сили.

С этим рано утром и укатил.

...На бетонном узле у нас запаса гравийно-песчаной смеси оставалось дня
на два. И наш старшой, Серега Кунгурцев, заявил:

— Завтра сам поеду в Улан-Батор. Пусть дадут человека на экскаватор, а то
мы тут до морковкина заговенья торчать будем...

Вечером, когда наступила сладкая прохлада и мы после холодного душа со-
брались за общим столом в предчувствии жареной колбасы и гречневой каши
с медом (с хлебом постоянно была напряженка, а от гречки и меда в магазине
ломались полки), на улице остановился грузовик. Я сидел у окна и видел, как из
кабины выскочил сияющий Иван. Водитель подал ему из кузова ящик с пивом,
сел в кабину и отчалил.

— Чё там? — спросил Кунгурцев.

— Что-то стало холодать... — ответил я, скрывая внутреннюю радость. —
Балаболишь не к месту... — Но не договорил.

На пороге нарисовался Иван со своим ящиком. Видно было, что мужик
более чем навеселе. Передавая ящик в руки Кунгурцева, он, запыхавшись,
изрек:

— Вы уж простите меня... Две бутылочки по дороге спалил. До этого с
парнями заходил в ресторан. Пересохло, понимаешь, все в горле... Как на дне
колодца... А это вам к ужину!

И тут мы все враз обнаружили на груди Ивана медаль. Иван пояснил:

— Ну, не виноват я, оказывается, хлопцы! Представитель монгольской сто-
роны вручил мне эту штуковину за спасение пацана на воде... Так все было
пышно оговорено. Правда, и другим нашим ребятам вручали всякие значки,
грамоты и медали. Ну, а мне — эту. Потом зашли в ресторан, конечно. А дядя
моего бедолаги пацана вызвался довезти меня прямо досюда.

И Иван откуда-то из-под пиджака, словно умелый фокусник, достал и вы-
ставил на стол бутылку «Плиски».

Так неожиданно и благополучно закончилась маленькая эпопея, подарившая
Ивану Дудину монгольскую награду.

Дорогой подарок

У Славы летом 1966 года заканчивался контракт. Он передал через знако-
мых, что будет в Улан-Баторе в середине августа. И обязательно перед отъездом
из Монголии побывает у нас в гостях. Семья — Долоресса с Андреем и Леной,
которой пошел уже второй год, — жила в городе, а я работал в Борнуре. При-
езжал домой два раза в месяц.

...Проходили намеченные дни, но Слава все не приезжал. Неужели остал-
ся на третий срок? Вроде бы не мог. В Полтаве его ждали двое детей самого
трудного подросткового возраста. Без родителей почти пять лет, а тут еще стала
жаловаться на здоровье бабушка, у которой оставили ребят...

Короче, от Славы ни слуху ни духу. У меня срывалась договоренность съез-
дить в Улан-Батор дня на два, чтобы встретить товарища, повидаться и прово-
дить как положено.

Наконец, долгожданный, но, как всегда, неожиданный звонок:

— Мы с Валентиной добрались до вас, поселились в гостинице.

А нам по графику в это время полагался двухдневный выезд к своим семьям. Все сошлось, как говорится, по уму. Приятное совместилось с полезным... В Улан-Батор прикатил в пятницу вечером. А у нас за столом уже Слава со своей Валюхой.

— Ну, ребята, не едете, а ползете! — начал я встречу с упреков.

— Нет, друже. Наоборот, стараемся поскорее унести ноги отсюда, — парировал Слава, отставляя в сторону очередную рюмку.

Валентина кивком головы поддакнула мужу и выложила все, что у них произошло. Оказывается, в конце проводов, а они продолжались почти три дня — в аймачном управлении сельского хозяйства, у старых друзей в юртах, в квартирах местных начальников и дома у отъезжающей четы, наш в прошлом общий дарга (самый большой начальник) товарищ Агвандагва расцеловал сначала Славу, потом Валентину и торжественно произнес:

— Нет у меня более дорогого подарка для вас... Поэтому вручаю своего младшего сына Оюша. Будете его родителями, а все вместе мы теперь станем большой родней.

Надо сказать, что у монголов часто бывали случаи, когда дети при живых родителях запросто передавались в другие семьи, особенно к родственникам. Либо кто-то из родителей сильно болел, либо в семье оказывалось много детей, а отец или мать неожиданно умирали. Ребенок часто понимал сложившуюся ситуацию и мог одновременно называть двух человек отцом или матерью. Короче, это неотъемлемая часть менталитета монгольского народа. У них я не видел детских домов и не мог представить, что монгольские ребятишки могут быть беспризорными...

Итак, в результате горячих слов давнего друга Славина супружница Валентина была близка к обмороку. Слава, будучи навеселе, не мог врубиться в происходящее, но чувствовал, что тут нет никакого подвоха и разговор затеян весьма серьезный.

Следует заметить, что жена Агвандагвы, женщина лет сорока, училась на заочном факультете столичного университета. В одну из поездок она нечаянно угодила под грузовик. На дорогах машин мало, но лихачей оказалось полно. Бедняга осталась жива, но костей в ней было поломано много. Почти полгода лежала на растяжках, понавбивали ей в скелет около десятка металлических штырей... Многие не надеялись на исцеление. Но все-таки сильная волей женщина встала на ноги и вскоре родила Оюша. Стосковавшийся муж сладил ей пятого ребятенка...

Слава попытался увернуться:

— Да ты что, Агвандагва? Это же твое счастье, а я старый уже, да и Вальке скоро бабушкой быть...

— Нет, Слава. Все у меня продумано и решено. Будет теперь Оюш вашим родным сыном.

— Агванчик, дорогой! — размазывал Слава свои слезы в ответ. — Ну куда мы с ним? Лишнюю вещь не перевезешь через границу. А тут чужой монгольский ребенок...

— Это ты брось! Во-первых, никакой он тебе не чужой... Во-вторых, сейчас звоню лично товарищу Цеденбалу, и он тебе даст зеленую улицу...

— Он же скучать будет о вас, о Монголии...

— Не надо, Слава! Мы к вам в гости приезжать будем. Вы к нам прилетите. Или ты не любишь меня? Так зачем столько лет врал о великой русско-монгольской дружбе? Ты обидел меня своим отказом, Слава! Очень обидел!..

— Поднялся Агвандагва и вышел из юрты, — изложил нам Слава со вздохом. — Я ведь знаю: монголы — народ обидчивый. Не чета нам, хохлам...

Не могли Черные уехать домой, не сняв с себя чужую обиду. Два дня оставшиеся наши специалисты и монгольские друзья увещевали Агвандагву, пока тот не сдался.

— Ладно, — сказал он, сломленный массированными уговорами. — Как только Оюш подрастет, я скажу ему, что у него есть второй отец и вторая мать в Полтаве...

Слава затих и снова выпил.

— Так что, Сашок, не упрекай нас за нашу задержку и за долгое молчание. Зато какой груз с души свалили мы с Валюхой!

Мы все в одной жизни

Случилось это через десять лет после моего возвращения из Монголии. Я работал в Сибгипроме (институт по проектированию металлургических заводов). Случайно коллега по работе обмолвился, что его отца когда-то тоже посылали работать в Монголию и ему очень хотелось бы со мной побеседовать.

Я пригласил их к себе домой на чисто мужские посиделки. Саша появился после работы с молодцеватым мужчиной лет за шестьдесят.

— Демко Иван Григорьевич, — представился он.

Умные глаза, негромкий голос сразу же вызвали симпатию. В беседе за рюмкой простенького азербайджанского вина и за чашкой кофейного напитка (тогда лучшего угощения придумать было нельзя) мы незаметно провели два часа.

Ивану Григорьевичу хотелось многое узнать от меня. Я тоже с любопытством задавал вопросы.

Оказалось, что он, ровесник века, пошел служить в Красную армию в восемнадцатом. Вступил в партию, стал учиться в Коммунистическом университете в Свердловске. И вдруг — неожиданная командировка в Монголию... Потом женился, окончил Сибирский институт черных металлов, ставший впоследствии Сибирским металлургическим институтом. Работал на знаменитом КМК, где тогда главным инженером трудился академик Бардин.

В 1940 году Демко направляют в длительную командировку в Германию. Но вскоре советско-германские отношения резко ухудшились. Семья вынуждена была вернуться в СССР, а сам Иван Григорьевич с началом войны был интернирован из Берлина в Турцию и оттуда возвратился на Родину...

Двадцать лет никто из членов семьи не знал о работе главы семейства в Монголии. И вдруг в начале 1967 года Демко читает в газете «Правда», что некто Козлов награжден медалью МНР за участие в революции 1921 года... Значит, догадался Демко, сняты прежние запреты на упоминание о пребывании политработников и солдат Красной армии на монгольской земле. По его запросу военный архив выслал справку, подтверждающую пребывание в Монголии...

Мы говорили об одних и тех же местах. Но понимали, как сильно отличается одна картина от другой — ведь прошло более сорока лет. Двадцать первый и шестьдесят четвертый годы! А цепкая память Ивана Григорьевича не давала ему покоя:

— Ведь мы в Улан-Баторе через реку Толу переправлялись только на пароме и лодках.

— Ну что вы! Там сейчас такой красивый мост...

— В городе каменных домов теперь много?

— Это настоящий современный город. Красивые здания, улицы и проспекты. Правда, как и в других местах, в пригороде кучками разбросаны юрты и даже на улице можно увидеть верблюда с поклажей...

Иван Григорьевич мечтательно задумался. Потом вымолвил:

— А в мое время в Урге сплошь стояли одни юрты. Народ только на лошадях передвигался. Верблюды перевозили всякие грузы... И ходило по улицам три или четыре легковушки.

Я показал гостю фотокарточки моего монгольского периода. Достал кляссер с марками, выложил несколько старинных значков и монет. Было видно, что человек вернулся в свою молодость...

Через некоторое время Демко получил письмо из Монголии. В нем лежала маленькая фотография, на которой была изображена группа людей в десять человек. Половина с азиатской внешностью, другая — европейцы.

Товарищи из Монголии просили Ивана Григорьевича, как участника далеких исторических событий, указать фамилии лиц, запечатленных на фото.

Судя по тому, что в центре сидел Сухэ-Батор, значит, на снимке изображен какой-то руководящий состав, принимавший участие в Монгольской народной революции.

И тут, внимательно взглядевшись, Демко увидел самого себя. Он даже подзабыл тот факт, что был в этой компании. Иван Григорьевич, имея уникальную память, назвал и описал всех, кто был на фотографии. Вскоре ему пришло приглашение посетить Монголию...

Домашние стали уже волноваться. Более месяца от главы семейства нет ни слуху ни духу. Оказывается, его в это время возили почти по всей Монголии. Как же, настоящая живая реликвия! В самой Монголии осталось мало участников революции и почти не было тех, кто работал около Сухэ-Батора и мог рассказать о важных деталях тех событий. А Иван Григорьевич принимал участие не только в создании национальных органов печати, но и вместе с Сухэ-Батором участвовал в подготовке устава и программы МНРП.

Иван Григорьевич выступал перед аратами и цириками (военными), перед студентами и школьниками. Был в огромных залах и аудиториях, пил чай в современных квартирах и в национальных юртах. Везде его принимали с огромным почетом и внимательно слушали воспоминания.

А в Улан-Баторе в присутствии высоких должностных лиц он рассказал о забавном случае, который упомянул в беседе у меня дома. Когда-то он получил из Москвы литографский камень для создаваемой в городе газеты. В это время случилось сильное наводнение. Иван Григорьевич спрятал камень в надежном месте, а вскоре ему пришлось возвращаться на Родину... И теперь он разыскал то место, где много лет назад закопал этот памятный камень. Реликвия оказалась на месте и сразу же отправилась в Государственный музей...

Одно одеяло на человека

Во время работы в Монголии сибирские родственники меня слезно упрашивали привезти верблюжьей шерсточки. На носки и варежки, да и телогреечка будет что надо, не проймай никакой мороз!

Верблюжья шерсть — одно из богатств Монголии. Сами монголы используют ее крайне мало, так повелось. Почти все идет на экспорт за рубли и доллары. Поэтому перевозить шерсть через границу запрещалось. Поймают таможенники — мало не покажется. В лучшем случае — отберут, дадут соответствующую бумажку. И будь здоров!

Но если шерсть в ее первозданном виде вывозить было нельзя, то изделия из шерсти — пожалуйста. Хотя и ограниченно, но можно. Вязаную кофту, например, семидесятого размера. Или носки до самого паха — тоже разрешается без лишних слов.

Почти все русское женское население знало один верный и безобидный способ провезти шерсть — в виде начиненного ею одеяла. Разрешалось провезти одно одеяло на человека.

Долоресса купила несколько метров китайского шелка, нарезала его на полосы метра по два длиной, сшила полосы между собой так, что образовалось два полотнища, каждое размером примерно два на два метра. Наши монгольские друзья одарили нас верблюжьим пухом и шерстью. Мы разложили всю эту гору между двумя полотнищами. Долоресса наскоро прошла иглой по периметру получившегося изделия и схватила в нескольких точках обе стороны одеяла, чтоб шерсть не сбивалась в одно место. Под такое одеяло можно было уложить несколько крепких молодцев. Мы сложили его, стянули бечевкой. И вышел не очень увесистый, но аккуратный сверток под условным названием «одеяло — одна штука».

Когда мы уезжали в отпуск, а это было летом, то казалось, что весь наш вагон перебирается на зимовку к Северному полюсу. В каждом купе народ ехал с зимними одеялами.

— Это что у вас? — спросила смутлая и строгая на вид работница монгольской таможни.

- Одеяло, — зевнул я.
- Одна штука?
- Естественно, одна...

Услышав эти слова, таможенница двинулась дальше. Она, конечно, досконально знала народные хитрости, но, как обычный человек, входила в положение покидающих страну пассажиров.

...Прошло много лет с тех пор. Давно внуками изношены носки и рукавички из той верблюжьей шерсти. У моих детей появились свои дети и даже внуки. Давно нет на свете моей мамы и любимых теток, которые вязали это добро из бесценного дара гобийских верблюдов. Но осталась еще где-то на даче потерянная почти до дыр телогреечка, прикосновение к которой напоминает не только ушедших навсегда людей, но и тепло далекой пустыни Гоби.

Под крылом самолета...

Шел декабрь. Сезонные работы в Борнуре давно закончены. О том, что не доделано, старались не думать. Проскочат четыре месяца, и все снова завертнется с новой силой. В голову чаще лезли моменты и ситуации, когда веселились на праздниках или в свободное время отдавались своим увлечениям...

Например, выплывали воспоминания о летней рыбалке. В выходные дни мы выезжали в верховья Боро-Гола. Это километров пятнадцать от Борнура. Откуда-то издалека стекались сюда странные ручьи и ручеечки. Местами они



уходили под землю, протекали между камней и снова появлялись на свет в нескольких десятках метров друг от друга.

Кое-где стояли омутки глубиной не более полутора метров. В них скрывался наш потенциальный улов. Недалеко от воды на всхолмленной равнине мы вылавливали кузнечиков и насаживали на крючки. Чтобы не вспугнуть рыбу, подходили к выбранному омутку метров на десять и длинным удилищем забрасывали наживку в водное зеркальце. Через несколько секунд удилище вздрагивало — значит, рыба коснулась крючка. Были случаи, когда наживка не долетала до воды всего на два-три сантиметра, и рыбина, выскакивая из омута, ухватывала свою добычу и тоже оказывалась на крючке... Здесь водились лини — необычная рыба, на воздухе она быстро покрывалась пятнами с коричневым оттенком. Может быть, от цвета этой рыбы пошло название самой речушки?

Каждая рыбина весом не меньше трехсот граммов. Прилаженный к ремню кукан давал о себе знать, когда на нем оказывалось четыре или пять линьков. Почти у каждого из нас в течение часа оказывалось столько же... Значит, пора возвращаться домой.

В другой раз поехали совсем в другую сторону и намного дальше. К берегу реки Орхон. Это крупная и известная не только в Монголии река. Нас подтолкнул к поездке Самбу. Совмещал он в дирекции строящейся оросительной системы должности завхоза, снабженца и экспедитора. Очень хорошо знал не только русский язык, но и наши вкусы, повадки и интересы. Часто бывал у нас в гостях, обязательно приводил с собой свое бесчисленное потомство, знакомил ребятню с нами, с нашим языком, бытом. Однажды Самбу сказал, что знает место, где очень хорошо ловится крупная рыба. Сам он, правда, не имел к этому делу большого интереса, но было заметно, что человек хочет доставить специалистам из Союза истинное наслаждение.

Приехали мы в намеченное место под вечер. Август. День прошел в жаркой духоте.

— Ночью может быть сильно холодно, — предупредил Самбу. — А возможно, польет дождь...

По его указанию мы сварганили два больших костра на каменистом берегу реки. Прошло какое-то время, и Самбу дал новую установку — смести в сторону золу и пепел, оставшиеся от кострищ. На прогретых камнях расстелили прихваченную из дома солому, а над ней установили две палатки. Спал я как припечатанный к лежбищу тюлень. Порыбачить любил, но не был фанатиком этого вида спорта. Зато самые ярые рыбаки в это время ставили донки на налива, двое готовили снасти к утренней рыбалке.

Ночью, действительно, начался мелкий дождь, который с небольшими перерывами шел почти до обеда. Я накинул на себя плащ и побрел по прибрежному кустарнику — и менее чем за час набрал полный бидон красной смородины.

Когда вернулся, мои сподвижники уже любовались первым уловом. Несколько крупных налимов лежало возле палаток. Володя Сабитов, прикативший в Монголию из-под Казани, торчал на берегу и то и дело забрасывал на спиннинге «мыша». Пел песню на родном татарском языке и не отчаивался добыть задуманный трофей. Он сам смастерил этого самого «мыша» незадолго перед поездкой. Не хитрое, но зверское приспособление для ловли хищных рыб. Небольшой аптечный пузырек обтянул куском шубенки. Прикрепил по бокам несколько крупных крючков, в конце установил «тройник». Приладил к этой конструкции свинцовый груз. И все. Спиннингом закидывал нехитрую штуковину

подальше от берега и против течения, чтобы каждый раз «мышья» сносило вниз. Свинцовая блямбочка не давала разогнаться «мышью» в сильном течении.

— Есть номер шесть! — наконец закричал не своим голосом Володя. — Удача, ребята, какая...

Вскоре у ног Володи всплескивал хвостом таймень, показывая огромную пасть. Все сбежались к нашему герою. В рыбине было несколько килограммов. Володя потерял дар речи, любясь своей добычей. Потом все-таки выдал:

— Ну, никак не думал... — И добавил: — Это ж надо так! Взял на «мышья»!

Не меньше радости было у Самбу. Ведь это он додумался привезти к могучей реке странных людей с удочками и спиннингами.

...В конце ноября мне пришло сообщение: тяжело и безнадежно заболел отец. Я был в марте в отпуске, но ничего опасного не заметил. Мало ли какие болячки бывают у пожилых людей. А тут надо было решать: или договариваться об отъезде на неопределенный срок, или подавать заявление на прерывание контракта. Я понимал, что для всех более приемлемым будет второй вариант. Как говорится, свято место пусто не бывает. Работы по горло, и она не ждет... Начальство вошло в мое положение, но мне сказали, чтобы я закончил в Борнуре работу, которая у нас вяло тянулась все лето.

— Ты, пожалуйста, Карпыч, заверши бетонирование откосов подводящего канала у насосной станции, — сказал «старший по званию» Кипа: он руководил всей оравой специалистов по воде, приезжавших из Союза.

— Но это ж невозможно, елки-моталки... Ни людей, ни материалов... Мне там работы на целый месяц. А билет на самолет обещали дать через два дня...

— Вот и лады! Два дня тебе сроку. Материалы будут завтра на месте. А наш дарга договорился, чтобы туда направили целое отделение цуриков из стройбата. Они тоже будут завтра, обустроят помещение, возьмут с собой буржуйку и прочее... С твоей стороны — только технический надзор.

С тяжестью на душе я согласился. У меня почти не оставалось времени подготовиться к отлету. А еще надо решить, как без меня «пекинским» до Новосибирска выедет семья и дальше доберется до Новокузнецка. Голова шла кругом, все летело в тартарары. Но и не хотелось, чтобы кто-то потом доделывал за мной.

Короче, на завтра я был уже на месте стройки. Перед моим приездом прибыло подразделение строителей под началом старшего лейтенанта.

Старлей сносно объяснялся по-русски. Осмотрев место и определив объем работ, заявил:

— Сделаем быстро и как надо.

Стоявший возле него сержант нахмурился и что-то возразил по-монгольски. Офицер тоже напыжился и резко оборвал подчиненного — мол, не лезь, куда не просят.

В помещении насосной воздух успел нагреться — хоть раздевайся. Хотели запустить небольшую бетономешалку, но у нее не заработал движок. Поэтому замешивать бетон пришлось вручную. Но делать это на открытом воздухе — адская работа. Я предложил перенести с улицы металлический поддон и готовить бетон в помещении — благо места для этого хватало.

Цурики приступили к работе с энтузиазмом, однако вскоре их пыл стал спадать. Они часто курили, пили чай или просто болтали, опершись на черенки лопат. Офицер то и дело напоминал, что работу надо ускорить. Молодые ребята слушали, соглашались, стараясь живее шевелиться, но дальше этого дело не



шло. К вечеру я понял, что мы так можем прокукарекать здесь целую неделю. Пришлось сказать:

— Очирбат (так звали молодого офицера), сегодня будем работать всю ночь. Другого варианта у нас нет. Спим по очереди...

— Да, да, Саша. Я согласен. Своим ребятам сейчас поставлю задачу...

Возможно, накачка Очирбата или желание поскорее убраться отсюда повлияли на настроение молодых солдат. Работа пошла веселее. Одни приносили гравий и песок, другие втаскивали мешки с цементом, третьи подавали воду из доставленной сюда цистерны. Три человека тямками перемешивали бетонную смесь. Пятеро ведрами носили ее к месту бетонирования откосов. Там тоже находилось два солдата, они уплотняли бетонный раствор среди стального каркаса, который был заложен еще осенью...

В какое-то время я задремал. Вскоре очнулся. На настиле из досок, полусогнувшись, всхрапывал Очирбат. Глянул на часы: почти одиннадцать. По зимнему это практически ночь.

Вышел из помещения. Место работы освещалось двумя лампочками. Я не ожидал, что сделано больше, чем предполагалось. Отвернул угол кошмы, которой укрывали бетон от замерзания. Блеснула гладкая поверхность, от которой исходил легкий пар. Коснулся бетона подошвой своего сапога. Не знаю, наверно, подсознательно захотелось оставить хотя бы слабую отметину в память о себе...

И в это мгновение нога провалилась на несколько сантиметров. Бетон под сапогом рассыпался, внизу оказались опилки. Я, кажется, даже заплакал. От обиды, что меня так жестоко обманули...

В это время кто-то из цириков уже успел сообщить о том, что произошло. Потому что рядом оказался Очирбат с заспанным лицом. Он быстро понял ситуацию и жестко сказал:

— Саша, это моя вина, не доглядел. Иди в помещение. Я сам разберусь.

Без меня Очирбат собрал всю свою команду, пытаясь узнать, кто из присутствующих высыпал мешок опилок, которые мы в теплые дни привезли специально для насосной станции: с помощью их удобней было удалять с пола воду и случайно разлитое техническое масло...

Потом я услышал, как Очирбат закончил свой разговор на повышенных тонах. Наконец, разгоряченный, он зашел в помещение.

— Они, Саша, не вредители! Просто дураки мальчишки! Решили поменьше поработать. Думали, что ничего страшного не произойдет. — И тяжело выдохнул: — Теперь до самого рассвета никто не присядет, пока не закончим...

Часа в четыре утра я предложил Очирбату:

— Пусть немного поспят твои парни. Утром постараемся доделать.

Очирбат согласился. Днем к обеду все было готово. Солдаты работали с небывалой энергией и намного слаженней. Ни один из них не проронил ни единого слова...

Часа в три, когда день начал уже сворачиваться, подкатила легковушка. Из нее вылез начальник строящейся системы, с ним еще два каких-то чиновника. Они долго и въедливо осматривали откосы, «одетые» в свежий бетон. Потом самый тощий из прибывших щелкнул языком:

— Маш сайн! (То есть «очень хорошо».)

Очирбат получил указание следить за работой, чтобы бетон не прихватило морозом. А мы отправились в Улан-Батор.

Сборы домой прошли в суматохе. Я улетал поздно вечером до Иркутска, там должна быть пересадка в самолет до Омска. Свой багаж ограничил — два чемодана и пакет. По весу — само собой, тоже ничего избыточного не возьмешь. Хуже было Долорессе, которая задерживалась еще на десять дней — на ней висели двое ребятишек и железнодорожная пересадка. Так что тоже лишнего груза не прихватишь.

Хорошо, что почти постоянно рядом находились наши старые друзья. С Анатолием и Идой Левочкиными мы вместе окончили институт, а Даниловы — Михаил с Розой — стали инженерами на два года раньше. Мужчины, как и я, работали в управлении водного хозяйства. Сейчас они давали дельные советы, обещали навещаться и проводить в Союз мое семейство...

До аэропорта добрался, когда регистрация пассажиров уже заканчивалась. Но тут же узнал, что рейс откладывается на целый час. Улетающих было мало, провожающих еще меньше. Выделялась представительная группа наших военных. Два генерала и человек около десяти старших офицеров. Их провожали трое штатских. Компания, чувствовалось, была подшофе.

Неожиданно один из гражданских направился ко мне. Я узнал его: это был мой сосед по этажу. За все время (а мы бок о бок прожили около года) ни я, ни он не пытались познакомиться или хотя бы о чем-то заговорить. И жена этого мужика тоже была под стать ему — молчаливая, смурная женщина, сама в себе...

А тут такая неожиданность. Блестя веселыми глазами, нарисовавшийся сосед спросил:

— Летишь в отпуск? Почему один?

— Нет, улетаю совсем. Семейные обстоятельства. Жена приедет попозже...

— Жаль, жаль... Не посидели за рюмахой ни разу, толком не поговорили...

Я промолчал. Он тоже, было видно, больше не имел ко мне интереса.

— Завтра твоим передам, как мило ты улетел на Родину. Причем в такой замечательной компании...

— Да, если передадите, буду благодарен.

И он, не утруждая себя другими вопросами, удалился к важным гостям. Самолет поднялся точно через час. Я сидел возле иллюминатора. Где-то в стороне рыхло просвечивали ночные огни Улан-Батора. Представил, что мои уже спят... О чем-то еще полезли в голову мысли. Но сон оказался сильнее нахлынувших раздумий.

...И вдруг я почувствовал под собой толчок. Самолет, оказывается, уже катился по посадочной полосе Иркутска.

Я явственно осознал, что нахожусь совсем недалеко от своего дома. Начинаясь новая страница жизни.



Владимир ТРОШИН

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ

Я родился в Новосибирске в феврале первого послевоенного года. Была оттепель, когда родители несли меня из роддома на улице Лермонтова. Несли меня по очереди мои дядя Петя, папин брат, и тетя Валя, его жена, потому что папа, раненный на войне, еще сильно хромотал и не мог ходить без костылей, а маме пока нельзя было носить тяжести. Дома нас ждали бабушки: Парасковья Поликарповна, папина мама, собравшая на стол обед — щи и простые закуски: соленые огурцы, квашеную капусту, — и Арина Ивановна, мамина мама, приехавшая с угощением — пирожками.

Мужчины выпили за новорожденного, за родителей, помянули и дедушек, не доживших до этого дня, — Максима Поликарповича Трошина и Евгения Никаноровича Девяткова. Помянули и не вернувшегося с войны мамино брата, Константина Евгеньевича Девяткова. Он был смертельно ранен в 1945 г. при наступлении наших войск на Берлинском направлении, в районе Шпротау, ровно за год до дня моего появления на свет. Мама хотела назвать меня Константином — в память о любимом и единственном брате, но папе хотелось, чтобы я был Владимиром, так и решили.

Все мои прямые предки были крестьяне, хлебопашцы. По отцовской линии — с Оки, белевские, из крепостных; по маминой — государевы, вольные, уральские, нижнетавдинские — из российских переселенцев (а может, и белых), крестьян, пришедших в Сибирь в XVII веке за казаками Ермака.

Отец. Трошины. Калужская губерния

Мой дед, который построил дом в городе Новосибирске, Максим Поликарпович Трошин — потомственный крестьянин из деревни Алферово Белевского уезда Тульской губернии. Там жили все его предки с незапамятных времен, все они были крепостными помещиков Дмитрияковых. Сам он переселился в Сибирь из России осенью 1920 г. с женой Парасковьей и тремя детьми: Алексеем, Анной и Натальей.

Дед Максим родился в 1878 г., в их деревне было четыре семьи Трошиных, состоявших в родстве, иногда ближнем, а иногда дальнем настолько, что считались просто однофамильцами. Отец Максима, Поликарп Васильевич, был крепостной крестьянин, землепашец, жили они в своем доме, жили небогато.



Максим выучился грамоте в церковно-приходском училище, имел хорошо поставленный каллиграфический почерк, в армии был писарем. Вернулся в деревню Алферово в 1901-м, впрягся было в хозяйство, в «помочь» родителям, но убогое, беспросветное житье на тощей земле после того, что повидал он на чужбине, угнетало его.

Мужики каждый год собирались осенью артелью в город на подряд, заработать денег. Свое хозяйство еле-еле давало прокормиться, на ярмарку ехать было не с чем. А где чего взять? На что купить сапоги, одежду приличную? Не век же в домотканом зипуне и в лаптишках, как родители, горбатиться. И пошел Максим на заработки. Освоил строительное ремесло. Лентяем не был, старался. И плотничал, и каменщиком был. Женился на Парасковье Поликарповне Крючковой из соседней Юрмановки. А потом и в Корекозеве, поближе к Калуге, перебрались, устроился Максим в акцизную контору писарем. Стали жить на съемной квартире, на казенное жалованье. В октябре 1910-го родился Алексей, через два года — Анна, а в 1914-м, перед мобилизацией, — Наташа. Сын Алексей запомнил, как в августе 1914-го папаша уходил на войну, как плакали мама и бабушка, как потом молились о здравии его каждый день...

Вернулся же он в начале зимы 1918 г., после четырехлетнего небытия, — из германского плена.

С ноября 1914-го семья из пяти человек — старая бабушка Парасковья, мать Максима, и жена Парасковья с тремя малыми детьми — жила в Алферове, крестьянствуя, кормясь от домашней живности и тем, что уродилось на политой потом земле. Своего деда, Поликарпа Васильевича, мой отец, Алексей Максимович, в живых не застал.

«Итак, в Алферово я приехал четырехлетним мальчиком, — вспоминал мой отец, — поселились в той же (родительской) избе, которая стояла заколоченная многие годы, из надворных построек, кроме старого амбара, ничего не сохранилось. Начали жить с нуля, обзаводились хозяйством. Жили с большой нуждой, как и все односельчане. Хлеб ели только ржаной, да и его не хватало до нового урожая.

Поскольку я в семье был старшим, то меня мама стала приучать к лошади. Начиналось это с того, что лошадей со всей деревни мы после рабочего дня выводили на пастбище, “в ночное”. Основная обязанность водить лошадей возлагалась на подростков от восьми до пятнадцати лет.

Отца не было, он был без вести пропавшим, мать в порыве гнева называла меня “безотцовщиной”. Хотя я всегда старался во всем быть исполнительным и слушался старших.

В деревне Алферово мы прожили с ноября 1914-го по август 1920-го. В феврале 1917 г. не стало царя, династия Романовых закончилась, власть перешла к Временному правительству.

Но война, начатая царским правительством, не прекращалась. Солдаты оставались на фронтах. Земля и все угодья оставались у помещиков.

Все изменилось с Великой Октябрьской социалистической революцией.

Помню, как побывавшие на фронтах, особенно молодые, шли на штурм помещичьих имений, помогали уполномоченным реквизировать продовольственные запасы. А с наступлением весны 1918 г. делили помещичьи земли и засеивали их, пользовались их угодьями для выпаса скота, вырубали леса, в которые раньше боялись ступить ногой. Я помню, как мы, дети, без страха заходили в барские фруктовые сады, рвали цветы и ягоды, спелые яблоки и груши.



По соседству с деревней Алферово находилось имение Дмитрияковых — большой деревянный дом, в котором с осени 1918 г. находились школа и первое в нашей местности отделение советской милиции. В те далекие времена учиться начинали после праздника Покрова (14 октября по новому стилю, 1 октября по старому). Я как сейчас помню, как мама впервые привела меня в школу.

Когда я начал учиться, отец еще находился в германском плену. Время было очень смутное, по селениям разъезжали вооруженные банды, грабили все, что могли. Грабежи совершались не только ночью, но и днем, так как в деревнях оставались только старики, женщины и дети, некому было дать отпор грабителям.

Декабрьской ночью 1918 г. я, помню, не спал, я имел привычку не ложиться рано, обычно садился за стол перед лампой и чем-нибудь занимался. Вдруг раздался стук в дверь. Мама вышла в сени и спросила: “Кто там?” Получила ответ и, не открывая дверь, обратилась ко мне: “Леня, папа приехал!” Эти слова я запомнил навсегда.

Отец привез с собой маленький сундучок, который сохранился до сих пор, я им дорожу и храню в нем наиболее ценные семейные документы и личные записки. В этом сундучке отец привез личные вещи, а главное — гостинцы, французские бисквиты из белой пшеничной муки, которые подарили ему французы — товарищи по плену. Когда я принес в школу кусок белого бисквита, то все были удивлены и по крошечке просили попробовать, эти крохи в то время не имели цены, их нельзя было нигде не только купить, но и увидеть. Я чувствовал себя счастливейшим человеком.

Вскоре отец поступил на работу писарем в милицию, которая, как было сказано, соседствовала со школой. По утрам мы вместе уходили — я в школу, а он на работу.

Тогда все люди жили в страхе, шла Гражданская война, войска Деникина с юга двигались к Москве через наши края. В небе слышался гул аэропланов. Еще помню, как в нашей деревне (вероятно, это было году в 1919-м, летом) появилась группа вооруженных бандитов, одетых в военную форму. Хлеб в то время был не в каждом доме, а если и был, то суррогат из лебеды с какой-нибудь примесью. Уже разжившись медом у пасечника Савелия, бандиты искали настоящий хлеб. Они пошли по домам, в которых в это время оставались только старые и малые, все трудоспособные были в поле. Мы с бабушкой были на улице, изба была заперта, вдруг появляются вооруженные люди и спрашивают: “Где хозяйка этой избы?” Бабушка ответила, что она хозяйка, только ключей у нее нет, увезли с собой молодые в поле. Как вдруг один из бандитов подбежал к бабушке, поднял у нее фартук и, обнаружив на поясе ключи, выхватил шашку и замахнулся на бабушку. Бабушка упала на колени, мы закричали и заплакали, бандит отступил.

Бабушка боялась за судьбу моих отца и матери, и еще за маминого племянника Гришу Крючкова, который был с ними в поле. Он только что вернулся из немецкого плена и жил у нас, потому что не мог проехать к родителям в Сибирь, захваченную в ту пору войсками Колчака. Поэтому бабушка срочно послала меня в поле — предупредить, чтобы они не торопились домой. Предупрежденные мной отец и Гриша решили пока не возвращаться и ушли в лес, а я с матерью вернулся домой в деревню. Бандиты, покутив, к ночи из деревни убралась.

Помню еще, как все здоровое и взрослое население было мобилизовано на укрепление района, на рытье окопов на подступах к деревне Овсянкино, откуда



ожидалось наступление деникинских войск. Но до дела, к нашему счастью, не дошло, Красной гвардией войска Деникина были разбиты, не добравшись до нашей местности».

На этом записи воспоминаний моего отца о детстве заканчиваются.

Дальше все написано мной по памяти о рассказанном родителями, по личным впечатлениям и размышлениям и по сохранившимся немногочисленным документам, подписям к старым фотографиям, а также по записным книжкам и письмам отца. Читать и писать мой отец начал еще в Алферове, проучившись там два года (первой серьезной книгой после букваря и детских книжек было Евангелие).

Максим Поликарпович, вернувшись из немецкого плена, какое-то время пребывал в блаженном потрясении от встречи с семьей после четырехлетней разлуки. В плену ему стукнуло сорок, он чувствовал, что должен дотерпеть, что когда-нибудь эта неволя закончится и недаром судьба сохранила его вместе со всеми однополчанами.

Они попали в окружение в Восточной Пруссии в рядах армии генерала Самсонова через две недели после призыва. И всех их, еще не вступавших в бой, немцы разоружили и в походном порядке отправили в лагерь. Офицеров сразу отправили в другое место, а нижних чинов распределили по командам, назначили старших. Каждому полагалось носить серую робу с белой нашивкой, на которой черной краской набит был по трафарету номер, а на голове — колпак-бескозырку. Тех, кто помоложе и покрепче, определили грузчиками, катать тачки на строительстве дорог и насыпей. Мужиков постарше и бывалых — ходить за скотом, чистить коровники и конюшни в хозяйствах. Война забирала под ружье все больше германцев — господ и работников, немецкие хозяйства требовали рабочих рук, и русские мужички, привычные к крестьянскому труду, пригодились. Не все, конечно, смирились с участью военнопленных, были и побегии, и бунты, которые жестоко и показательно карались. Но в массе преобладало русское терпение — до полной нечувствительности и отрешенности от происходящего.

Тревожный 1919 год прожили в Алферове, осенью в семье случилось прибавление — родился новый человек, Ванечка. Максим был рад благополучному разрешению жены, но порой отчаяние охватывало его — как жить и чем кормить семью? Кое-как пережили зиму, и, когда стало ясно, что засушливое лето 1920 г. не оставляет никакой надежды на урожай, Максим понял, что надо бежать от гибели.

Еще до войны в его сознание вошла мысль о переезде в Сибирь на вольные земли, куда по столыпинской реформе переселялись земляки и куда звал их тесть, Поликарп Крючков. И как только осенью 1920 г. дошла весть, что Колчаку настал конец, и пошли поезда на восток, семья Трошиных с Гришей Крючковым отправилась поездом в товарном вагоне в Сибирь — с такими же ищущими счастья в далеком краю земляками. Это были Волковы — три брата, Федор, Тимофей, Дмитрий, все из Алферова.

Вагон «сорок человек, восемь лошадей», оборудованный нарами, с печкой-«буржуйкой» посередине, шел из Белева через Сухиничи, Калугу, Москву, задерживаясь на запасных путях узловых станций в ожидании формирования состава их направления. В стране жизнь только начинала входить в нормальное русло после разрухи Гражданской войны, не хватало паровозов, машинистов,

топлива. Не было еще регулярного движения поездов. Путь в Сибирь оказался долгим.

Через месяц сошли с поезда на станции Коченево, за восемнадцать верст до Новониколаевска, на присланных за ними подводах доехали до села Казаково, где встретили их довоенные переселенцы, бывшие земляки и родня, уже обжившиеся на сибирской земле. Уже похолодало, по ночам поля покрывались инеем, предстояло испытание сибирскими морозами. Приютились у родни, в доме тещи, Поликарпа Крючкова. Собирались за общим столом, сразу стали наравне с хозяевами вести дом, ходить за скотиной, заготавливать дрова, возить сено.

Зима была снежной и долгой. Зато весна оказалась дружной и бурной. Вот только в мае 1921 г. от скарлатины умер маленький Иванушка, которого все полюбили, он был красивый и подвижный мальчик, и Алеша горевал вместе с сестрами.

Родителям горевать было некогда, наступала пора пахать и сеять. Они вступили в коммуну — товарищество по совместной обработке земли. Мужики и бабы, пережившие бедствия империалистической и Гражданской, реквизиции, продразверстки и грабежи, тиф, испанку, голод и холод, с неистовой верой устремились в будущее, объявленное новой властью.

Годы НЭПа

Мой отец всегда с особым значением произносил эти слова, вспоминая то время как время надежд, время, когда труд на земле был в радость и земля воздавала за труд. Коммуна просуществовала один год — собрав урожай, поделили по едокам. И началась с весной новая жизнь в трудах и заботах. Семья поселилась сначала в землянке на краю села. Прежний хозяин отстроил себе новый дом, пустил их как постояльцев, а участок земли сдал им в аренду. Потом землянку выкупили.

Земли было много, и земля была щедрой, покосы были немеренные, леса вдоволь, грибы, ягоды. Сначала арендовали землю, сеяли рожь и овес, сажали картошку. Начали обзаводиться своим хозяйством, лошадку завели, коровку, порося, курей. Семья приросла новым человеком — летом 1922-го родился Петя. Ездили в Новониколаевск на ярмарку, по зиме на санях, когда Обь вставала.

В 1925 г. наконец получили надел земли. На строительство дома заготавливали лес в таежной лесосеке, в зимнюю пору. Поставили сруб. А пока не собрали на дом, какой хотели: пятистенный, рубленый, с тесовой крышей, с просторными сенями, с крытым двором, жили в землянке.

Не все из приехавших из России земляков прижились на новом месте. Волковы, хлебнув лиха и холода в сибирском краю, вернулись обратно в Россию, в родное Алферово. В 1923 г. не стало Григория Крючкова: не перенес сильной простуды. В мае того же года похоронили рядом с ним бабушку, мать Максима Поликарповича.

Алексей, по-домашнему — Леня, оказался смышленным и способным к грамоте, окончил местную начальную школу, полюбил чтение, все, что прочитал, помнил наизусть. Любимой домашней книгой была хрестоматия Вахтерова. Читал все, что попадется на глаза: газеты, журналы, календари; полюбил стихи, записывал песни, сам пытался сочинять, рисовать. Как-то, увидев, что папаша оторвал полоску от книжной страницы на самокрутку, страшно возмутился, хотя



это была всего лишь брошюра о гигиене и санитарии. Папаша был отчаянный курильщик, курил самосад (махорка была роскошью) и весь провонял табачным перегаром — от желтых усов до желтых ногтей, а все газеты уходили на цигарки и «козьи ножки». Алексей приобрел стойкую неприязнь к табаку на всю жизнь, и ни дружба с курящими приятелями и сослуживцами, ни тяготы фронтовых и послевоенных лет не приобщили его к курению.

Алексей старался ни в чем не отставать от взрослых, ходил за плугом, косил в ряду с мужиками, стремился не отставать от папашы в работе. Он был крепок и ловок, любил мериться силой со сверстниками, да и старших ребят одолевал в единоборстве.

Росли дочери, помощницы матери по хозяйству, Нюра и Наташа, нужно было одеть-обуть, в учење отдать, обучить и рукоделию крестьянскому, и за скотиной ходить, да и грамоте тоже. А кто неумеху неграмотную, да еще лентяйку и неряху, замуж возьмет? В селе все на виду. Вот и старалась Парасковья, и словом и молитвой, а то, бывало, и венником учила. Сама веровала истово, в церковь ходила, посты соблюдала и дочерям внушала веру и страх Божий. Нюра хорошо запомнила материнские уроки, выросла набожной, да и грамоту через слово Божье усвоила. Наташа же была добрая и веселая, любила слушать байки, пела и плясала в хороводе.

Пошел девятый год их жизни в Сибири. Жизнь налаживалась, скотина давала приплод, урожай обещал быть хорошим. Ездили папаша с сыном в Новосибирск на ярмарку, возили зерно, жеребенка годовалого продали. Тогда оставались в доме по улице Гоголя, 106. Этот дом принадлежал знакомому папашы, калужскому земляку из деревни Завалихино, и многие переселенцы из тех мест ночевали у него. Возвращались с обновами, девкам ситцу купили, Алексею — сапоги хромовые с высокими голенищами, рубаху шелковую. Жить бы да поживать, достроить свой дом, дочерей замуж выдать...

Все прахом! В 1929-м сельскую коммуну стали превращать в колхоз, крепких коренных хозяев объявили кулаками, сослали на работы, в лагерь, на стройки первой пятилетки, а кого и на лесоповал. Скотину обобществили, и тем, кто батрачил, не имея своего, осталось записываться в колхоз, в «ячейку». Максим был квалифицирован как «маломочный середняк», поскольку он не нажил много добра, но уже имел надел, огород, курей, порося, корову-кормилицу и лошадь. Все это надо было отдать в колхоз, но Максим не торопился, числился единоличником. Не верил он, что общее хозяйство будет успешным. «Общее — значит, ничье!» — говорил он домашним.

Один за другим упокоились на казаковском кладбище старики — родители Парасковьи, Поликарп и Матрена Крючковы.

Папаша поехал в Новосибирск, искать работу. Он уже давно раздумывал, как выбраться из бесконечной нужды и тревоги крестьянской жизни. Вот и пригодилось ему ремесло каменщика на стройках первой пятилетки, после недолгого испытания взяли мастером в бригаду на дом ОГПУ на улице Серебренниковской.

Старший сын, Алексей, был отряжен властью ездовым в обоз, который с семьями раскулаченных односельчан под конвоем отправляли в Васюганье. Алексей вернулся из тайги с порожним обозом: семьи раскулаченных — жены, дети малые, старики — были оставлены на поселение на дальних заимках, там, где селились кержаки-староверы да беглые люди, промышлявшие охотой. Кер-

жаки брезговали пришельцами, напиток воды не давали, а если давали, то из отдельной посуды. И на всю жизнь Алексей получил рубец на душу, как прививку от оспы, возненавидев власть, которая обрекла невинных людей на муки и гибель.

В селе все замерло, людей поубавилось. Скотину оставили по дворам — негде было держать стадо, но всю переписали в толстую тетрадь в правлении. Наказывали беречь, поскольку это теперь колхозное достояние, и без общего собрания с уполномоченным никаких действий не производить, о приплоде и убытке немедленно докладывать. Алексею было сказано, что ему нельзя оставаться в селе, потому что время наступило лихое и активистов убивают. Заходили люди и спрашивали, где мужчины, а когда узнали, что сын в обоз отряжен, сказали, чтоб лучше не возвращался, посчитаются, мол. Утром, до света, мать собрала его в город, к папаше. Жил он тогда на постоялом дворе, в начале Красного проспекта, где бывал и Алексей, когда ездил с папашей в город на ярмарку.

Мама. Девятковы. Нижняя Тавда

Евгений Никанорович Девятков, родившийся в 1896 г., мамин папа, до внуков не дожил, умер тридцати шести лет от роду, оставив жену Ирину с пятью детьми: Катериной, Дусей — моей мамой, Костей, Анной и Ниной.

Евгений был приемным сыном в семье Девятковых, старожилов села Нижняя Тавда под Тюменью, но никогда не чувствовал себя сиротой. Его родная мать умерла от чахотки, когда ему не было трех лет, а его родной отец, Евгений Плеханов, остался с оравой малолетних детей, младшим из которых был Женья. Когда его мать слегла, ребенка на попечение взяла ее родная сестра Варвара, бывшая замужем за Никанором Девятковым, крепким хозяином и владельцем большого дома. Дом строился на прирост крестьянской семьи, но своих детей у хозяев так и не случилось. Зато у Плехановых дети рождались каждые год-два, притом что жили они бедно. Девятковы, пожилые супруги, уже потерявшие надежду иметь собственных детей, приняли малыша как дар судьбы. Их жизнь с появлением ребенка в доме изменилась и наполнилась новым смыслом.

Добротный дом-шестистенок и ухоженное хозяйство с конюшней, баней, амбарами были отстроены Никанором с помощью родителей, людей зажиточных, укорененных в здешних местах. Усадьба располагалась на высоком берегу полноводной реки, выходя к ней огородам. Дом с двором, амбаром с дровяником под навесом, баней и пригоном для скотины были из круглого леса, с тесовыми кровлями. Хозяин в страдную пору нанимал работников, своих рук не хватало, зато и с прибытком жили, продавая зерно. На притоке Тавды, речке Саранке, были выстроены запруды с мельницами, где зерно перемалывалось в муку. Жители Нижней Тавды были потомственными хлеборобами, а также промышляли охотой и рыболовством.

Евгений успешно окончил сельскую школу, любил читать, но и крестьянскую работу знал и делал ее ловко, с задором. Приемные родители рано женили Евгения, едва ему исполнилось восемнадцать лет. Орина Богданова была старше его почти на три года — ей минуло двадцать лет. Поэтому сватов приняли и согласились не раздумывая. Ирина вошла в дом Девятковых. Признаки прибавления в семействе не замедлили проявиться, и старики любовались на молодых, радуясь, что теперь будет кому передать хозяйство.

Войны никто не ждал и не хотел. Нижняя Тавда была красивым местом, луга и смешанные леса за ними, полные дичи, ягод и грибов, плодородная, неистощенная земля Зауралья, не знавшая подневольного труда, — все обещало надежную, хорошую жизнь.

Евгений не чуждался крестьянского труда, но его угнетала зависимость от непредсказуемых обстоятельств жизни крестьянина — засухи, потопа, мора, недорода и вечного страха перед нуждой. Рано приобщившись к грамоте и полюбив чтение, он чувствовал себя способным на большее. Орина не была обучена грамоте, но крепка телом и духом, рассудительна и остра на язык, сама умела пошутить и посмеяться. На первом году их совместной жизни, в 1914-м, родилась дочь, называли Катериной. Радости Варвары Степановны не было предела, став бабушкой, она восприняла внучку как собственное дитя.

В августе началась война с Германией. Евгению повезло: призванный в армию в мае 1916 г., он попал в учебную роту, прошел подготовку на телеграфиста-телефониста, но на фронт отправлен не был. Через полгода, после учебной роты и краткой побывки дома, служил при военной комендатуре в Тюмени.

Война тем не менее продолжалась. Евгений быстро стал политически грамотным благодаря революционной агитации. Революционные события давали надежду на окончание войны и возвращение к семье. Ему было куда возвращаться. Еще в июле 1917 г. у него родилась вторая дочь — Евдокия.

В марте комендатура перешла под начало новой власти, и Евгений продолжал служить как специалист, уже без погон, теперь комиссарам, которые провозгласили отмену чинов и званий.

...Когда сошел лед на Туре, первым пароходом доставили в Тюмень из Тобольска царских детей с прислугой. Евгений стоял под холодным дождиком в шеренге оцепления перед тюменским вокзалом и видел, как могучий мужик в бушлате нес на руках красивого царевича, за ними царские дочери, стройные белолицые барышни в красивых шляпках, ступая по грязи и лужам, тащат, надрываясь, большие чемоданы и коробки, а та, что помладше, еще несла и маленькую собачку. Их сопровождал конвой с винтовками наперевес. И потом всю жизнь он вспоминал это, как сон, и помнил боль и стыд оттого, что никто не помог тогда этим девочкам из сказки. Из сотни вооруженных людей не нашлось никого, чтобы понести эти чемоданы. Весть о расстреле царской семьи в Екатеринбурге обожгла Евгения, когда он был уже дома, в Тавдинской. Он подумал, что тогда, в мае, он был свидетелем крестного пути этих безвинно убиенных детей.

Бессмысленная жестокость новой власти тогда была осознана Евгением впервые. Он видел собственными глазами, как преображались людишки, получившие полномочия и право казнить и миловать. Большевики же были самые решительные и безжалостные из всех прочих.

В июне Тюмень заняли мятежные чехи. Гарнизон был распущен, часть ушла с оружием в окрестные леса, служащие из местных, в том числе и Евгений, разъехались по деревням и селам, к своим родным. Семья встретила его со слезами радости, надеясь, что теперь-то все наладится и мужские руки поднимут запущенное хозяйство — весной не стало Никанора Ивановича.

Но еще в дороге Евгений почувствовал, что нездоров, и на следующий день после приезда слег. У него появился жар, по всем признакам начинался процесс в легких. В то время в селе лечились домашними средствами. Женщины приводили к нему бабушек-знахарок, поили настоями из трав. Варвара Степановна

делала все, чтобы поставить сына на ноги, лечила и снадобьями, и заговорами, и молитвами. По натуре своей не властная, она проявила твердость, чтобы удерживать Евгения дома, когда он стал поправляться. Все тяжелые работы в поле, уход за лошадьми и скотиной выполнял наемный работник, давно батрачивший у Девятковых.

Спокойная жизнь не складывалась, в селе кипели свои страсти, сначала устанавливалась советская власть, потом белая, но Евгений томился взаперти, скучая по своему хозяйству, домашним заботам, выходя на свежий воздух лишь ночью. Когда стучали в ворота пришлые, Варвара сама выходила на разговор. Когда в мае 1919-го части Колчака пришли в село, Евгений избежал мобилизации по состоянию здоровья: Варвара держала его в постели, представляя заразным больным.

Родился в июне 1919 г. и желанный сын, Константин. В июле колчаковцы ушли, возвратилась советская власть с ее конфискациими, реквизициями и ликвидациями. Тюмень сделали губернским городом, а в августе Евгения призвали в Красную армию. Служил в той же комендатуре связистом. Вернулся он к семье в октябре 1921 г.

Сибирские и уральские коренные крестьяне были, в отличие от среднерусских, зажиточными и свободными, не отягощенными рабским наследием крепостного строя. Они вели свои родословные от первопроходцев-казаков, считали себя государевыми людьми. По меркам бедноты центральных губерний они в массе квалифицировались как кулаки, и, поскольку из этой пришлой гольтбы и городского неимущего населения, одержимых идеей вселенской справедливости, состояли вооруженные части, проводившие изъятия и реквизиции, противостояние было жестоким и кровавым.

Евгений остался беспартийным, он не носил в себе «священной злобы» угнетенного, готового жертвовать собой и другими людьми. Не был он и религиозным человеком, хотя крещен и воспитан был православным.

Когда утверждалась новая власть, его, как грамотного и политически ориентированного, односельчане делегировали в Совет, но он отказался наотрез. Его определили в контору писарем, вести протоколы, переписку, составлять прошения, писать объявления. В 1922-м родилась Анюта, через два года — чудный мальчик, Валентином назвали, еще через два года — всеми любимая Нина. Ирина-Орина книг не читала, ходила в церковь. Евгений пытался дать ей основы грамоты, но, занятая детьми и хозяйством, она отшучивалась.

Мама Варвара после смерти мужа осталась старшей в доме и всегда это подчеркивала, по малейшему поводу давала понять, кто в доме хозяйка. Она и работников нанимала, и торговалась при купле-продаже, всему зная цену. Ори не ее наставления были не по душе, но она терпела и не подавала виду. Была у нее способность внутренне собираться и жгучее желание немедленно ответить на резкое слово переводить в паузу с выражением кротости на лице. Это всегда шло на пользу, Варвара осекалась и приходила в чувство, и со временем оценила эту черту характера снохи.

Постепенно Орина становилась полноправной хозяйкой в доме, видя ее рассудительность и надежность, Варвара полностью доверяла ей. Старая, она становилась мягче и терпимее к домашним, радовалась внукам, и они любили свою бабушку, тянулись к ней.

Жили Евгений с Ориной дружно, душа в душу. Евген, или Евден, как звала его жена, был на людях молчуном, с домашними же покладист, ласков и улыб-



чив. Девчонок своих он обожал, заботился о них. Мама моя помнила, что папа всегда приходил домой с работы с гостинцем — приносил то пряник, то конфету. А когда ездил в Тюмень, то обязательно привозил игрушки.

Село жило размеренной жизнью, у всех были огороды и живность — куры, гуси, козы и коровы. Лошади были не у всех, но у коренных, старожилков, бывало и по две, а кто-то и табунок содержал. Сеяли рожь и овес, озимую пшеницу. Население промышляло охотой, регулярно ходили облавой на волков, а однажды мужики привезли на подводе тушу убитого медведя.

Катя окончила семилетку и уехала в Тюмень, устроилась преподавать в начальной школе. Старшие дети ходили в школу, младшие были под присмотром бабушки.

Но случилось несчастье. Заболел скарлатиной младший мальчик, Валюша. Никто не мог предположить, что хворь так серьезна и ребенка нужно срочно везти в город. Определили болезнь поздно, мальчик умер. Эта смерть потрясла семью, но больше всех смерть сына переживал Евгений.

Вслед за этой бедой пришла другая, общая беда — коллективизация. Одним из первых кулаком был объявлен Евгений Девятков. Его хозяйство по всем признакам подлежало раскулачиванию: дом-шестистенок с рублеными надворными постройками, пара лошадей с выездом, плуги, бороны, сеялки-веялки, утварь всякая, опять же скотины полон двор. А главное — батраков нанимает, чужой труд эксплуатирует.

Коллективизация сломала им жизнь.

В 1930-м Евгений вывез семью с Нижней Тавды, оставив дом с постройками и огородом. Скотину забирали в колхоз, а дом приглянулся активу, вернее председателю колхоза, бывшему ранее организатором комбеда, приезжему боссяку Васе Волку. Он жил со своей Аришкой в перекошенной гнилой избушке, дверь которой сорвалась однажды с петель и висела на крючке, подпертая палкой. Иногда во время ненастья дверь заваливалась от ветра, и Вася, после препирательств с женой, выскакивал в ношенных кальсонах на крыльцо — восстанавливать приспособление. Никто не принимал Васю всерьез, но однажды он, к кому-то напросившись в попутчики, уехал в город и пропал. Аришка ходила по соседям, плакалась, хотя до этого переругалась со всеми, когда люди перестали жалеть бездельников, не отдающих долги.

Вася вернулся, и не один. Он въехал в село на автомобиле, с уполномоченным в кожаном пальто и двумя милиционерами при оружии. Сам Вася был во френче и галифе, в новых сапогах и имел ответственный вид, в брезентовом портфеле его лежали списки односельчан. Он приехал организовывать колхоз.

Семья Девятковых подлежала уплотнению — полдома нужно было отдать под правление колхоза, под контору. Сначала предлагали проявить сознательность, а когда Евгений возмутился, потрясенный таким предложением, Вася сказал, что с врагами революции будут поступать по всей строгости. И он, Василий Петрович Пуганов, проливавший кровь на фронтах Гражданской войны, даст ход этому делу, и заберут весь дом, как кулацкую усадьбу, а их отправят на поселение, потому что покойный Никанор Иванович был настоящий кулак, а Евгений, стало быть, подкулачник.

Варвара Степановна была потрясена происходящим беззаконием и слегла с сердцем. Евгений встал на защиту семьи и пошел в сельсовет, написал заявление, где просил разобраться, по какому праву его трудовую семью лишают жилья.



Евгений сам, добровольно вступал в 1927-м в сельскохозяйственную коммуну, поддерживал «генеральную линию», но активистом не был, в партию не вступал, в Совете был писарем, порученцем. Конторская работа угнетала его, хотелось работать на своей земле, для своей семьи, он постоянно чувствовал молчаливый упрек Варвары Степановны, которой пришлось взвалить на себя все домашние тяготы после кончины хозяина дома. Нужно было самому становиться настоящим хозяином, и Евгений ушел из конторы, утратив близость к власти, которой обладал в глазах односельчан. Теперь он стал классово чуждым элементом, богатым крестьянином-эксплуататором, поскольку семья в страдное время нанимала работников. Так ему и объяснил Вася Волк.

И вот теперь, с курсом на коллективизацию, он становился бесправным, лишенцем. Он не должен сопротивляться, он должен добровольно отдать все, что создавалось трудом его приемных родителей и поколений их предков, сделать ничьими своих лошадок, корову с теленком, порося, овец, козочку, курочек... Собаку, сибирскую лайку Дианку, как непроемчивый скот, разрешалось оставить в домашнем обиходе. А отдать дом, лишившись ни за что ни про что самой основы семейной жизни? Чтоб стать квартирантом у презираемого Васи?

Евгений пытался найти поддержку у односельчан на собрании, где Вася объявил его, Евгения, уклоняющимся от «генеральной линии», перерожденцем, а его хозяйство — кулацким, подлежащим конфискации. Выступил представитель крайкома, старый большевик, из рабочих, и сказал, что трудно, конечно, расставаться с прошлым, но надо, товарищи, проявлять инициативу и сознательность. Евгений обвел взглядом собрание и физически ощутил, что никто не поддержит его, что между ним и остальными возникла непреодолимая преграда. Он понял, что вынужден спасать семью, что нельзя искать защиты у власти, которую представляет некогда презираемый всеми Вася. Искать милости, самому не имея никаких заслуг перед властью, не получится, даже если они запишутся в колхоз, сдав всю живность, уступив полдома.

Сначала Евгений думал, что он вывезет семью в Тюмень, но это было опасно: их могли встретить односельчане и донести, что бежавшие от колхоза обретаются в городе.

Получилось так, что им пришлось бежать внезапно, после того как верный человек, их работница, постучала в окно среди ночи. Она слышала разговор: утром за ним придут, чтобы арестовать, а семью вышлют. Варвара, накануне прощавшаяся со всеми навсегда, живехонько встала с постели и велела Ори не будить детей и собирать вещи в дальнюю дорогу. Наскоро собрались при свечах, увязали вещи в узлы, Евгений вывел лошадей и запряг две подводы, погрузили сундуки и мешки с провизией и утварью, усадили детей. И, сопровождаемые верной Дианкой, выехали со двора за село на объездную дорогу, в полутьме опушкой леса выбрались на Тюменский тракт, который выведет их семью в новую, неведомую жизнь.

Алексей. Новосибирск

Новосибирск, до 1926 г. бывший Новониколаевском, давно манил Алексея, и вот осенью 1930 г. он приехал в город, работать на стройке подручным у папаши.

В городе кипела жизнь, строительство Сибчикаго, как называли Новосибирск в газетах столичные репортеры, шло небывалыми темпами. На улице



Серебренниковской сохранился дом, на строительстве которого дед вел кладку, а мой отец положил первые кирпичи. Потом были швейная фабрика, жилой дом ОГПУ, здание Крайисполкома, стоквартирный жилой дом на Сибревкома. Получив первые навыки ремесла, Алексей был командирован с бригадой комсомольцев в Кузнецк, на строительство металлургического комбината.

Работали вместе с расконвоированными уголовниками и мужиками, раскулаченными и сосланными, зимовали в бараке, спали на нарах, давили и выжаривали вшей. На глазах у Алексея уголовники зарезали человека в бараке, и никто не посмел вступиться. Он тогда узнал цену высоким словам и лозунгам и вернулся в Новосибирск возмужавшим, повидав людскую жестокость, подлость и унижение, то потаенное в человеке, что было раньше подавлено страхом Божьего суда, страхом перед властью государя, страхом перед собственной совестью, наконец.

Шел 1931 год. Город преображался, открыли Турксиб, вели железную дорогу на Кузбасс через Обь, перебросив мост выше города по течению, за Бугринской рощей. Размах строительства и планы будущего внушали уверенность в наступлении новой, устроенной жизни. Жили в бараке, потом ютились в съемной комнате в частном секторе, наездами бывая в Казакове, где оставались с матерью сестры и брат Петя.

Нюре исполнилось восемнадцать, она вышла замуж и ушла жить на блокпост на железнодорожном разъезде в большую семью со своим хозяйством. С крестьянской жизнью Трошины решили распрощаться. Из колхоза уже нельзя было бы уйти, но Максим Поликарпович выдержал характер и остался одиночкой, несмотря на уговоры и угрозы.

В первую пятилетку Алексею выпало потрудиться с папашей на стройках самых красивых зданий центра Новосибирска. Работали на совесть, ударными темпами. Подъемных механизмов не было, строили с лесов, кирпичи и раствор таскали на себе с помощью «козы» — наспинного щита на ремнях, с полкой для кирпичей, носилками-«окоренками», ведрами на коромыслах. Уже высились «Дом под часами», Главнивермаг, Госбанк, Дворец труда, разворачивалось строительство будущего оперного театра.

Максим, завоевав ударным трудом репутацию надежного и умелого работника, повышал квалификацию, стал мастером. Алексей получил разряд каменщика.

Возврат к прежней жизни был невозможен, осталась только память о детстве, о солнечной сенокосной поре, медоносном знойном лете. Теперь предстояло устраивать городскую жизнь, ударным трудом зарабатывая средства к существованию. Папаша знал от перебравшихся из деревни мужиков, что городские власти не препятствуют строительству дома на окраинах города, главное — соблюсти норму площади земли и «ранжир». Город рос как на дрожжах, в восточном направлении стихийно застраивались овраги, поймы речек — Каменки, двух Ельцовок, строительство велось уже за новым городским кладбищем, в конце улицы Кольцова.

Папаша присмотрел место для постройки дома на свободном участке в дальнем конце этой улицы, за перекрестком с улицей имени маршала Буденного. Землемер границы участка в положенные городской усадьбе шесть соток отбил, но сказал, что больше на этой улице строить частникам не разрешат, дальше по плану будет то ли трамвайный парк, то ли завод. И каждый день после основной

работы отец и сын устремлялись на участок и до полной темноты копали яму, пользуясь погожими летними днями. До холодов надо было успеть перекрыть яму крышей на два ската, зашить и утеплить стены, поставить «буржуйку», устроить нары.

Предстояло разобрать сруб в деревне и перевезти по частям на подводах, с оказией или с помощью земляков, но сначала надо было построить временку-землянку, перевезти домашних и утварь. Так поступали все, кто ушел из деревни в город, который требовал рабочих рук и дарил надежду на новую жизнь.

Теперь, когда семья собралась в городе, жизнь стала как-то надежней, появилось свое хозяйство. По весне вскопали огород, посадили картошку, посеяли овощи, стали лучше питаться — мамаша готовила, следила за порядком. Наташа старалась: помогала, стирала, подметала земляной пол. В землянке было тесно, нары в два яруса, маленькое оконце, керосиновая лампа, духота, но так жило большинство переселенцев, пока строили дома.

Алексея призвали в армию. Там он твердо решил, что обязательно должен учиться. Общась со своими сослуживцами, особенно городскими, глядя на уверенных в себе, знающих командиров, стал понимать, что без системных твердых знаний не преуспеть в жизни.

Город за два года его отсутствия сильно изменился. Пустили трамвай. Движение прерывалось первое время часто и надолго, появились новые выражения: «попал под трамвай», «зарезало трамваем». Самое существенное в нашей истории было то, что новый дом на Кольцова располагался наискосок от въездных ворот в трамвайный парк. Это значило, что из любого конца города можно было приехать на последнем, полночном трамвае и не проспять свою остановку.

Жизнь в большом городе, которая только сейчас, после возвращения Алексея из армии, разворачивалась перед глазами, была манящей и загадочной, по Красному проспекту двигались массы спешащих куда-то людей, сияли витрины магазинов, пронеслись извозчики и автомобили, катились автобусы.

Он почувствовал свою чуждость этой уличной суеде и даже враждебность к праздной и вольной, как ему казалось, городской молодежи. Его юные годы прошли в заботах о семье. И дальше предстояло трудиться и учиться.

Девятковы. Новосибирск

Семья моей мамы нашла приют в Новосибирске осенью 1930 г. Переезд и заботы по устройству житья на новом месте стоили здоровья и жизни главе семьи, Евгению Никаноровичу.

Евгений не хотел, чтоб его отпевали в церкви, но Ирина Ивановна через соседку пригласила попа домой к постели умирающего, ведь он был крещен, и детей они крестили. Он лежал в забытии, когда поп причащал его и соборовал. Нельзя было узнать в нем того веселого и бодрого человека, которого все любили, он страшно исхудал и зарос бородой, глаза и щеки впали. Ирина боялась мертвых, но, когда Евген уже не отзывался и наконец застыл, окаменев, он был не страшен, он был свой, родной. И вот его не стало совсем.

Все, что случилось с ними в последние три года, было так дико, нелепо и страшно, что без дрожи думать об этом было невозможно: оставили дом, хозяйство, бежали ночью с пожитками из родных мест, боясь погони, пробирались в объезд вокруг села лесной дорогой, чтобы выбраться по тракту в Тюмень, где осталась у родни Варвара Степановна. Отдав Евгению все, что копила годами,

оставив себе на похороны, наказывала уехать подальше, где их никто не знает и не ищет. Евгений думал вывезти своих в теплые края, но доехали на поезде до Новосибирска, а пересестъ на поезд до Алма-Аты по только что открытому Турксибу не получилось, поезда регулярно еще не ходили, а тут еще захворали дети. Пришлось задержаться в Новосибирске. Приютил их милиционер, подошедший с проверкой документов к ним, сидящим целый день на узлах и сундуках на перроне вокзала. Он определил поговору их как своих земляков, четко выговаривающих «о», поскольку сам был переселенцем с Урала. Поняв, что измученным дорогой людям некуда деваться, он предложил им устроиться у него на постой. Поселились в избушке рядом с только что отстроенным хозяйским домом, сговорились задешево. Надо было осмотреться, прийти в себя, а там видно будет. Евгений устроился на работу тут же, на железной дороге, на товарном дворе, сначала на погрузке-разгрузке, с дежурствами, а потом в контору — экспедитором.

Да, им удалось убежать, скрыться, уехать, но Евген потерял покой, и, хотя он подбадривал всех, даже шутил и смеялся, Ирина видела, как он страдает за них. Он устроился на эту проклятую работу на товарном дворе, работал на холоде и сквозняках, сверхурочно, бригадирствовал, стремясь обеспечить семью. Осенью простудился, начал кашлять, но, незаменимый, продолжал ходить на работу, гробил себя и весной слег наконец. У него открылся процесс в легких, он таял на глазах, и ничего нельзя было сделать. Чувствуя, что ему не подняться, Евгений просил, чтобы вызвали Катю из Тюмени. Он верил и надеялся, что Катя сможет стать опорой для матери после него.

Ирина Ивановна не имела профессии, не владела никаким ремеслом, всю жизнь занималась домом и огородом. Кате послали письмо, чтобы немедленно приезжала. Евгению становилось все хуже, и он с отчаянием ждал свою Калину, как звал он старшую дочь. Глаз с окон не сводил. Плакал, вспоминая своего любимого Валюшу, и шептал, что скоро с ним встретится.

Ему не сказали, что Катя прислала письмо из Тюмени с печальной вестью о кончине Варвары Степановны. Зацвела черемуха, за ней сирень, зашумела листва, и, когда наступили жаркие дни, Евгена не стало. И в тот же день от Кати пришла телеграмма, что она выехала из Тюмени. Она выехала в Новосибирск сразу, как окончился учебный год, и подумать не могла, что папу она не застанет живым.

От вокзала до улицы Короленко Катя доехала на извозчике, дальше побежала бегом, перекладывая из руки в руку чемодан, задыхаясь, к дому, у которого стояла лошадь с телегой и дымила цигарками кучка мужиков. Она пронеслась мимо них и вбежала в распахнутые двери, рядом с которыми стояли прислоненные к стене деревянный крест и дощатая крышка гроба. Она услышала бабий вой и причитания матери. Стоящие в сенях незнакомые старухи в платках расступились, и Катя замерла на пороге. Все смотрели на нее, все ждали ее, а она смотрела в раскрытый гроб, в котором лежал ее папа, страшно исхудавший, обросший. Катя бросилась к матери, и все дети, обнявши их, зарыдали. Ирина Ивановна не давала выносить гроб с телом, ждала, верила, что дочь уже близко, и вот она здесь, с ними! Семья собралась, и сердце ее успокоилось, Евген дождался свою Калину. Можно было отправляться в последний путь.

...После поминок, когда все разошлись, соседи убрали и унесли посуду, родные остались одни со своим горем. В то же время дети не могли оторваться от



Кати, восхищаясь ее красивым платьем с широким поясом и шелковым воротником. У Кати была стройная фигура с тонкой талией, стрижка по моде, с высоким затылком и завитками на висках. Словом, Катя была девушка на выданье.

Дуся была в восторге от сестры и не отходила от нее. Дуся была первой помощницей по дому: и нянькой, и уборщицей, и дворником. Ирина Ивановна жалела всех, но свалившееся на них несчастье измотало ее, и она срывала порой досаду на Дусе. Сама от природы сноровистая и ловкая, она хотела, чтобы дочь делала все так же споро, но у Дуси не получалось, она начинала плакать, и все валилось из ее рук. С возрастом дочь научилась терпеть и сносила побои молча. Работу она делала «с чувством, с толком, с расстановкой», как учил папа.

Закаменский, а ныне Октябрьский район Новосибирска, Закаменка, где выпало приютиться Девятковым, разрастался на плато, отделенном от центральной части города глубоким логом, поймой речки Каменки, впадающей в Обь прямо перед устоями величественного железнодорожного моста Транссибирской магистрали, и был весь застроен одноэтажными деревянными домиками с огородами и палисадниками.

Тут, в Закаменке, семья прожила почти два года, две трудные зимы. На новом месте нужно было обзаводиться домашним хозяйством, одеться и обуться к зиме. Мама моя вспоминала, что сначала у них была одна пара валенок и один старый овчинный полушубок на всех детей, в первую зиму гуляли по очереди. Евген купил детям санки и Косте — лыжи с палками из бамбука.

Однажды Костя припелся домой с ревом, за ним бежала Анька и тоже редела. Оказалось, что какой-то большой мальчик на горке забрал у Кости лыжи покататься и не отдает. Лыжи были подарком папы на день рождения. Они были великоваты, на вырост, крепления были на валенки, из сыромятных ремней. Валенки у Кости были подшитые, тоже на вырост, куплены на барахолке, как, впрочем, и лыжи. Пришлось Ирине Ивановне идти с Костей разбираться на горку. «Большой мальчик» оказался известным всей округе Сашкой Покрышкиным, восемнадцатилетним парнем из бедной трудовой многодетной семьи, жившей неподалеку. Самого Сашки на горке уже не было, мальчишки проводили их до избушки Покрышкиных. Костины лыжи с палками торчали в сугробе у крыльца. Сашкины родители были дома, самого его не было видно. Когда Ирина Ивановна высказала свое негодование, родители Сашки не стали его защищать. Лыжи были с извинениями возвращены, а Сашке его отец сделал суровое внушение. Этот Сашка был бедовый и отчаянный парень, участвовал во всех уличных потасовках, и его кулаков боялись, но говорил, что чужого не брал и малого не обижал. Просто так получилось, что малой убежал с горки и никто из ребят не знал, где он живет, вот и пришлось унести лыжи домой. Потом Сашка стал Александром Ивановичем Покрышкиным, трижды Героем Советского Союза, одним из самых известных летчиков-асов Великой Отечественной.

Девятковы. Улица Спартака, 2

Катя успела проститься с любимым папой. Теперь ей предстояло разделить и принять на себя тяготы и заботы мамы, стать опорой семьи. Она устроилась на работу. Времени и возможности выбирать не было, ее приняли делопроизводителем в контору товарной станции, где работал папа, стала приносить домой жалованье. Нужно было платить за жилье хозяину дома, отдать накопившийся за время болезни папы долг. Жизнь в убогой хибарке угнетала ее, она уже при-

выкла жить чисто и достойно на положении сельской учительницы, в отдельной комнате, когда все бытовые нужды были на хозяевах. Здесь же ей пришлось содержать семью, платить за убогое жилье, за дрова, за ремонт, при этом ютиться на полотах. На службе она добилась, чтобы их семье выделили жилье: начальник, помня и уважая ее отца, помог.

Зимой 1933 г. они переехали в просторную комнату в доме царской постройки на улице Спартака, ближе к центру города. Добротный одноэтажный корпус, со стенами из шпального бруса, обшитыми вагонкой в елочку и окрашенными желтой охрой, со скатной кровлей, на фундаменте из бута, был построен по образцовому проекту одновременно с сооружением рельсовых путей Транссиба, вдоль бровки откоса глубокой рукотворной выемки — ложа магистрали. В этом месте начинался плавный поворот трассы перед въездом на железнодорожный мост через Обь. Отсюда начинал расти город.

Квартира, которая им досталась, фактически была большой комнатой с высоким потолком, с большим окном на запад, с печью посередине комнаты. Напротив домов, за проездом, на бровке откоса железнодорожной выемки тянулся ряд хозпостроек для хранения угля и дров, с помещениями для скота, сеновалами, загончиками для домашнего скота и птицы. Завели для начала кур, потом козу, корову. Скотину пасли на зеленом клине холма между выемками Транссиба и алтайского направления.

Пастушкой с одиннадцати лет была Анна, Анька с хворостиной. Самой пастушке иногда доставалось этой же хворостиной за нерадивость и вредность. Анна брала с собой на пастбище книжки, читала много, выдумывала сама разные истории, сочиняла целый любовный роман с продолжением и рассказывала подружкам и сестрам, обрывая на самом интересном месте. Бывало, что корова забредала опасно близко к железнодорожному пути, но все обходилось.

Катя все заработанные деньги отдавала матери, при этом определялось, на что нужно было потратить их в первую очередь. Питались скромно, одевались просто. Очень помогала швейная машина, вывезенная из Нижней Тавды. Приходилось выгадывать на всем. Так жили все вокруг. Что-то приобреталось на барахолке. На зиму надо было заготавливать дрова и уголь, корм скоту. Сено косили сами, Ирина Ивановна с Катей, вдоль железной дороги. Нужно было накопить на зиму целый воз, привезти к амбару и вилами закидать на сеновал.

Ирина Ивановна вставала рано, кормила скот, кормила детей и потом отправляла всех в школу — ФЗС (фабрично-заводскую семилетку). Она выполняла наказ Евгения — дать всем детям образование. Сама же она, при ее ясном уме, еще в Тавдинской пройдя ликбез, чтоб угодить мужу, в грамоте не преуспела, читала по складам, отчего всю жизнь страдала, стыдясь своей темноты.

Весной 1934 г. Дуся получила удостоверение об окончании семилетки и осенью пошла на работу конторщицей на станцию Новосибирск-Товарный. Освоила специальность счетовода-бухгалтера, имела поощрения и повышения, весь заработок отдавала маме. Костя поступил в школу ФЗО — фабрично-заводского обучения — при железнодорожном депо, учиться на токаря.

Алексей. После армии. Рабфак

Отец, вспоминая прошедшие годы, всегда выделял 1935 год, говоря, что это было время, когда всем казалось, что жизнь в стране будет идти только на подъем, что кончились времена ломки, разрушения старого, холода и голода,

карточной системы и вредительства, ибо социализм победил, коллективизация и индустриализация успешно завершены. В их дом провели электричество и радио, по которому передавали марши и песни хора Пятницкого, и на слуху у всех были герои-летчики, спасшие челюскинцев. Алексею шел двадцать пятый год. Родители мечтали о женитьбе сына, о внуках, да и сам он думал, что должен встретить достойную девушку из городских. Но до этого, он считал, надо было получить профессию, чтобы иметь хороший заработок, надо было получить образование.

Осваивая профессию плиточника-мозаичника, овладевал иностранной техникой — немецкими растворомешалками и шлифовальными машинами «Америкэн» с электроприводом. Зарабатывать стал больше, все отдавал матери на хозяйство. Однажды, когда он передавал очередную полчку, мать сказала, что его деньги она не тратила, все думала, как ему справиться костюм, а то в люди не в чем выйти. Алексей приоделся: выбрал себе костюм, рубашку и галстук, на лацкан двубортного пиджака прикрепил значок ГТО.

Осенью 1935 г. Алексей поступил на рабфак — это была необходимая ступень для получения высшего образования. Он понимал: знание — сила. Недаром на стройке у них работали буржуазные спецы и руководили старорежимные архитекторы и инженеры, вроде аккуратного господина с бородкой, в шляпе и пенсне — профессора Крячкова, который тростью брезгливо и нервно тыкал в кривой шов кладки и требовал от мастера и каменщика разобрать и сделать заново, «как следует».

На рабфаке Алексей оказался в веселом и бодром обществе, где он, уже отслужив в армии и поработав на стройке, почувствовал себя пришельцем из иного мира. Это был вечерний курс: после работы нужно было умыться и переодеться и идти на лекции, вести конспекты, сдавать зачеты. Алексей переоценил свои знания и способности и был обескуражен тем, насколько многие из пришедших, причем моложе его, знают больше его и лучше соображают. Он стал регулярно посещать библиотеку, приобщился к классической русской литературе. Учились ударными темпами, за четыре часа после рабочего дня усваивая всю премудрость точных наук, русского языка и литературы, истории и диамата.

Здесь, на рабфаке, Алексей обрел хороших друзей. Были и девушки, но очень серьезные и колючие.

Дуся. Рабфак

Именно на рабфаке с началом занятий, осенью, Алексей заметил крепкую широколицую девушку с модной короткой стрижкой и в белом берете. Она ни на кого не обращала внимания, садясь на занятия в первые ряды. Ему нравилось ее независимое поведение, она никогда не шушукалась с другими девушками и уходила после занятий быстро и незаметно. Ему захотелось с ней познакомиться, предложить проводить домой. Нельзя было зевать: многие из парней, включая его друзей, обратили на нее внимание. И он решил в один из вечеров после занятий объяснить с ней внизу, у гардероба. Она появилась не одна! Спускалась по лестнице, держа за руку хмурого дюжего парня, явно моложе Алексея, и улыбалась при этом. Алексей был обескуражен и раздосадован тем, что его опередили.

Эта девушка была Дуся Девяткова, а парень при ней был ее родной брат Константин. Он окончил школу ФЗО, работал токарем и пошел на рабфак



вместе с сестрой. Ему исполнилось шестнадцать, но выглядел он значительно старше — рослый, широкоплечий, собранный. Находясь рядом с Дусей, он оберегал ее от нежелательных знакомств и всегда был готов к ее защите. Алексей ему сразу не понравился: Костя не желал, чтобы к сестре привязывались такие старые и вечно надутые мужики.

Алексей действительно выглядел нелюдимом, хотя на самом деле он просто выкладывался на работе и на занятиях часто боролся со сном.

Дуся же не собиралась замуж, ей никто еще не нравился, она думала только об учебе. Хотелось стать такой же самостоятельной и независимой, как Катя, которая встречалась с интересным парнем из Сибстрина, студентом-архитектором, спортсменом. Однажды, в конце июня 1936 г., он пригласил Катю на выпускной вечер архитекторов после защиты диплома, и они протанцевали до утра на открытой террасе здания института, благо ночь была теплая и короткая. Домашние долго не ложились, девчонки ждали Катю, чтобы расспросить о впечатлениях вечера, ведь она надела лучший наряд и сделала прическу. Она всегда ночевала дома, и в этот раз не собиралась задерживаться. Но время шло, а ее все не было. Всех сморил сон, и только Ирина Ивановна не сомкнула глаз. Уже светало, когда негодование матери достигло высшей точки. Ирина Ивановна схватила палку и выбежала на улицу — встретить гуляющую и отдубасить, чтоб знала, как себя соблудить. Увидев счастливую парочку в лучах восходящего солнца в конце Спартаковского моста, мать спряталась под мостом и выжидала. Когда те перешли мост и спускались по лестнице к дому, Ирина Ивановна выскочила из укрытия и дала волю чувствам. Правда, палку не применила, но ее устрашающий вид не оставлял сомнений в серьезности намерений. Все кончилось благополучно. Воспитанный и дипломированный архитектор из хорошей семьи, Петр Антонович Ильин в конце концов развеял все материнские сомнения и страхи и, обретя доверие семьи, получил согласие на брак с Катей.

Петр как-то пришел со своим братом Константином, который тоже учился в Сибстрине на инженера-строителя. Крепкий, плечистый парень с открытой улыбкой, он понравился Дусе и сам влюбился в нее, они стали встречаться. Их свидания заканчивались рядом с домом, в парке «Сосновка», где встречались и Катя с провожающим ее Петром. Там по выходным играл духовой оркестр и были танцы. Дуся влюбилась в Константина Ильина. Он, как и брат, был человек серьезный и сделал Дусе предложение. Она, естественно, согласилась, и он после защиты диплома решил просить у Ирины Ивановны руки дочери. Но тут мать проявила неожиданную твердость: отказала наотрез, усмотрев в браке сестер с родными братьями какую-то угрозу, видимо, в случае возможного разлада в одной из пар.

Дуся очень переживала расставание с Костей и на всю жизнь сохранила память о своей нерасцветшей любви.

Алексей. Тревожное время

Армия, а потом рабфак вовлекли Алексея в круг общения с массой новых людей, ровесников и людей постарше, грамотных, образованных, — старших командиров, преподавателей или стремящихся к знаниям сверстников и городской молодежи. Успех в жизни связывался с образованием и общественной активностью, отсталость и косность — с пережитками прошлого, патриархального,

«старорежимного» уклада. Воспитанный в уважении к родителям и тяжелому крестьянскому труду, Алексей не мог и не хотел осуждать родителей за их мнения и привычки, их набожность, которую надо было скрывать.

Для него было немислимо высказать осуждение или упрек родителям, он жалел их. Столько сил они положили в попытках устроить обеспеченную жизнь своей семье, но все их надежды на крестьянское счастье рухнули, когда они увидели, что государство сделало с теми, кто своим трудом добился благосостояния и достатка.

Между тем город строился и рос, и это внушало уверенность, что все перекося и лишения будут преодолены, планы пятилеток будут успешно выполняться и перевыполняться. Алексей был зачислен в кадровый состав армии и каждое лето призывался на сборы в летние лагеря.

В декабре 1936 г. было торжественно объявлено, что социализм в СССР победил окончательно. В связи с этим на съезде Советов была принята новая конституция, названная «сталинской». Вместе с тем было сказано, что успехи страны вызвали злобу и ненависть скрытых врагов — «остатков правящих классов», которые будут оказывать сопротивление строительству социализма. Сталин объявил, что классовая борьба обостряется и требуется быть готовым к проискам врагов социализма внутри страны.

Лето 1937 г. запомнилось как тревожное время, когда в газетах появлялись статьи о процессах над высокими партийными и военными деятелями, о массовом вредительстве и двурушничестве, о выявлении скрытых классовых врагов. На строительстве оперного театра, где в том памятном году начал работать Алексей с бригадой плиточников-мозаичников, в один день забрали группу инженеров и мастеров. Увезли бесследно неизвестно куда, да и никто не спрашивал потом о них.

Идя на работу и с работы, Алексей проходил каждый день мимо дома, где в окне первого этажа видел завтракающую или ужинающую за столом семью. И в какой-то день он увидел в этом окне накрытый стол, за которым никого не было. Были тарелки с супом и ложками в них, надкусанные ломти хлеба лежали рядом. И картина эта не изменилась вечером, когда он шел обратно, и на другой день, и в последующие, когда он уже боялся смотреть на это. Он понимал, что произошло с этой семьей.

Ирина Ивановна очень переживала, когда Эйхе, бессменного секретаря крайкома партии с 1926 г., объявили врагом народа и расстреляли. «А я-то за этого Еху на выборах голосовала! Что ж со мной теперь будет?» — причитала она.

Весной тридцать девятого рабфаковцы сдавали последние контрольные и готовились к выпускным экзаменам. Алексей выбрал агрономический факультет сельхозинститута для продолжения образования, решив, что все-таки сельская жизнь ему ближе, роднее. «Эта девушка», Дуся, тоже поступила в сельхоз, только на зоотехнический. Он уже был знаком с ней через друзей, но сблизиться не стремился, хотя недоразумение с ее братом разрешилось.

Алексей был склонен к морализаторству и нравоучениям, хотя был совершенно неопытен и просто дик в смысле изящных манер, не умел ухаживать, не умел танцевать, непринужденно разговаривать. Девушки его побаивались и сучали с ним, а в компании вышучивали, и отношения не складывались. Родители твердили ему, что пора жениться, мать переживала, винила городских девок, неспособных оценить трудового и честного парня, непьющего и некурящего.



Сестра Наташа тоже никак не находила себе пару, хотя была хороша собой, а желающих познакомиться было достаточно. Она решила, что выйдет замуж только по любви, за серьезного и надежного человека, но таковой никак не появлялся.

Максим Поликарпович уже не работал каменщиком, ему исполнилось шестьдесят, его мучила грыжа, болели суставы, ныла спина. И курил он все тот же самосад, который выращивал на грядке. Бесполезны были все попытки окружающих (и Алексея в первую очередь) внушить папаше, что курить — здорово вредить. Старик хмурился и лез в карман за кисетом.

Дуся. Тревожное время

Костя после окончания рабфака поступил в строительный институт, Сибстрин, на вечерний факультет и продолжал работать токарем в железнодорожном депо. Первого сентября Дуся пошла в сельскохозяйственный институт, Аня поступила в Томский строительный техникум и уехала в Томск, а Нина перешла в седьмой класс ФЭС.

Первого декабря 1939 г. по радио объявили, что в Финляндии образовалось социалистическое правительство, которое обратилось за помощью к СССР в борьбе с буржуазной властью.

Тогда никто не мог знать, что это было прологом большой и кровопролитной войны. В декабре Костю призвали в Красную армию на срочную службу. Служить ему после учебной части выпало в Монголии. А в январе 1940 г., после первого семестра института, и Алексея призвали в РККА, в саперный батальон, назначив командиром взвода. Служба проходила в Западно-Сибирском военном округе, под Новосибирском, их часть была в резерве, в деле им побывать не пришлось. В марте военные действия на Карельском фронте закончились, а демобилизовали Алексея только в июле.

Дуся перешла на второй курс. Ее старшая сестра Катя с мужем Петром жили в Хабаровске, Катя училась в педагогическом институте, Петр успешно работал, по его проектам уже строились здания. Дуся радовалась за Катю, но сама пока связывать свою судьбу с кем-либо не собиралась. Алексей пытался ухаживать за ней, но ее пугала его серьезность, он казался ей старым и чужим для ее компании.

После окончания первого курса Дуся с друзьями собрались в поход на Алтай. В день отъезда она почувствовала себя плохо, заболел живот, подступала тошнота. Она кое-как пришла к вокзалу на место сбора. Друзья, увидев ее, вызвали скорую помощь. Ей поставили диагноз «гнойный аппендицит» и срочно уложили на операционный стол. Операция была тяжелой, но все обошлось. Дуся очень переживала свою неудачу и оторванность от компании. Подруги нашли свою судьбу в том походе, вернулись счастливыми и довольными. Теперь все Дусины товарищи были заняты друг другом, и ей стало совсем одиноко.

Алексей. Дуся

Алексей, вернувшись из армии в июле 1940 г., вышел на работу в свою бригаду на отделке оперного театра. Их семью постигло несчастье: сестра Нюра овдовела, оставшись с двумя сыновьями, восьми и пяти лет. Нюра пошла ра-

ботать на железнодорожный блокпост дежурной, а за детьми присматривала свекровь.

Родители очень переживали за нее, у Парасковьи Поликарповны часто болело сердце. Петя оканчивал десятый класс и собирался поступать в строительный институт, учиться на архитектора. Сестра Наташа работала на том же комбинате, и близких отношений с мужчинами у нее не сложилось. А тут еще, как на грех, на работе получила увечье — перелом ноги. Кость срослась, но заметная хромота осталась. Родители были озабочены и просили Алексея познать девушку с кем-то из его друзей, серьезным человеком. В его представлении таким был Алексей Чайковский, его приятель по рабфаку, настроенный на создание семьи и отнюдь не легкомысленный, поступивший в педагогический институт на математический факультет. Алексей решил, что Наташе он понравится.

Вспомнив про Дусю, он как-то после работы зашел к Девятковым на улицу Спартака. Дуся оказалась дома, он узнал о ее операции и посочувствовал ей. Они возобновили встречи. Ходили в кино, на танцы в парк «Сосновка» рядом с домом Девятковых, Алексей провожал Дусю, иногда заходил к Девятковым на чай. Однажды под воскресенье пригласил Чайковского пойти в кино с девушками, имея в виду свою сестру Наташу и, естественно, Дусю. Знакомство состоялось, и Чайковский, как тогда было принято говорить, стал ухаживать за Наташей...

Осенью Алексей вернулся в институт, начав все сначала, на вечернем отделении.

В новом, 1941-м году в семью Девятковых пришла радостная весть: у Кати с Петром в Хабаровске родилась дочь. Катя работала и училась до рождения дочери, помогала своим, присылая деньги матери. С рождением дочери работу ей пришлось оставить, и Дуся в январе 1941 г. прервала учебу в институте. Устроилась на работу счетоводом в управление Гострудсберкасс, чтобы обеспечить семью. С Алексеем стали видеться реже, он продолжал обучение, времени на развлечения не было.

Дуся грустила о невозвратной поре окончания рабфака и начала студенчества, когда жизнь была наполнена новыми знаниями, новыми знакомствами, новыми впечатлениями и все казалось возможным. Зима прошла, наступало время ручьев, бурной сибирской весны.

Алексей Трошин стал ей гораздо ближе, встречал после работы, заходил к ним на Спартака, они гуляли в парке, ей удавалось затащить его на танцы, куда ей очень хотелось, а он не слишком рвался — был тяжел и неловок на людях.

22 июня 1941 г., в воскресенье, солнечным утром они встретились, чтобы поехать в Заельцовский парк культуры и отдыха и провести наконец-то целый день вдвоем. Этот день оказался решающим в их отношениях и связал их на всю жизнь. Когда вечером возвращались в город, на остановке автобуса из уличного громкоговорителя услышали сообщение о нападении Германии на СССР и приказ о всеобщей мобилизации.

Началась война...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ася ПЕКУРОВСКАЯ

ПОРЯДОК СНОВ

*О романе Глеба Шульпякова «Красная планета»,
и не только о нем*

Почему Нобелевская премия часто минует российских писателей? Не в том ли дело, что западные авторы создают свои романы из «груд мусора, старых пуговиц, стаканов, осколков, частей человеческих тел в анатомическом музее»? Но вопрос «из какого сора?» был впервые задан в России.

Не пришло ли время наконец поискать ответ на него не только у Винфрида Георга Зебальда, Жоржа Перека или Ольги Токарчук, а именно здесь?

* * *

«Красной планетой» называют Марс. Название подходит и для романа, где цепочка тянется к новому имени: Сан-Лоренцо — район Рима и старая базилика святого Лаврентия. Стрела, пущенная из этой точки, может попасть в Баварию, Бонн, Таиланд, Стамбул, Кострому.

«Эта история растворилась бы в прошлом, если бы на барахолке в Сан-Лоренцо я не увидел часы. Такие часы носил мой отец...» — говорит персонаж Глеба Шульпякова. Носил, когда стал участником научной колонизации Марса, уточним мы. Часы с барахолки оказались работающими. Они наполняли комнату шелестом и таили в себе начало истории, которая находилась в прошлом, если под прошлым иметь в виду некий алхимический раствор, в который погружена *память*.

...На поверхность всплывает гостиница в Кельне. Из светящегося чердачного окошка, кажется, вот-вот выглянет фрау Стобой. Но нет, она осталась в «Даре». С чердака спускается сосед по пансиону. «Он привез на фестиваль свои коллажи, которые подписывал “Вадим Вадимович” — как, собственно, его и звали».

Не тот ли это Вадим Вадимович, который, сойдя со страниц другого романа Набокова, неожиданно получает роль «альтер эго» писателя? Но какова его роль в «Красной планете»? Алхимический раствор готовится прямо на глазах: Вадим Вадимыч «закатал рукав и снял наручные часы. “Вот посмотрите, — сказал он. — Переверните, видите? Это отцовские”. Я снял очки и приблизил

глаза. «Слава первопроходцам «Красной планеты»» — было выгравировано на крышке».

После этого фантастического совпадения «мы решили отыскать тех, вроде меня, людей, кто родился на Красной планете, или (как мой новый друг) имел к ней хоть какое-то отношение».

Кто эти «мы»? Автор подбирает их поштучно, как подбирают музыкантов для игры в оркестре. У наручных часов есть двойник, попавший в «Красную планету» из другого романа Шульпякова: «Чужие ходики оказались единственной вещью в моей жизни... связавшей прошлое с настоящим, между которыми я барахтался». Это ходики из «Цунами». Они принадлежали предкам жены героя и, запакованные, прибыли к молодоженам. «Ночью, когда движение под окнами замирало, стук маятника наполнял нашу необжитую квартиру, как если бы кто-то еще, родной и свой, стал невидимо жить в доме. И в нашей жизни, пустой и холодной, появилась опора, смысл».

Часы — вектор странствий, которые никогда не кончаются. Покуда стрелка часов движется по кругу, конец странствий совпадает с их началом. «...Гигантские часы с некогда золоченым, а теперь почерневшим от вокзальной копоти и табачного дыма циферблатом, на котором двигалась кругами стрелка длиною не меньше шести футов».

Мысль о часах пришла в голову Винфриду Георгу Зебальду на вокзале в Антверпене, а в романе «Аустерлиц» она обозначила границу времени, за которую ушли наши предки. Именно в Антверпене начинается поиск, здесь же он и заканчивается; круг замыкается.

«Путь ему предстоял непростой. Бабка по матери — российская еврейка, дед — поляк из Вильно... дед по отцу — испанец, а бабушка — индианка из племени, названия которого я не запомнила».

Любовь к путешествиям разделяет с героями и автор, а возможно, и Зебальд, но процитировала я роман польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук «Бегуны», в котором соприкасаются вещи, разбросанные по разным концам света. «Распространяется ли на меня закон, составляющий гордость квантовой физики: частица может существовать одновременно в двух местах?» — задается Токарчук вопросом, подсказав рецензентам мысль о создании новаторской формы (*констелляции*). «Бегуны» принесли Ольге Токарчук «Букера», а Нобелевская премия окончательно узаконила стиль *констелляции* как один из самых интересных в литературе.

Само название («Бегуны») является синонимом постоянного движения, фактора времени. *Время бежит*, невзирая на наши задержки в пути. Но именно эта ассоциация *времени* с нашим *непрерывным* движением и является иллюзорной, как и закон, составляющий «гордость квантовой физики». Ведь чем усерднее автор следует этому закону, тем скорее огромные пространства и вещи оказываются сведенными к пространствам и вещам миниатюрных размеров. Очередной фантазией является также их одновременное существование в разных местах. Не случайно эта фантазия закреплена формулой: *far niente* (ничего неделанье).

«Многие верят, что есть в системе координат мира некая идеальная точка, в которой время и место достигают гармонии, — пишет Ольга Токарчук. — Быть может, именно это заставляет людей покидать свои дома — они полагают, что даже хаотическое движение увеличивает вероятность найти такую точку». Эту веру разделяет и автор: «Делать ничего не нужно, только прибыть, оказаться в

этом неповторимом сочетании времени и места. Там можно найти большую любовь, счастье, выигрыш в лотерею или разгадку тайны, над которой столетиями тщетно бьется человечество, а возможно, и собственную смерть».

В разветвленную фабулу «Красной планеты» помещены рассказчики, тоже занятые поиском — они ищут предков, воскресающих по мере нахождения. Но это воскрешение не является чудом, закрепленным формулой *far niente*.

«Настоящий писатель должен знать место, где разворачивается сюжет его книги. В этом, казалось мне, состоит писательская честность. Ответственность за то, что пишешь», — говорит Глеб Шульпяков в некоем настоящем, которое, попав в прошлое, приглашает другую мысль: «Чтобы стать путешественником, не нужно колесить по миру. Достаточно пройти путь из точки А в точку Б, пересячь местность».

Но даже и этот путь, продолжу за автора я, может оказаться излишним. Достаточно, подобно Рильке, задержать взгляд на соринке на одеяле, чтобы, подключив фантазию, создать из нее причудливый орнамент, из которого и складывается нарратив. Но как можно достигнуть этого чуда?

«Открыв глаза, из одного сна я попадал в другой, — говорит герой “Цунами”, — и разглядывал крашенные швы между кирпичами; рисунок штор и розовую пыль на красных плафонах, которая напоминала Таиланд, остров которого остался в другом, третьем сне».

Эта метафора щели повторяется в «Красной планете», словно умножая «заглядывания» и тем самым прокладывая путь к собственному сознанию и его работе с памятью.

Зрелый рассказчик ловит движение, которое никогда не было зафиксировано. Однако во сне приходит озарение — грань между «здесь» и «тогда» стирается. Ведь всякое «здесь», как и вещи, выставленные в витрине музея, скрывает свое вытесненное прошлое, которое могло бы быть с нами, но, не будучи записанным, прекращает существование.

«Снова и снова погружаясь в бездонные щели улиц или поднимаясь на продувные, утыканые кипарисами холмы, я шел по границе, разделяющей города настоящий и вымышленный, сложенный из моих воспоминаний и книг. Эти образы переплелись настолько, что со временем я уже не мог сказать с точностью, что случилось в реальности, а что плод моего воображения. Но ведь и сами жители давно существовали на два дома, в прошлом и будущем, наяву и во сне, в кино или книге, но только отчасти здесь и сейчас». Это сновидческое признание делает рассказчик «Красной планеты», оказавшись в городе, «полу-европейском, полу-азиатском, рассыпанном по холмам и полном восточных тайн и очарования прошлого».

Но механизм сновидения полицентричен. Как подчинить его линейному повествованию, логические элементы которого по-разному соотносятся друг с другом? «Каким образом во сне инсценируются все эти “если”, “потому что”, “подобно тому, как”, “несмотря на то, что”, “или — или” и все другие союзные слова, без которых предложения и речи остались бы вне нашего понимания?» (Жак Деррида, «Письмо и различие»). Сон — это всегда монтаж. Он передает последовательность через одновременность. Чтобы понять психический аппарат памяти, Фрейд изобрел «волшебный блокнот», в котором «записи пропадали всякий раз, когда нарушался тесный контакт между бумагой, воспринимающей раздражение, и восковой плиткой, удерживающей отпечаток». «Это согласуется с давно сложившимся у меня представлением о работе восприятия в нашем

психическом аппарате, которое я до сих пор держал при себе», — писал Фрейд Флиссу.

Романы Глеба Шульпякова чудесным образом попали в «волшебный блокнот» Фрейда. И если можно поймать какую-то стабильную мысль в калейдоскопе снов автора, этой мыслью будет поправка к формуле Ольги Токарчук, которая читается так: «Пространство убивает время. Просто съедает его, как гусеница — листик». Но почему? И как? Пояснение нам даст... Винфрид Георг Зебальд: «...время вообще отсутствует как таковое... в действительности существуют лишь различные пространства, которые входят одно в другое в соответствии с какой-нибудь высшей стереометрией и между которыми живые и мертвые, смотря по состоянию духа, свободно перемещаются, и чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что мы, те, что пока еще живые, представляемся умершими нереальными существами, которые становятся видимыми только при определенной освещенности и соответствующих атмосферных условиях».

Каждая эпоха завещает потомкам некий заветный код. Начало прошлого века, века модернизма, оставило нам в наследство код зауми и абсурда. Мы же готовим для потомков «онейрический» (сновидческий) код. Этому коду подчиняют свои фабулы наши любимые писатели. Фабулы их рассказов фрагментарны, как и сны, но фрагменты эти не взаимодействуют по принципу констелляции, а перетекают один в другой, не оставляя швов. И именно поэтому все творчество одного автора оказывается подчиненным одному онейрическому коду.

...Где-то между Москвой, Одессой и Стамбулом Глеб Шульпяков сочиняет первый роман «восточной трилогии» — «Книгу Синана». Знает ли он, что пишет трилогию? Вряд ли. Путь в Стамбул лежит по воздуху, с ночевкой в Одессе. В гостинице «Красная» висит «старая карта Черного моря с промерами глубин и рисунком береговой полосы». Герой «долго изучал ее, пока наконец не заметил отражение собственного лица» — и «острова, заливы, дельты, вся география разместилась на моей физиономии».

Перед нами тот самый момент, когда два романа, следующие за «Книгой Синана», уже приснились автору, они уже пре-прочитаны на этой застекленной карте. И тут снова всплывает имя Набокова.

И Набоков, и Шульпяков пишут свою «Книгу жизни», перенося из одного романа в другой одних и тех же персонажей, а иногда и целые эпизоды. Один такой эпизод из «Книги Синана» перенесен в «Цунами». Но что значит «перенесен»? Ведь каждое «перемещенное лицо», попадая в новый контекст, выполняет новую функцию.

«В один из последних дней ноги занесли меня в тихий переулок где-то на задах Святой Софии. Как называлась улица? Куда вела? Не знаю. В стене, увитой плющом, виднелась узкая лестница». Так в «Книге Синана» начинается знакомство, которому не суждено состояться. Но имеет место и другое: «Я окупился в работу, стал спешно заканчивать книгу. Но странное дело, финал, каким он задумывался вначале, отказывался ложиться на бумагу. Сюжет... стал выглядеть вычурным. Глупым! Один, другой варианты — все летело в корзину. И тогда я понял, что писать развязку нужно по-другому. Поскольку ни один хитроумный сюжет, трижды разукрашенный деталями, не сделает мой роман убедительным, если в нем не будет подлинного чувства».

Эта «подлинность» чувства отнюдь не зачеркивает вымысел. «И знаете что? — продолжает рассказчик. — Эта вымышленная ночь получилась убедительной».

тельной. Правдоподобной. Стоило мне закрыть глаза, как я слышал звуки и запахи; ощущал страсть и нежность; касание; взгляд. Все то, чего на самом деле так и не случилось».

Какую задачу мог ставить перед собой автор, подменяя реальную историю вымышленной? Нет ли здесь цели разместить персонажей в разных местах одновременно, как делает Ольга Токарчук? Но Глеб Шульпяков не разделяет фантазий о законе квантовой механики, ему не нужно наводить мосты к фрагментам наблюдений — топонимикой его романов является сновидческое пространство, и это, пожалуй, единственное художественное пространство, вмещенное им в личный вокабуляр: «Литература — это путешествие в художественное пространство Автора».

Но из чего, если не из наблюдений, непривычных для глаза, складывается это художественное пространство? Где лежит та развилка, миновав которую Глеб Шульпяков становится принципиально другим автором?

Когда-то я писала о романе Шульпякова «Музей имени Данте», даже не помышляя о присутствии сновидческого кода в его понимании музея. «А так как источником непривычного является сама жизнь, задача создателя музея сближается с задачей мемуариста, новеллиста, поэта, — писала я. — И тот, и другие стремятся освоить непривычное и сделать его живым и близким для себя и других».

Но как этого добиться?

«Писать надо так, как если бы ты жил на необитаемом острове», — скажет позже автор. Необитаемый остров — это не столько земля, на которую не ступала нога человека, сколько вымышленный мир разобщенных душ, бегущих друг от друга, от себя, от собственной судьбы. Именно эта тема и развивается в романе «Музей имени Данте». Ее как бы случайно озвучивает обычный экскурсовод перед памятником одному из таких «беженцев». История архангельских земель как история всеобщего побега. Нет ли здесь переключки с *констелляцией* из «Бегунов» Ольги Токарчук?

«Все это были истории бегства, исчезновения, вызова или спора с судьбой, поиска чего-то, что могло бы изменить жизнь. Единственный вопрос, ответа на который они не давали, был вопрос “зачем?”. Какова природа этого поиска, одинакового у вельмож и простолюдинов? Генералов и купцов? У народа целой страны, который столько раз уже снимался с насиженного места? Словно история нарочно спрятала эти ответы, скрыла».

Комментарий вроде бы навеян памятником. Но и сам автор одержим желанием «сняться с насиженного места». А читатель?

Памятник поставлен «исчезнувшему мореходу», но его останки будут все-таки обнаружены. Значит, он не исчез, а «снялся с места и скрылся». Его история не выдержала испытания временем и «рассыпалась», заявив о себе лишь как экспонат музея. Этого музея еще нет — но он уже зародился как идея. «Я начал эту книгу, поскольку все, что было вычеркнуто из памяти и осталось в прошлом, неожиданно *проснулось* и обрело голос. Не образы или чувства, не слова, но звук этого голоса, вот что я слышал... Разрозненное и случайное, мое прошлое со временем не только не исчезло, как я думал, но обрело черты и наполнилось смыслом. В чем он заключался? Этого я не знал».

Идея музея состоит в пробуждении от того сна, в котором кто-то, водя волшебной палочкой, рассказывает забытую историю: рассказывает несвязно, хаотично, сжато. Фрейд называет такой рассказ вытесненным желанием.

А в сновидении мысль обретает контуры и краски. И это роднит его с экспонатами музея. Но как происходит отбор в этот музей? Как попасть в сон?

«Время идет, и мне все отчетливее видно, — читаем в “Музее имени Данте”, — что большинство событий моей жизни связаны с одним человеком».

То есть на события жизни героя падает *его*, этого человека, тень. Кто же этот человек? К кому относится это местоимение мужского рода?

«...Впервые я увидел Аню в эпизодической роли» — в каком-то из снов она нам уже встречалась. Сны, в отличие от «конstellаций», узнаваемых и статичных, обладают одним удивительным свойством — они возвращаются к одним и тем же образам, которые, повторяясь, становятся менее узнаваемыми. «Увидев актрису на главную роль, я обомлел, — это мы читаем уже в “Цунами”. — Я понял, что давно влюблен в эту женщину с рыжими глазами, которая сто лет назад сыграла в знаменитом детском фильме».

Перед нами — главный персонаж «Цунами». Ей, как и Ане из «Музея имени Данте», предстоит сыграть роль того, кто руководит авторским «я». Но главный персонаж («жена») описан красками другой палитры. У этого персонажа нет имени, как нет имени у персонажа, много лет игравшего роль Буратино, или актера, которого «много лет узнавали на улицах». «Смотри-ка, этот идет, ну как его...» Так в роман вселяются двойники.

«Перед остановкой мужчина обернулся, они встретились взглядами. Актер ахнул. Он увидел, что мужчина похож на него как две капли воды. И что, в сущности, перед ним стоит он сам — только в другой одежде». Двойником неизвестного персонажа оказывается и рассказчик «Цунами»: «Кто был человек, чьим именем я воспользовался? — в отчаянии спрашивает себя он. — Какие имел привычки, убеждения? Страсти? Чем дольше я жил в квартире, тем чаще казался героем той, собственной пьесы. Зрителем спектакля, который никак не начнется».

Безымянная фигура, фигура сновидческая. Она есть и в «Красной планете». Писатель из Стамбула «говорит о невидимом городе, сотканном из былого величия империи, нашего страха перед ничтожностью настоящего. <...> О том, что никто не знает, как попасть в этот город, потому что город сам выбирает, когда и кем завладеть». Город Кельн, «исчезнувший под бомбами союзников», выбирает москвича Леона, поручив ему «рассказать о себе: о расположении старых улиц, нумерации разрушенных зданий, подробности того, в каком стиле и кто их построил, какие лавки там находились, в какой день и час их разбомбили, кто погиб, а кто выжил...» Сон о разрушенном Кельне перетекает в сон, привидевшийся автору «Аустерлица». Бреендонк (Fort van Breendonk), нацистский концлагерь на территории Бельгии, тоже выбирает своего повествователя: «Что случилось с хозяином зубоврачебного кресла? Какую историю таит в себе это кресло? Какие двери и какие замки открывали эти ключи? Кто писал и подписывал эти картины? Кто спешил на лекцию, держа под мышкой портфель с вытертыми до кожаного блеска ручками, или сочинял стихи, сидя по ночам под выцветшим до цвета времени абажуром? Как побороть эти невинность и упрямство, хранящие в тайне свою историю и историю их пользователей? Как цвет времени вмещает в себя все эти тайны? А что если ты ищешь пропавшую вещь, уже зная ее историю? Ведь история без вещи предьявляет такие же права на вещь, что и вещь без истории на историю. И вещь, и история ждут того, кто соединит их, вставив одну рамку в другую, пока не получится огромный сюжет».

Литературные сюжеты, способные околдовать читателя, часто строятся на одном и том же материале. Стартовой площадкой, началом описания дома № 11 по несуществующей улице Симон-Крюбелье является лестница в фантазии Жоржа Перека («Жизнь способ употребления»). Однако такую стартовую площадку построил, сам того не подозревая, и автор «Красной планеты», заложив фундамент в романе «Цунами»: «В комнатах пусто, валяются бумажки, стоит брошенная мебель. По ее остаткам можно судить о людях, которые здесь жили. Но чаще всего сказать что-то определенное невозможно. Комнат много, очень много. Настолько, что хватит на целую жизнь, на вечность. Но в один прекрасный день ты открываешь дверь, за которой глухая стенка. Некоторое время еще можно бродить по комнатам — перечитывать книги, пересматривать фотографии. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что все эти книги, эти записи, дневники и фильмы — твои. Поначалу тебя охватывает паника — а потом приходит спокойствие и уверенность. Когда все двери открыты — и все комнаты пройдены, — ты понимаешь, что в любой момент можно свести счеты с жизнью...» А дальше наступает пробуждение ото сна: «Это я и называю настоящей свободой».

Написано словно в дуэте с Переком, в сон которого вторгается «книга-игра, головоломка, лабиринт». И сновидческая фигура некоего Бартлбута вдруг оказывается предшественником кельнского профессора философии Леона из «Красной планеты».

Не сработал ли здесь великий закон квантовой механики, так вдохновивший Ольгу Токарчук? Одинокий дом, построенный на несуществующей улице, попадает в разное время в сновидение двух авторов, один из которых живет в Москве, а другой жил и умер в Париже?

Что же делает Бартлбута предшественником Леона, который собирает макет разрушенного города? Оказывается, он нашел реверсивный метод, позволяющий «после складывания пазлов получить обратно свои изначальные морские пейзажи. Для этого следовало сначала склеить деревянные детали между собой, каким-то образом убрать все следы распила и вернуть бумаге ее первичную фактуру. Затем, разделяя лезвием два склеенных слоя, в фокусе возникала невредимая акварель, такая, какой она была в тот день, когда — двадцать лет назад — Бартлбут ее нарисовал».

Когда творцом снов является безымянный писатель, задача распознавания имени лежит на читателе. В «Красной планете» есть аноним, поименованный «писателем». Но кто он? Не тот ли это автор, которого Глеб Шульпяков дважды интервьюировал (в 2001 и 2003 годах)? В 2006 году этот аноним пополнил список нобелевских лауреатов и был назван по имени — Орхан Памук, основатель Музея невинности, который стал в авторской фантазии двойником его собственного одноименного романа.

Введение в роман принципа анонимности является стилистическим приемом, который привлекал еще Набокова, сочинившего «Защиту Лужина», «Волшебника» и «Символы и знаки» без того, чтобы дать имена заглавным персонажам. Вполне возможно, что, разрабатывая идею анонимности персонажей, авторы бросают вызов самому концепту уникального имени. В частности, Зебальд диктует своему заглавному персонажу монолог, в котором его имя провозглашается уникальным и сразу же, в ходе повествования, эту уникальность

и утрачивает: «За все то время, которое я занимаюсь своей историей... я нигде ни разу не встретил ни одного Аустерлица, ни в одной телефонной книге, ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Амстердаме. Правда, совсем недавно я от нечего делать включил радио и вдруг услышал, как диктор говорит, что Фред Астер, о котором мне до того ровным счетом ничего не было известно, в действительности носил фамилию Аустерлиц».

Игра с понятием уникальности имени имеет неожиданное продолжение. Персонаж романа Набокова «Прозрачные вещи», писатель R., убеждает редактора, что заголовок молчаливо отражает все движения сюжета и, соответственно, является незаменимым. А если помнить о тексте как о диктанте, поступающем из сновидения, заголовок является метафорой театрального суфлера, который следит за развитием пьесы, не позволяя актерам отклоняться от текста. Эту роль метафорического суфлера играет в «Красной планете» драматург Д. Но с суфлерской ролью конкурирует невидимая рука судьбы: «Человек и вообще не знает, за какую нитку дергает, когда нажимает на кнопку звонка. Крутит телефонный диск или окликает кого-то — или, наоборот, пропускает, не окликнув. Какой ящик открывает и что на дне этого ящика. В каждой точке времени поминутно сходятся, чтобы тут же разойтись, тысячи таких нитей, и только для человека невнимательного они выглядят спутанными».

В «Аустерлице», как и в «Красной планете», черная, мерцающая пропасть зрительного зала обращает воображаемого актера в человека-невидимку. Но и это очередная метафора. Когда-то Герберт Уэллс попробовал вывести ее из риторического ряда, но преуспел лишь отчасти. Невидимой получилась плоть персонажа, но не его одежда, пища. Реальный мир победил, и человек-невидимка был пойман. Но в театральных новеллах «Красной планеты» брошен вызов Герберту Уэллсу. «Тот, кого не замечал никто, мог повелевать всем. Один не вовремя выключенный софит; неточно выставленное кресло; незакрытый люк или неправильно «заряженный» предмет реквизита — да что там, просто один поворот ключа в нужный момент в нужной двери и — бинго! — спектакль сорван, шар на глазах испаряется».

Но зачем автору «Красной планеты» понадобился театр? В основе театра те же механизмы: актеры безымянны, управляемы собственной тенью, двойником своей роли. Пространство сцены и сам спектакль похожи на сон, из которого актеры выходят в реальность.

Итак, сновидческий код вторгается в ткань реальности. Разрывая ее, он в то же время раздвигает границы, переплетая реальность с вымыслом.

Такова для нас, современных читателей, и «Красная планета»: одновременное и романное, и реальное пространство, в котором вымышленное сплавлено с явью, — вот ключ к творчеству Глеба Шульпякова.



Владимир ЧИРКОВ

ДМИТРИЙ ЛЫСЯКОВ: НОВИЗНА — В ТРАДИЦИИ

Искусствоведческие письма

Письмо первое, не про Лысякова

За долгие годы «хождения по выставкам» у меня выработался определенный стереотип поведения. Я исключаю из восприятия *все то*, что мне мешает смотреть экспонаты, на цеховом сленге — «картинки». Если только это не связано с моими обязанностями экскурсовода, когда я общаюсь с посетителями по долгу службы. К *все то* как раз относятся зрители. Они разные: одни зрители смотрят, как принято, не мешая никому, живопись, графику, скульптуру, предметы прикладного искусства, то есть экспонаты; другие, глядя на «картинки», общаются между собой оживленно, нередко — веяние времени — с попкорном или еще с каким-либо «прикусом». Народился еще один, для меня совершенно новый тип «экскурсантов», неожиданный тип: они не смотрят картин и уж тем более не вглядываются в них, они пришли «тусоваться», особенно когда в программе заявлен фуршет. Таких «культуртрегеров» я впервые встретил довольно давно, еще в 2000-м, и не у нас в сибирской провинции, а в просвещенной островной Европе, в Лондоне, в громкой Saatchi Gallery. Завсегдатаи современных выставок подтвердят: нынче и у нас таких «любителей» — море.

Представьте себе лондонскую экспозицию*: на стенах по длинной стороне в рамках классического багета под стеклом висели картинки открыточного формата, на которых ничего невозможно было рассмотреть (при слабом освещении), а на дальней, ударной стене висел огромный холст, на нем — огромная свинья изображена с обвислым животом и сосцами, выпяченными на зрителя. Из моих коллег — участников конгресса искусствоведов — почти никто на картинку, как вы догадываетесь, не смотрел: оживлено беседуя друг с другом, аристократы с изяществом держали в руках пластиковые стаканчики с вином. Вы догадываетесь, как я, российский провинциальный музейщик, был обескуражен не столько свиньей на холсте и открыточными картинками под стеклом,

* Грешить не буду, в том году видел парочку очень грамотных, поучительных экспозиций: одну из них в Tate Modern в Лондоне, другую — в Ashmolean Museum в Оксфорде.

сколько «перцепцией» моих европейских коллег, они-то в данном случае были зрителями. По дороге в отель думал: если это цивилизация, то какого зрителя нам ожидать завтра в провинции?! Помню, ловил себя на противоречивом чувстве. «Выдавливай из себя провинциала!» — говорил мне один мой внутренний голос, но оппонент возражал: «Не дури, помни, что древние греки говорили: “Первая чаша принадлежит жажде, вторая — веселью, третья — наслаждению, четвертая — безумию”».

Понимаю так: я пью из третьей чаши — наслаждаюсь гармонией в хорошем искусстве. Вот ее-то, гармонии — и в образах, и в пластике, — как раз в избытке у иркутского живописца Дмитрия Лысякова — в чем и могу нескромно признаться.

Письмо второе, короткое, биографическое

Родом Дмитрий Павлович Лысяков из Астрахани (родился в 1967-м), детство провел в Биробиджане, где и началось профессиональное становление художника. Начал рано и удачно очень, без ломки и насилия над природным видением. Художник-педагог в Биробиджане Григорий Алексеичев брал юного Диму на все пленэры. Подчеркну биографически важную для наших рассуждений деталь: Дима был единственным учеником в школе, который с десяти лет стал писать исключительно маслом. Природная предрасположенность к наблюдению природы и натурным мотивам в писании счастливо для Димы продолжилась-закрепилась в Иркутском художественном училище (окончил в 1986-м), славящемся как раз школой живописания на натуре. В Иркутске Дмитрий и закрепился, органично уместившись в «прокрустовом ложе» иркутской живописной школы (об этом позже, в четвертом сюжете).

Письмо третье, длинное, о Лысякове — живописном портретисте

Неспешно (спешно — исключено) уж который год, с 2014-го, вглядываюсь в работы Дмитрия. Начало этому наблюдению было положено во вводном зале экспозиции второй выставки «Красный проспект» (Новосибирск), где я впервые увидел Лысякова — «Портрет сына» (2013). Холстик небольшой, стандартных размеров (60 x 90), так резко выделялся совсем не резкой по колориту живописью. Мое сознание как-то разом, что не всегда бывает при осмотре больших выставок, «схватило» и живопись, и образные достоинства портрета, что и подстегнуло мой последующий интерес к художнику. А житейские обстоятельства — бывают же такие счастливые совпадения! — тому способствовали: в летне-осенние месяцы 2018 года мне довелось часто бывать в иркутской мастерской художника, общаться, наблюдать автора за работой (художники редко при посторонних пишут). Замечу: это и есть ничем не заменимый для практикующего искусствоведа опыт в познании живого искусства... Ну вот, лирика случилась, оставим ее и вернемся к лысяковским портретам. Их не очень много, они разного художественного и образного достоинства: в одних портретах — повышенный интерес автора к модели, в других — интерес нейтральный, что можно довольно легко почувствовать по «валости» кисти; о вторых автор скупобронит: «работа вышла немножко больше, чем этюд».

О приоритете портретного жанра сам Дмитрий «программно» рассуждает так: «С человеком работать интереснее и сложнее, чем с каким бы то ни было другим объектом. Во всяком случае, для меня... Вообще, в этом глубоком, аналитическом жанре *результат* зависит сразу от двух людей — от художника и от героя, от их взаимодействия, молчаливого диалога. Когда я работаю над портретом, то чувствую, что расту вместе с человеком, что мы взаимно обогащаем друг друга. Поэтому никогда нельзя прогнозировать, насколько быстро или медленно пойдет дело».

Заметили? Своих моделей Дмитрий именуется высоким словом «герой», думаю, не случайно. В прямом смысле заказных («для грубого заработка») портретов художник не пишет, а потому круг портретируемых ограничен. Прежде всего это близкие знакомые и коллеги: писатель («В. В. Козлов», 2008), художник на «Портрете А. С. Шипицына» (2016). А затем случайно попавшиеся модели, которых «нельзя не писать» — по очень весомой причине: или по внутренней значимости портретируемой личности, или же из-за живописной, пластической выразительности модели («Девочка», 2012; «Мужской портрет», 2019). В этом же ряду портрет испанки «Мария» (2012). Не могу удержать себя от редкого пафоса: вертикальная архитектоника композиционного и живописного строя в нижнем регистре черно-коричневого «испанского» колорита неожиданно «впускает» в себя редкостно красивую живопись белого (шитье в руках модели) на белом (платье). Глаз не оторвать: эдакий праздник для ценителей колористической живописи.

Экскурс в портретный жанр завершу тем, с чего начал, — «Портретом сына» (2013), к нему подстрою «Автопортрет» (2014). Их описание просится в параллельно-синхронный ряд — и по семантике, и по пластике, — в чем можно усмотреть программный ход для сорокашестилетнего в ту пору автора. По композиции работы близки, почти идентичны: поясное изображение в полуоборот максимально приближенных к зрителю фигур. Автор придает большое значение телесности моделей — традиция витальных смыслов, идущая от русского искусства (Мусоргский у Репина, Ермолова у Серова). В «Автопортрете» — сильное, маскулинное тело зрелого мужчины смоделировано энергичным, корпусным мазком, по гребешкам которого артистично скользит свет, льющийся слева.

«Портрет сына», с эмоционального впечатления от которого я и начал это письмо, отмечен рядом отличительных достоинств и потому стоит особняком в творчестве мастера. «Портрет сына» представляется ящичком с драгоценностями. И по смещенному расположению фигуры влево от «центрального поля» (по определению В. А. Фаворского), что задает внутреннее «бурление» образности, так притягивающее зрителя. И по свету из двух источников: внутреннего, от холодного тона имприматуры, совпадающего со светом от окна за спиной модели (Дмитрий любит писать на контрсвете), и внешнего, падающего от художника, от зрителя. В фокусе встречи двух источников света оказывается и форма, и игра рефлексов, и предельная точка интереса в жанре психологического портрета — взгляд портретируемого. Вспомним, если в «Автопортрете» острый, прицельный взгляд модели демонстрирует человека зрелого, решительного, то взор в «Портрете сына» прямо противоположен: мы видим вопрошающий взгляд молодого человека, озабоченного проблемами выбора среди неясностей жизни.

Письмо четвертое, в качестве заключения: о чувстве места и традициях

Профессиональная художественная школа Иркутска зачиналась в начале XX века, о чем сказано немало правильных слов, и была predeterminedena рядом оснований, прежде всего объективных, внешних — природой и мифологией Байкала, живописной городской средой Иркутска — город этим славится. Следом идут субъективные факторы, они художественного происхождения и бытования. Иркутская живописная школа, не прерываясь, получила свой, без преувеличения, наивысший взлет в творчестве иркутских шестидесятников А. Ф. Рубцова, В. В. Тетенькина, А. Г. Костовского, В. А. Кузьмина, Н. П. Башарина. И если говорить, кто же нынешний «наследник», *продолжатель* великого дела иркутян-живописцев, то, без сомнения, самый яркий — Дмитрий Лысяков. Уточню, продолжатель на свой индивидуальный лад. Если все или почти все названные авторитетные живописцы стремились к обобщениям в создании образов природы — ведущем жанре иркутян, то Дмитрий в пейзажном жанре предпочитает оставаться в пространстве этюда. И сам об этом очень убедительно говорит: «Пейзаж, во всяком случае, у меня не становится картиной. Я пишу пленэрные этюды. Работаю только с натуры, быстро, по сиюминутному впечатлению... В этюдах все живое, там все правда. Сама природа, прикосновение к ней не дают фальшивить... Я больше люблю небольшие этюды Левитана, который открыл красоту в самом обыкновенном». Этюдный «след» и в портретах Дмитрия легко читается: их живописная поверхность чувственна, какая только и возможна при переживании живого цвета в природе. Как все счастливо переплелось: и этюдная отзывчивость на природный цвет, и неизбежное желание понять и полюбить человека в его естестве. Русский классик Ф. И. Тютчев оставил нам в наследство афоризм философский диалектики: «все во мне, и я во всем». Такая философия «бережлива», она копит ценности, которые невозможны вне традиции. Живопись Дмитрия Лысякова и есть традиционное достояние в его личном прочтении.



АВТОРЫ НОМЕРА

Алейников Владимир Дмитриевич родился в 1946 г. в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер литературного содружества СМОГ. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии Андрея Белого, «Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка», других литературных премий. Член ПЕН-клуба. Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века. Живет в Коктебеле.

Калинкина Галина публиковалась в журналах «Юность», «Клаузура», «Этажи» и других. Призер и лауреат ряда литературных конкурсов. В июне 2021 года вошла в шорт-лист первого сезона премии им. В. Катаева, учрежденной журналом «Юность». Живет в Москве.

Кокшенёва Капитолина Антоновна родилась в г. Таре Омской области. Окончила театроведческий факультет и аспирантуру ГИТИСа имени А. В. Луначарского. Литературный и театральный критик, публицист, кандидат искусствоведения, доктор филологических наук. Главный научный сотрудник Института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева. Автор книг художественной критики «Раскольники и собиратели», «Революция низких смыслов», «Русская критика», «С красной строки» и других.

Минский Модест родился в 1960 г. в Минске. Окончил институт народного хозяйства. Работал в министерстве финансов, сейчас предприниматель. Публикуется впервые. Живет в Минске.

Пекуровская Ася родилась в 1940 г. Окончила Ленинградский университет, аспирантуру по литературе в Стэнфордском университете (США) и постдокторскую программу по философии в университете Вирджинии в Шарлоттсвилле (США). Автор книг: «Когда случилось петь С. Д. и мне» (2001), «Страсти по Достоевскому» (2004), «Герметический мир Иммануила Канта» (2010), «Непредсказуемый Брод-

ский» (2017). Отдельные главы из книг были опубликованы в журналах «Новая Юность» и «Литература». Живет в Пало-Альто (США) и частично в Баденвейлере (Германия).

Подистов Андрей Владимирович родился в 1957 г. во Ржеве. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического университета. Работал лаборантом в НИИ растениеводства, учителем в школе, журналистом, сейчас преподает основы журналистики и литературного творчества в ДЮЦ «Старая мельница». Публиковался в журналах «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Новосибирск» и др., в межавторских сборниках, выпустил книгу прозы «Игры с Танатосом». Живет в Новосибирске.

Савченко Александр Карпович родился на ст. Любинской под Омском. Молодым инженером приехал в Кузбасс. Более 30 лет проработал в проектно-институте «Сибгипромет». Публикуется с 1969 г. Автор ряда прозаических произведений и нескольких поэтических сборников. Живет в Новокузнецке.

Трошин Владимир Алексеевич родился в Новосибирске в 1946 г. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Архитектор, работал в проектных институтах Томска, Ташкента, Москвы. В настоящее время — пенсионер. Ранее не публиковался.

Фроловская Мария родилась в 1990 г. в Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького и Государственный музыкальный колледж им. Гнесиных. Работает педагогом вокала. Публиковалась в журнале «Сибирские огни». Автор книги стихов «Тростниковые сказки». Лауреат фестиваля поэзии «Мцыри» и национальной премии «Русские рифмы». Живет в Москве.

Чирков Владимир Федорович родился в 1947 г. Кандидат философских наук, доцент. Член комиссии по искусствоведению и художественной критике ВТОО «СХР». Автор более 300 публикаций и научных трудов, куратор выставочных и научных проектов. Живет в Омске.



МАГАЗИН продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



НОВОСИБИРСКИЙ

ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 14.10.2021. Дата выхода № 11 за 2021 г. в свет 15.11.2021.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.